Дневник

Quod sentimus loquamur,
quod loquimur sentiamus!

VEcordia

Извлечение R-MUNTE

Вид с виллы Сан-Микель

Открыто: 2014.01.26 11:22
Закрыто: 2014.05.29 18:36
Версия: 2017.06.07 14:21

ISBN 9984-9395-5-3
Дневник «VECORDIA»
© Valdis Egle, 2017
ISBN
Аксель Мунте. «Сан-Микель»
© Аксель Мунте, 1928

Аксель Мунте

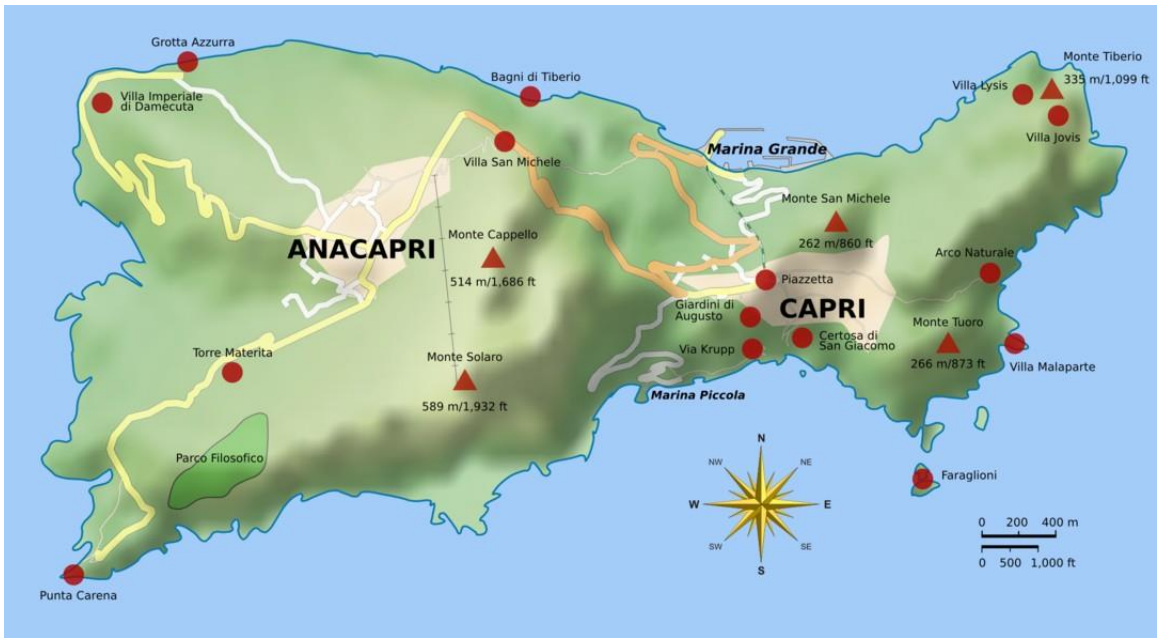
Легенда о Сан-Микеле

С комментариями Валдиса Эгле

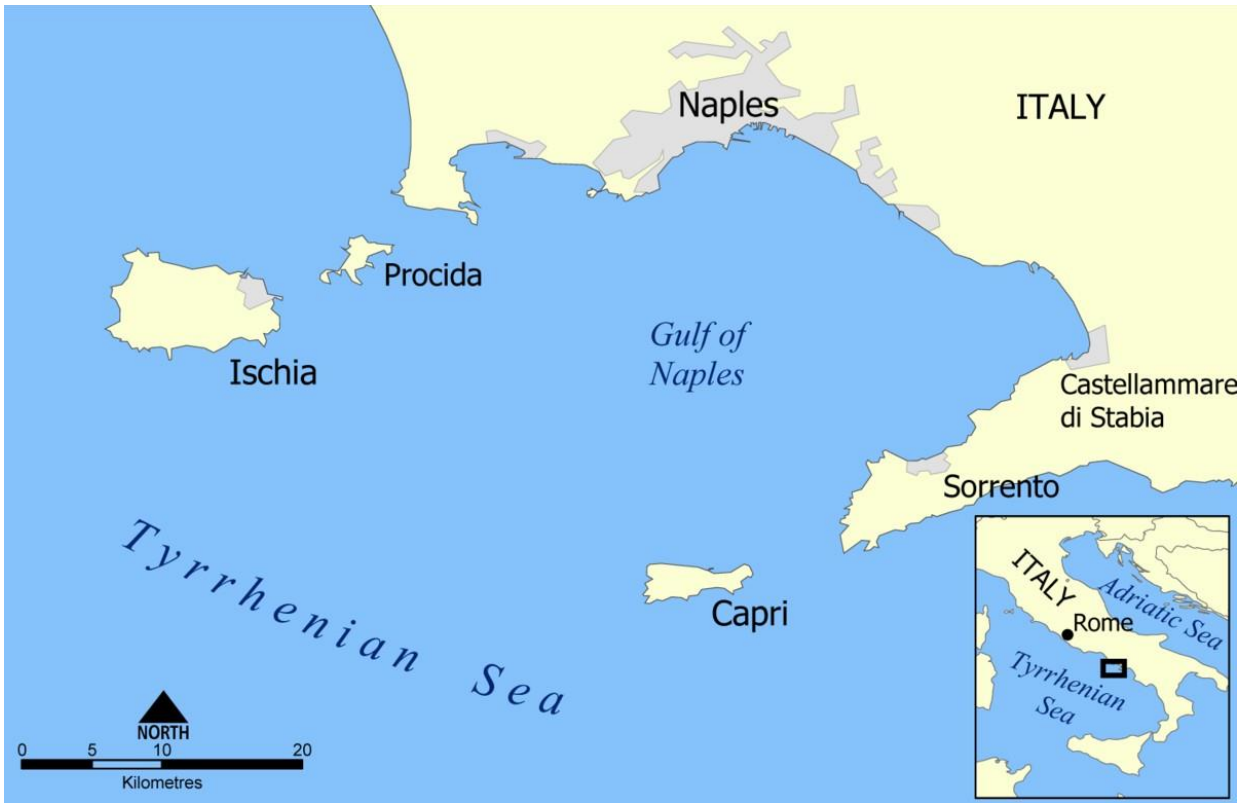
Impositum

Grīziņkalns 2017

Talis hominis fuit oratio,
qualis vita



Остров Капри



Окрестности острова Капри

Площадь острова Капри – 10,4 км^2
Население в 2011 году – 14˙117 человек
Капри и Анакапри теперь города
Аксель Мартин Фредерик Мунте жил 1857.10.31 – 1949.02.11

Легенда о Сан-Микеле

Предисловие автора

Критики как будто не знают, к какому жанру следует отнести «Легенду о Сан-Микеле»[1], да и не удивительно. Одни называли ее «автобиографией», другие – «воспоминаниями врача». Насколько я могу судить, это ни то и ни другое. Ведь история моей жизни вряд ли заняла бы пятьсот страниц, даже если бы я не опустил наиболее печальных и значительных ее глав. Могу только сказать, что я вовсе не хотел писать книгу о самом себе – наоборот, я постоянно старался избавиться от этой смутной фигуры. Если же книга все-таки оказалась автобиографией, то (судя по ее успеху) приходится признать, что, желая написать книгу о самом себе, следует думать о ком-нибудь другом. Нужно только тихо сидеть в кресле и слепым глазом всматриваться в прошедшую жизнь. А еще лучше – лечь в траву и ни о чем не думать, только слушать. Вскоре далекий рев мира совсем заглохнет, лес и поле наполнятся птичьим пением, и к тебе придут доверчивые звери поведать о своих радостях и горестях на понятном тебе языке, а когда наступает полная тишина, можно расслышать шепот неодушевленных предметов вокруг.

Название же «Воспоминания врача», которое дают этой книге критики, кажется мне еще менее уместным. Такой чванный подзаголовок никак не вяжется с ее буйной простотой, бесцеремонной откровенностью и прежде всего с ее прозрачностью. Конечно, врач, как и всякий другой человек, имеет право посмеяться над собой, когда у него тяжело на сердце, может он посмеиваться и над своими коллегами, если он готов принять на себя все последствия. Но он не имеет права смеяться над своими пациентами. Еще хуже, когда он льет над ними слезы: плаксивый врач – плохой врач. Старый доктор вообще должен хорошо поразмыслить, прежде чем садиться писать мемуары. Будет лучше, если он никому не откроет того, что он видел и что он узнал о Жизни и Смерти. Лучше не писать мемуаров, оставив мертвым их покой, а живым их иллюзии.

Кто-то назвал «Легенду о Сан-Микеле» повестью о Смерти. Может быть, это и так, ибо Смерть постоянно присутствует в моих мыслях. «Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita in Morie»[2], – сказал Микеланджело в письмах к Вазари. Я так долго боролся с моей мрачной сотрудницей и всегда терпел поражение и видел, как она, одного за другим, поражала всех, кого я пытался спасти. И некоторых из них я видел перед собой, когда писал эту книгу, – вновь видел, как они жили, как страдали, как умирали. Ничего другого я не мог для них сделать. Это были простые люди – над их могилами не стоят мраморные памятники и многие из них были забыты еще задолго до смерти. Теперь им хорошо.

Старая Мария Почтальонша, которая тридцать лет носила мне письма, пересчитывая босыми ногами семьсот семьдесят семь финикийских ступеней, разносит теперь почту на небе, где добрый Пакьяле мирно курит свою трубку и смотрит на бескрайнее море, как некогда глядел на него с галереи Сан-Микеле, и где мой друг Арканджело Фуско, подметальщик в квартале Монпарнас, сметает звездную пыль с золотого пола. Под великолепными колоннадами из ляпис-лазури прогуливается маленький мосье Альфонс, старейший обитатель приюта «сестриц бедня-

---

[1] **В.Э.:** Я взял (русский) текст этой книги из Интернета. С обычной неряшливостью интернетовских публикаторов там не указано ни с какого издания сканировано, ни кто автор перевода. Но, скорее всего, сканировано с издания 1969 года (Москва, «Художественная литература», первое издание на русском языке; в Интернете упоминается также издание 2003 года, бумажную русскую книгу в руках я не держал). Переводчика нельзя установить даже по Википедии (2014.05). В моей библиотеке имеется латышское издание этой книги, выпущенное в 1971 году (Рига, «Лиесма», перевод Визмы Белшевиц). В латышском издании совершенно другое Предисловие автора (датированное 1928 годом в Торе-ди-Материта и, скорее всего, более раннее, чем то, что дано в русском переводе). Сами тексты книги почти не отличаются (некоторые мелкие различия всё-таки есть – не объяснимые одним только различием в переводах; видимо, русский перевод делался с более позднего английского издания, чуточку подредактированного автором или кем-то еще).

[2] Ни одна мысль не утверждается в моей душе, которая не имела бы лика смерти (итал.).

ков», в новом сюртуке питтсбургского миллионера, и торжественно приподымает свой любимый цилиндр перед каждым встречным святым, как он это некогда делал перед моими знакомыми, когда катался по Корсо в моей коляске.

Джон, маленький голубоглазый мальчик, который никогда не смеялся, теперь весело играет с другими счастливыми детьми в бывшей детской Бамбино. Он наконец научился улыбаться. Комната полна цветов, птицы с песнями влетают в открытые окна и вылетают из них. Иногда в комнату заглядывает Мадонна, чтобы убедиться, что дети ни в чем не нуждаются. Мать Джона, которая так нежно ухаживала за ним на авеню Вилье, еще здесь, с нами. Я недавно ее видел. Бедная Флопетт, проститутка, выглядит на десять лет моложе, чем тогда, в ночном кафе на бульваре; скромное белое платье очень идет ей – она служит второй горничной у Марии Магдалины.

В тихом уголке Елисейских полей находится собачье кладбище. Все мои друзья там. Их тела еще лежат под кипарисами у старой башни, там, где я их похоронил, но их верные сердца были взяты на небо. Святой Рох, добродушный покровитель собак, оберегает это кладбище, а верная мисс Холл часто приходит туда. Даже шалопай Билли, пьяница павиан, который поджег гроб каноника дона Джачинто, был допущен, хотя и на испытательный срок, в последний ряд обезьяньего кладбища по соседству, но сначала святой Петр, который решил, что от Билли пахнет виски и принял было его за человека, подверг его самому тщательному осмотру. А дон Джачинто, самый богатый священник Капри, который ни разу не дал ни единого сольди бедному человеку, всё еще жарится в своем гробу; бывшему же мяснику, который ослеплял перепелов раскаленной иглой, Сатана собственноручно выколол глаза, так как не мог стерпеть подобного посягательства на свои права.

Какой-то критик заметил, что «Легенда о Сан-Микеле» может обеспечить авторов романтических рассказов сюжетами на всю жизнь. Если это так, они могут пользоваться этим материалом сколько их душе угодно. Мне он больше ни к чему. Всю жизнь я усердно писал рецепты и после этих литературных усилий уже не стану на закате своих дней писать рассказы. Жаль, что я не подумал об этом прежде – тогда бы я не был в том положении, в котором нахожусь теперь. Наверное, гораздо покойнее, сидя в кресле, писать романтические рассказы, чем трудиться всю жизнь, собирая для них материал, легче описывать болезни и смерть, чем бороться с ними, и приятнее придумывать страшные сюжеты, чем испытывать их на себе. Но почему бы этим профессиональным писателям самим не заняться сбором материала? Они так редко это делают! Романисты, постоянно увлекающие своих читателей в трущобы, сами редко туда заглядывают. Специалистов по болезням и смерти редко можно заманить в больницу, где они только что прикончили свою героиню. Поэты и философы, которые в звучных стихах и в прозе воспевают Смерть Освободительницу, нередко бледнеют при одном упоминании их возлюбленной подруги. Это старая история. Леопарди, величайший поэт современной Италии, который с мальчишеских лет в чудесных стихах призывал смерть, первым в жалком страхе бежал из холерного Неаполя. Даже великий Монтень, чьих спокойных размышлений о смерти достаточно, чтобы сделать его бессмертным, улепетнул, как заяц, едва в Бордо появилась чума. Угрюмый Шопенгауэр, величайший философ нового времени, сделавший краеугольным камнем своего учения отрицание жизни, обрывал разговор, если его собеседник касался темы смерти. По-моему, наиболее кровавые книги о войне писались мирными обывателями, жившими там, куда не долетали снаряды самых дальнобойных немецких орудий. Авторы, которые навязывают читателю изображение всяческих оргий, на деле предпочитают блюсти законы нравственности. Мне известно лишь одно исключение из этого правила – Ги де Мопассан, и я видел, как он от этого умер.

Я знаю, что некоторые эпизоды этой книги развертываются в нечетко определяемой пограничной области, между реальным и нереальным, в опасной «ничьей земле» между действительностью и фантазией, где терпели крушение многие мемуаристы и где даже сам Гете в своей «Dichtung und Wahrheit»[3] нередко сбивался с пути. Я изо всех сил пытался с помощью давно известных приемов придать хотя бы некоторым из этих эпизодов вид романтических рассказов. В конце-то концов, это вопрос формы. Если мне это удалось, я буду очень рад – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили. Всё и так достаточно скверно и печально. Видит бог, мне и без того приходится отвечать за очень многое. Впрочем, я считаю это

[3] «Поэзия и Правда» (нем.).

комплиментом, ибо величайший автор романтических рассказов – сама Жизнь. Но всегда ли Жизнь правдива?

Жизнь остается такой, какой была всегда: равнодушной к событиям, безразличной к людским радостям и печалям, безмолвной и загадочной, как сфинкс. Но сцена, на которой разыгрывается эта бесконечная трагедия, постоянно меняется во избежание однообразия. Мир, в котором мы жили вчера, не тот мир, в котором мы живем сегодня. Он неуклонно движется в бесконечности навстречу своей судьбе, как и мы сами. Человек не может дважды искупаться в одной и той же реке, сказал Гераклит. Некоторые из нас ползают на коленях, другие ездят верхом или в автомобиле, третьи обгоняют почтовых голубей на аэропланах. К чему спешить? Все мы неизбежно достигнем конца пути!

Нет, мир, в котором я жил, когда был молод, не похож на мир, в котором я живу теперь, – по крайней мере, так кажется мне. Наверное, со мной согласятся и те, кто прочтет эту книгу о странствиях в поисках прошлых приключений. Бандиты с восемью убийствами на совести уже не уступят вам свой тюфяк в разрушенной землетрясением Мессине. Под развалинами виллы Нерона в Калабрии уже не прячется подобравшийся для прыжка сфинкс. Бешеные крысы в трущобах холерного Неаполя, которые так меня напугали, уже давно вернулись в римские клоаки. Сегодня можно добраться до Анакапри на автомобиле, достигнуть вершины Юнгфрау в поезде и подняться на Маттерхорн по веревочным лестницам.

В Лапландии за вашими санями уже не погонится по замерзшему озеру стая волков, чьи глаза горят во тьме, как раскаленные угли. Старый медведь, преградивший мне путь в глухом ущелье Сульва, уже давно перебрался в Поля счастливой охоты. Через бурный поток, который я переплывал вместе с юной лапландкой Ристин, перекинут теперь железнодорожный мост. Туннель прорезал последний оплот ужасного стало. Маленький народец, топот которого я слышал под чумами лапландцев, больше не приносит пищу медведям в берлогах – вот почему теперь в Швеции так мало медведей. Пожалуйста, смейтесь над маленьким народцем сколько хотите – если не боитесь! Но я убежден, что ни у одного человека, прочитавшего эту книгу, не хватит духу утверждать, будто гном, который сидел на столе в Форстугане и осторожно трогал цепочку моих часов, вовсе не был настоящим гномом. Нет, это был настоящий гном! Кто еще это мог быть?! Ведь я совершенно ясно разглядел его двумя глазами, когда приподнялся на постели, а сальный огарок замигал и погас. К моему большому удивлению, я услышал, что существуют люди, никогда не видевшие гномов. Их можно только пожалеть. Наверное, у них зрение не в порядке. Дядюшка Ларс Андерс из Форстугана, великан в овчине и деревянных башмаках, давно уже умер, как и милая матушка Керстин, его жена. Но маленький гном, который сидел по-турецки на столе в каморке над коровником, еще жив. Ведь умираем только мы, люди.

Глава I. Юность

Аксель Мунте в молодости

Я спрыгнул с соррентийской парусной лодки на песок.[4] На небольшом пляже между перевернутыми лодками играли мальчишки, их обнаженные бронзовые тела мелькали в волнах прибоя, а у лодочных сараев сидели старые рыбаки в красных фригийских колпаках и чинили сети. Возле пристани стояло шесть оседланных осликов, их уздечки были украшены букетиками цветов, а рядом болтали и пели шесть девушек с серебряными булавками в черных волосах и красными платками на плечах. Ослика, который должен был отвезти меня наверх в Капри, звали Розиной, а девушку – Джойей. Ее черные глаза сверкали пламенной юностью, ее губы были красны, как нитка кораллов на ее шее, а крепкие белые зубы в смеющемся рту блестели, как жемчуг. Она сказала, что ей пятнадцать лет, а я сказал, что никогда еще не был таким молодым. Но Розина была стара, è antica[5], объяснила Джойя. Поэтому я спрыг-

[4] **В.Э.:** Аксель Мунте впервые прибыл на Капри в 1875 году в 17-летнем возрасте. Он, сын шведского аптекаря, к тому времени год проучился на Медицинском факультете Упсальского университета, но болел туберкулезом, и врачи советовали ему отправиться на юг. Во время этого путешествия по Италии он и прибыл на Капри в маленькой лодке из Сорренто.

[5] Она старинная (итал.).

нул с седла и стал неторопливо подниматься по извилистой тропинке в деревню. Передо мной приплясывала босоногая Джойя, в венке, как молодая вакханка, позади брела, опустив голову, вислоухая старая Розина и о чем-то раздумывала, а ее изящные черные башмачки постукивали по камням. Мне же некогда было думать. Моя голова была полна ошеломляющего восторга, мое сердце было полно радости жизни, мир был прекрасен, и мне было восемнадцать лет.[6]

Дорога вилась между цветущими кустами дрока и мирта. И то тут, то там маленькие цветы, которых я никогда не видел в стране Линнея, поднимали из душистой травы свои прелестные головки, чтобы поглядеть на нас.

– Как называется этот цветок? – спрашивал я Джойю.

Она брала цветок у меня из рук, нежно на него смотрела и говорила:

– Fiore.[7]

– А этот?

Она рассматривала его с такой же нежностью и говорила:

– Fiore.

– А этот?

– Fiore. Bello! Bello![8]

Она сорвала пучок душистого мирта, но не захотела его мне дать. Она сказала, что это цветы для святого Констанцо, покровителя Капри, который весь из литого серебра и сотворил столько чудес, Сан Констанцо, bello, bello!

Нам навстречу длинной вереницей шли девушки, неся на головах плитки туфа, величественные, как кариатиды Эрехтейона. Одна из них с улыбкой протянула мне апельсин. Это была сестра Джойи, и она показалась мне еще красивее. Да, их восемь сестер и братьев, и еще двое in Paradiso.[9] Отец в отъезде – добывает кораллы у Barbaria,[10] поглядите-ка на красивую нитку кораллов, которую он недавно ей прислал, che bella collana! Bella, bella!

– И ты сама красива, Джойя, bella, bella!

– Да, – сказала она.

Я споткнулся о разбитую мраморную колонну.

– Roba di Timberio[11], – пояснила Джойя, – Timberio cattivo, Timberio mal'occbio, Timberio camorrista,[12] – и плюнула на мрамор.

– Да, – ответил я, так как Тацит и Светоний были свежи в моей памяти, – Tiberio cattivo!

Мы выбрались на большую дорогу и вскоре оказались на площади, где два–три матроса стояли у парапета над морем, два–три сонных каприйца сидели перед остерией дона Антонио, а пять священников, бешено жестикулируя, что-то оживленно обсуждали на ступенях церкви.

– Moneta! Moneta! Molta moneta, niente moneta,[13] – слышались их голоса.

Джойя побежала поцеловать руку дона Джачинто, который был ее духовным отцом и un vero santo,[14] хотя по его виду догадаться об этом было трудно. Она ходит к исповеди два раза в месяц. А часто ли хожу я?

– Совсем не хожу.

– Cattivo! Cattivo!

А она расскажет дону Джачинто, что я поцеловал ее в щеку под лимонными деревьями?

Конечно нет!

---

[6] **В.Э.:** Английская Википедия сообщает, что Мунте впервые посетил Капри в 1875 году; ему тогда могло быть полных 18 лет только в том случае, если это посещение состоялось после 31 октября. Более вероятно, однако, что он путешествовал летом во время университетских каникул, и тогда ему только еще шел 18-й год. Возможно, Мунте сам при написании книги получил число «18 лет», простым вычитанием года своего рождения (1857) из года первого посещения Капри (1875) и не углубляясь в точные даты рождения и посещения.

[7] Цветок (итал.).

[8] Красивый (итал.).

[9] В раю (итал.).

[10] Североафриканское побережье (итал.).

[11] Имя древнего императора, который последние одиннадцать лет своей жизни провел на Капри, до сих пор не сходит с уст жителей острова, но произносится теперь «Тимберио». (*Прим. автора*.)

[12] Тимберий злой, Тимберий с дурным глазом, Тимберий разбойник (итал.).

[13] Деньги! Деньги! Много денег, нет денег! (итал.).

[14] Настоящий святой (итал.).

Мы миновали деревню и остановились у Пунта Трагара.

– Я обязательно взберусь на вершину вон той скалы, – сказал я, указывая на самый отвесный из трех утесов, которые сверкали у наших ног, как аметисты. Но Джойя заявила, что я не сумею этого сделать. Один рыбак полез было туда за яйцами чаек, но был сброшен в море злым духом, который в образе голубой ящерицы – голубой, как Голубой Грот, – стережет там золотой клад, спрятанный там самим Тимберио.

С запада над уютной деревушкой вздымался мрачный силуэт горы Соларо, суровой и неприступной.

– Я хочу сейчас же подняться на эту гору, – сказал я.

Но Джойе эта мысль совсем не понравилась. На вершину ведет лестница в семьсот семьдесят семь ступеней, высеченная в скале самим Тимберио, а на полпути в темной пещере живет свирепый оборотень, который сожрал уже нескольких добрых христиан. По лестнице можно подняться в Анакапри, но там живут одни только gente di montagna[15] – очень плохие люди. Ни один forestiere[16] туда не всходил, и она сама там никогда не бывала.

Лучше бы мне подняться к вилле Тимберио, к Арко Натурале или к Гротта Матромания.

– Нет! У меня на это нет времени. Я должен сейчас же подняться именно на эту гору.

И мы возвращаемся на площадь, когда позеленевшие колокола старой кампанилы прозвонили полдень, возвещая, что макароны готовы. Может быть, я все-таки сперва пообедаю под большой пальмой отеля Пагано? Три блюда, вино и всё за одну лиру.

Нет, у меня нет времени, я должен немедленно взобраться на эту гору.

– Addio, Gioia bella! Addio, Rosina!

– Addio, addio, e presto ritorno![17]

Увы! это не сбывшееся presto ritorno было последним, что я услышал из алых уст Джойи, когда я, следуя призыву своей судьбы, поспешно взбирался по финикийским ступеням в Анакапри.

На полпути я догнал старуху, несшую на голове большую корзину с апельсинами.

– Buon giorno, signorino.[18]

Она поставила корзину на камень и протянула мне апельсин. На плодах лежала пачка писем и газет, завернутая в красный платок. Это была старая Мария Почтальонша, дважды в неделю доставлявшая почту в Анакапри. Впоследствии мы с ней очень подружились, и она умерла на моих глазах, когда ей было уже девяносто пять лет. Мария порылась в письмах, выбрала самый большой конверт и спросила меня, не адресовано ли оно Наннине ла Капрара, которая ждет не дождется письма от своего мужа из Америки. Нет, оно адресовано не ей. Может быть, вот это? Нет, это для синьоры Дездемоны Вакка.

– Синьоры Дездемоны Вакка? – повторила старуха недоверчиво. – Это, наверное, la moglie dello Scarteluzzo,[19] – сказала она задумчиво.

Следующее письмо было адресовано синьору Улиссу Дезидерио.

– Конечно, это Capolimone,[20] – сказала старая Мария. – В прошлом месяце он получил точно такое же письмо.

Следующее письмо должна была получить благороднейшая синьорина Розина Мацарелли. Догадаться о том, кто именно: скрывается за этим именем, было, по-видимому, гораздо труднее. Cacciacavallara?[21] Или ZopparelIa?[22] Может быть, Capatosta[23], или Femmina Antica[24], или Розинелла Pane Asciutto.[25]

---

[15] Жители гор (итал.).

[16] Иностранец (итал.).

[17] До свидания, Джойя, красавица! До свидания, Розина. – До свидания, до свидания и скорого возвращения! (итал.).

[18] Добрый день, синьорино (итал.).

[19] Жена Горбуна (итал.).

[20] Лимонная Башка (итал.).

[21] Сыроварка (итал.).

[22] Хромоножка (итал.).

[23] Упрямица (итал.).

[24] Древний Старуха (итал.).

[25] Черствый Хлеб (итал.).

– А, может быть, это Fesseria?[26] – предположила другая женщина, которая догнала нас, неся на голове огромную корзину с рыбой. Да, письмо могло быть для Фессерии, если только оно не для супруги di Pane e Cipolla.[27]

Но неужели нет письма ни для Пепипеллы n'coppo u camposanto[28], ни для Маручелы Caparossa[29], ни для Джованны Ammazzacane[30], которые все ждут письма из Америки?

Нет, к сожалению, нет.

Две газеты предназначались преподобному отцу Антонио ди Джузеппе и канонику дону Натале ди Томмасо. Это она знала, так как в деревне только они одни и выписывали газеты.

Дон Антонио очень ученый человек, и именно он всегда разбирается, кому адресованы письма. Но сегодня он в Сорренто, в гостях у архиепископа, потому-то она и попросила меня прочитать адреса на конвертах.

Мария не знала, сколько ей лет, зато она знала, что начала носить почту, когда ей исполнилось пятнадцать, а ее матери это стало уже не по силам. Читать она, конечно, не умела.

Когда я ей рассказал, что приехал утром из Сорренто на почтовой лодке и с тех пор ничего не ел, она угостила меня еще одним апельсином, который я съел вместе с кожурой, а другая женщина достала для меня из корзины несколько фрутта ди маре, после которых мне страшно захотелось пить.

Есть ли в Анакапри гостиница? Нет, но Аннарелла, жена пономаря, может предложить мне хорошего козьего сыра и стакан хорошего вина из виноградников патера дона Дионизио, ее дяди, un vino meraviglioso.[31] Кроме того, есть еще La Bella Margherita, о которой я, конечно, слышал, так же как и о том, что ее тетка вышла замуж за un lord inglese.[32]

Нет, об этом я не слышал, но очень хочу познакомиться с Красавицей Маргеритой.

Наконец мы достигли последней, семьсот семьдесят седьмой ступени и прошли под сводчатыми воротами, где из скалы еще торчали огромные железные петли, оставшиеся от подъемного моста. Мы были в Анакапри. У наших ног лежал Неаполитанский залив, обрамленный Искьей, Прочидой, заросшим пиниями Позилиппо, – белой полоской сверкал Неаполь, над Везувием клубился розоватый дым, долина Сорренто укрывалась под защитой горы Сант-Анджело, а вдали виднелись еще покрытые снегами Апеннины. Как раз над нашими головами к отвесной скале, точно орлиное гнездо, прилепилась маленькая разрушенная часовня. Сводчатая крыша провалилась, но покрытые странным сетчатым узором стены, сложенные из больших каменных плит, еще стояли.

– Roba di Timberio[33], – пояснила старая Мария.

– Как называется эта часовня? – спросил я с жадным интересом.

– Сан-Микеле.

«Сан-Микеле, Сан-Микеле», – отозвалось в моем сердце.

Ниже часовни в винограднике старик копал глубокие канавки для молодых лоз.

– Buon giorno, Mastro Vincenzo!

Виноградник принадлежал ему, как и вон тот домик, который он сам построил из валявшихся в саду кирпичей и камней, оставшихся от roba di Timberio.

Мария Почтальонша рассказала ему всё, что знала обо мне, и мастро Винченцо пригласил меня посидеть у него в саду и выпить стакан вина. Я посмотрел на домик и на часовню, и мое сердце забилось так сильно, что я едва мог говорить.

– Я должен сейчас же подняться туда, – заявил я Марии.

Однако, по ее мнению, сначала я должен был поесть, иначе потом я ничего не найду. Голод и жажда вынудили меня последовать ее совету. Я на прощание помахал рукой мастро Винченцо и сказал, что скоро вернусь.

Мы прошли по безлюдным улочкам и очутились на небольшой площади.

– Ecco la Bella Margherita![34]

---

[26] Слово не для чопорных ушей. (Прим. автора.)

[27] Хлеб с Луком (итал.).

[28] Кладбищенская Ваза (итал.).

[29] Рыжая (итал.).

[30] Живодерка (итал.).

[31] Чудесное вино (итал.).

[32] Английский лорд (итал.).

[33] **В.Э.:** Вещь Тимберия.

[34] Вот Красавица Маргерита (итал.).

Красавица Маргерита поставила на стол флягу с розовым вином и букет цветов и объявила, что «макарони» будут готовы через пять минут. Ее волосы были белокурыми, как у «Флоры» Тициана, черты лица – безупречными, а профиль – греческим.

Она поставила передо мной огромную тарелку макарон, села рядом и, улыбаясь, стала меня с любопытством разглядывать.

– Vino del parroco,[35] – говорила она с гордостью, наполняя мой стакан. Я выпил за здоровье parroco, за ее здоровье и за здоровье ее темноглазой сестры, красавицы Джулии, которая принесла нам апельсины, – я видел, как она только что рвала их в саду. Родители их умерли, брат Андреа моряк, и одному богу известно, где он сейчас. Но ее тетка живет в Капри в собственной вилле – я, конечно, знаю, что она была замужем за un lord inglese? Да, конечно, знаю, но я забыл ее фамилию.

– Леди Г., – с гордостью сказала Красавица Маргерита.

Я еще сообразил, что мне следует выпить и за здоровье тетки, но после я уже ничего не сознавал, кроме того, что небо сине, как сапфир, вино красно, как рубин, а рядом сидит золотоволосая Красавица Маргерита и улыбается.

«Сан-Микеле!», – вдруг прозвучало в моих ушах. «Сан-Микеле», отозвалось в моем сердце.

– Addio, Bella Margherita!

– Addio e presto ritorno!

Увы, это не сбывшееся presto ritorno!

Я пошел обратно по безлюдным улочкам, стараясь по мере сил идти прямо к моей цели. Наступил священный час сиесты, и вся деревушка погрузилась в сон. Залитая солнцем площадь была пуста. Церковь была заперта, и только за приоткрытой дверью муниципальной школы сонно гудел монотонный голос каноника дона Натале.

– Io mi ammazzo, tu ti ammazzi, egli si ammazza, noi ci ammazziamo, voi vi ammazzate, loro si ammazzano,[36] – ритмично повторял хор босых мальчишек, сидевших кружком на полу у ног своего учителя.

А в начале следующей улочки стояла величественная римская матрона. Это была сама Аннарелла, и она дружески помахала мне рукой, приглашая в свой дом. Почему я пошел к Красавице Маргерите, а не к ней? Разве я не знаю, что в деревне нет сыра лучше ее cacciacavallo[37]? А что касается вина, то каждому известно, что вино parroco не может идти в сравнение с вином преподобного дона Дионизио.

– Altro che il vino del parroco, – добавила она, многозначительно пожимая могучими плечами.

Я сидел у нее в беседке за бутылкой белого вина дона Дионизио, и мне стало казаться, что она права, однако я хотел быть беспристрастным и счел необходимым допить всю бутылку до конца, прежде чем вынести окончательное суждение. Но когда Джоконда, улыбчивая дочь хозяйки, налила мне второй стакан из новой бутылки, я уже ни в чем не сомневался. Да, белое вино дона Дионизио было лучше. Оно походило на сгустившийся солнечный свет, вкусом напоминало нектар богов, а наполнявшая мой пустой стакан Джоконда была подобна юной Гебе.

– Altro che il vino del parroco! Разве я тебе этого не говорила? – засмеялась Аннарелла. – È il vino miracoloso![38] – Да, вино действительно было чудотворным, ибо я с головокружительной легкостью и беглостью вдруг заговорил по-итальянски под громкий смех матери и дочери.

Я воспылал дружбой к дону Дионизио. Его имя мне нравилось, его вино мне нравилось. Я охотно с ним познакомился бы.

Ничего не может быть легче! Он вечером должен быть в церкви.

– Он очень ученый человек! – сказала Аннарелла.

Он знает наизусть имена всех мучеников и святых. Он даже побывал в Риме и целовал руку папы. А она бывала в Риме? Нет. А в Неаполе? Нет. Только один раз в Капри, в день свадьбы. А Джоконда там никогда не бывала. В Капри полно gente malamente.[39]

---

[35] Вино приходского священника (итал.).

[36] Я убиваю себя, ты убиваешь себя, он убивает себя и т.д. (итал.).

[37] Сорт сыра.

[38] Это вам не вино священника! Чудесное вино! (итал.).

[39] Зловредные люди (итал.).

Я сказал Аннарелле, что знаю о святом патроне Капри всё: и сколько он совершил чудес, и как он прекрасен – целиком из литого серебра. Наступило неловкое молчание.

– Да, они говорят, будто их Сан Констанцо весь из литого серебра, произнесла Аннарелла и презрительно пожала широкими плечами. – Но кто знает, так ли это. А его чудеса можно пересчитать по пальцам, тогда как, Сант Антонио, святой покровитель Анакапри, совершил их уже более сотни.

– Altro che San Constanzo![40]

Я сразу перешел на сторону Сант Антонио, горячо надеясь на его новое чудо, которое снова привело бы меня, и как можно скорее, в его очаровательную деревушку. Добрейшая Аннарелла так твердо верила в его чудотворную силу, что наотрез отказалась взять с меня деньги.

– Заплатите в следующий раз.

– Addio Annarella, addio Gioconda!

– Arrividerla, presto ritorno, Sant' Antonio vi benedica! La Madonna vi accompagni![41]

Старый мастро Винченцо всё еще прилежно трудился в своем винограднике, копая глубокие канавки для молодых лоз. Время от времени он поднимал пеструю мраморную пластину или кусок красной штукатурки и выбрасывал их за забор.

– Roba di Timberio, – говорил он.

Я сел возле моего нового приятеля на разбитую колонну из красного гранита.

– Era molto duro.[42] Ее очень трудно было разбить, – заметил мастро Винченцо.

У моих ног курица рылась в земле, ища червей, и вдруг передо мной оказалась монета. Я поднял ее и сразу узнал благородную голову Августа. «Divus Augustus Pater...»[43] Мастро Винченцо сказал, что она не стоит ни гроша. Эта монета хранится у меня до сих пор. Мастро Винченцо своими руками разбил сад и посадил виноградные лозы и фиговые деревья. Тяжелая работа, сказал он, показывая мне грубые, мозолистые руки. Ведь земля тут полна roba di Timberio всяких колонн, капителей, обломков статуй и teste di cristiani.[44] И ему пришлось сначала выкопать всё это и убрать. Колонны он раскалывал, чтобы сделать садовые ступени, а куски мрамора пригодились для постройки дома, остальное же он сбросил в пропасть.

Но всё же ему повезло: прямо у себя под домом он нашел подземную комнату с красными стенами – вон как тот кусок под персиковым деревом. Стены были разрисованы множеством cristiani tutti spogliati, ballando come dei pazzi,[45] с цветами и гроздьями винограда в руках. Он несколько дней потратил на то, чтобы соскоблить эти картины и покрыть стены цементом, но в конце-то концов это куда легче, чем выдолбить в скале новую цистерну, добавил мастро Винченцо с хитрой улыбкой. Теперь он становится стар и уже не может так ухаживать за своим виноградником. Его сын, который живет на материке с двенадцатью детьми и тремя коровами, уговаривает его продать дом и переехать к нему. Мое сердце снова забилось. А часовня тоже принадлежит ему? Нет, она никому не принадлежит, и поговаривают, что в ней водятся привидения. Он сам, когда был мальчишкой, видел, как там через парапет наклонялся высокий монах, а какие-то матросы, когда поднимались по лестнице поздно вечером, слышали, что в часовне звонили колокола. Всё дело тут в том, пояснил мастро Винченцо, что Тимберио, когда тут стоял его дворец, fatto ammazzare Gesu Cristo, казнил Иисуса Христа, и с тех пор его проклятая душа порой возвращается сюда, чтобы испросить прощения у монахов, погребенных под часовней. Говорят, что он прежде появлялся в образе большой черной змеи. Монахи же были ammazzati разбойником по имени Барбаросса, который напал на остров и на своих кораблях увез в рабство всех женщин, укрывавшихся вон в том замке наверху, и замок с тех пор зовется Кастелло Барбаросса.

Всё это ему рассказал падре Ансельмо, отшельник, ученый человек, а кроме того, его родственник, еще он рассказывал ему про англичан, которые сделали из часовни крепость и, в свою очередь, были ammazzati французами.

– Вот поглядите, – сказал мастро Винченцо, указывая на кучку пуль у ограды. – И вот еще, – добавил он, поднимая медную пуговицу от английского солдатского мундира.

---

[40] Это вам не Сан Констанцо (итал.).

[41] До скорого свидания! Да благословит вас святой Антоний! Да будет с вами мадонна (итал.).

[42] Она была очень твердая (итал.).

[43] Божественный Август Отец... (лат.).

[44] Человеческие головы (итал.).

[45] Совершенно голых людей, танцующих как бешеные (итал.).

Французы, продолжал он, поставили большую пушку у часовни и стреляли по деревне Капри, занятой англичанами.

– И правильно делали, – усмехнулся он, – каприйцы все очень плохие люди.

Потом французы устроили в часовне пороховой склад – вот почему ее до сих пор называют «La Polveriera»[46]. Конечно, теперь она совсем развалилась, но ему и это пошло на пользу: почти все камни для садовой ограды он взял оттуда.

Я перелез через ограду и по узкой тропке поднялся к часовне. Пол был погребен под грудой обломков обрушившегося свода, стены обвивали плющ и дикая жимолость. В зарослях мирта и розмарина играли ящерицы – время от времени они вдруг останавливались и, тяжело дыша, смотрели на меня блестящими глазами. Из темного угла бесшумно поднялась сова, и черная змея, спавшая на залитом солнцем мозаичном полу террасы, медленно развернула черный клубок своего тела, угрожающе зашипела на пришельца и скользнула в часовню. Может быть, дух угрюмого старого императора и правда обитал в развалинах на том месте, где когда-то стояла его вилла?

Я посмотрел на прекрасный остров, лежавший у моих ног. «Как мог он жить здесь и быть таким жестоким? – подумал я. – Как могла его душа быть столь мрачной в этом блеске неба и земли? Как мог он покинуть эти места и удалиться в другую, еще более неприступную виллу среди восточных скал, которая до сих пор носит его имя и в которой он провел три последних года своей жизни?»

В таком месте жить и умереть – если только смерть может победить вечную радость такой жизни! Какая дерзкая мечта заставила забиться мое сердце, когда мастро Винченцо сказал, что он становится стар и что его сын просит продать дом? Какая дикая, фантастическая мысль возникла в моем мозгу, когда он ответил, что часовня никому не принадлежит? А почему не мне? Почему я не могу купить дом мастро Винченцо, соединить дом и часовню виноградными лозами и кипарисовыми аллеями с белыми колоннадами лоджий, украшенных мраморными скульптурами богов и императоров...

Я закрыл глаза, чтобы задержать прекрасное видение, и вот действительность растаяла, окутанная легкими сумерками мечты.

Рядом со мной стояла высокая фигура в красном плаще.

– Всё это будет твоим, – сказал мелодичный голос, и рука описала круг над сверкающей землей. – Часовня, дом, сад и гора с ее замком – всё это будет твоим, если ты готов заплатить!

– Кто ты, призрак из страны неведомого?

– Я бессмертный дух этих мест. Время для меня ничего не значит. Две тысячи лет назад я стоял здесь рядом с другим человеком, которого привела сюда его судьба так же, как тебя – твоя. Он не просил, как ты, счастья, а искал лишь покоя и забвения и надеялся обрести их на этом уединенном острове. Я назвал ему цену: печать бесславия на незапятнанном имени во веки веков. Он согласился, он заплатил эту цену. Одиннадцать лет жил он здесь с несколькими верными друзьями, людьми высокой честности и благородства. Дважды он пытался возвратиться в свой дворец на Палатине. Дважды у него не хватало на это духа, и Рим никогда больше его не увидел. Он умер на пути туда на вилле своего друга Лукулла, вот на том мысу. Его последними словами было приказание перенести его на галеру для возвращения на родной остров.

– Какую плату ты требуешь от меня?

– Отрекись от своей мечты стать знаменитым в своей профессии, принеси в жертву свое будущее.

– Но чем же я тогда стану?

– Человеком, обманувшим и свои и чужие ожидания. Неудачником.

– Ты отнимаешь у меня всё, ради чего стоит жить!

– Ты ошибаешься. Я даю тебе всё, ради чего стоит жить.

– Оставишь ли ты мне, по крайней мере, сострадание? Я не смогу обойтись без сострадания, если стану врачом.

– Да, я оставлю тебе сострадание. Но без него тебе жилось бы намного лучше.

– Ты требуешь еще чего-нибудь?

---

[46] Пороховница (итал.).

Интерьер виллы Сан-Микель

– Перед смертью ты должен будешь заплатить еще одну цену – высокую цену. Но до тех пор ты много лет будешь отсюда видеть восход солнца над безоблачными днями счастья и восход луны над звездными ночами грез.

– Умру ли я здесь?

– Берегись искать ответа на этот вопрос: человек не вынес бы жизни, если бы ему был известен час его смерти.

Он положил руку мне на плечо, и по моему телу пробежала легкая дрожь.

– Еще раз я явлюсь тебе на этом месте завтра на закате солнца; у тебя есть время всё обдумать!

– К чему? Мои каникулы подходят к концу, и сегодня вечером я должен вернуться к моему ежедневному труду вдали от этих прекрасных мест. Кроме того, я не умею раздумывать. Я согласен и заплачу твою цену, как бы высока она ни была. Но как я куплю этот дом, если мои руки пусты?

– Твои руки пусты, но сильны, твой ум буен, но ясен, твоя воля здорова – тебе это удастся.

– Как же я построю свой дом? Я ничего не смыслю в архитектуре.

– Я помогу тебе. Какой стиль хотел бы ты избрать? Почему не готический? Мне нравится готика с ее приглушенным светом и властной таинственностью.

– Я найду собственный стиль, такой, что даже ты не сможешь подобрать ему названия. Средневековый полумрак мне не нужен! Мой дом должен быть открыт для ветра и солнца и для голоса моря, как греческий храм. И свет, свет, свет повсюду!

– Берегись света! Берегись света! Излишек света вреден для смертных глаз!

– Я хочу, чтобы колонны из бесценного мрамора поддерживали лоджии и арки, чтобы мой сад был полон прекрасных обломков ушедших веков, чтобы часовня стала библиотекой, полной монастырской тишины, где колокола гармонично звонили бы «Аве Мария» в конце каждого счастливого дня.

– Я не люблю колоколов.

– А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов. Но где я всё это найду?

– Ты стоишь там, где была вилла Тиберия. Бесценные сокровища далеких времен погребены под виноградником, под часовней, под домом. Ноги старого императора ступали по разноцветным мраморным плитам, которые старый крестьянин на твоих глазах выбрасывал за стены своего сада. Погубленные фрески с танцующими фавнами и вакханками в венках украшали стены его дворца. Посмотри, – тут он указал на прозрачные морские глубины в тысяче футов под нами. – Разве тебе не рассказывал в школе твой Тацит, что при вести о смерти императора его дворцы были сброшены в море?

Я хотел сразу прыгнуть в пропасть и нырнуть в море за своими колоннами.

– В такой поспешности нет смысла, – сказал он, смеясь. – Вот уже две тысячи лет, как кораллы одевают их своей паутиной, а волны зарывают их в песок всё глубже и глубже – они подождут, пока не придет твое время.

– А сфинкс? Где я найду сфинкса?

– На пустынной равнине, вдали от кипения современной жизни, некогда стояла гордая вилла другого императора. Он привез этого сфинкса с берегов Нила, чтобы украсить свой сад. От дворца осталась только груда развалин. Но глубоко во тьме земли еще спит сфинкс. Ищи – и ты его найдешь! Ты едва не поплатишься жизнью за это, но доставишь его сюда.

– По-видимому, ты знаешь будущее так же хорошо, как и прошлое?

– Прошлое и будущее для меня одно и то же. Я знаю всё.

– Я не завидую твоему знанию!

– Твои слова старше твоих лет. Где ты их нашел?

– На этом острове, сегодня. Ибо я узнал, что здешние приветливые люди, которые не умеют ни читать, ни писать, гораздо счастливее меня, хотя я с детства напрягаю глаза, чтобы получить знания. Как и ты, судя по тому, что ты говорил. Ты великий эрудит, ты знаешь Тацита наизусть.

– Я – философ.

– Ты хорошо знаешь латынь?

– Я доктор богословия Иенского университета.

– Ах, вот почему мне казалось, что я слышу легкий немецкий акцент в твоей речи. Ты знаешь Германию?

– Еще бы! – усмехнулся он.

Я внимательно поглядел на него. Он держался и говорил, как аристократ, а теперь я впервые заметил шпагу под красным плащом, и что-то знакомое почудилось мне в его резком голосе.

– Простите, сударь, мне кажется, что мы с вами уже встречались в Ауэрбаховском погребке в Лейпциге. Ведь вас зовут...

Когда я произносил эти слова, церковные колокола Капри зазвонили «Аве Мария». Я повернулся к нему – он исчез.

Глава II. Латинский квартал

Латинский квартал. Студенческая комната в «Отель де л'Авенир», повсюду книги – на столах, на стульях, на полу, а на стене выцветшая фотография Капри.

По утрам в палатах Сальпетриер, Отель Дье и ЛаПитье перехожу от койки к койке, читаю главу за главой книгу человеческих страданий, написанную кровью и слезами. Днем – в анатомическом театре, в аудиториях Медицинской школы или в лабораториях Института Пастера наблюдаю под микроскопом тайны невидимого мира, те бесконечно малые существа, от которых зависит жизнь и смерть человека. А потом бессонная ночь в «Отель де л'Авенир», бесценная ночь, отданная тому, чтобы постигнуть факты, узнать классические признаки расстройств и заболеваний, всё то, что было обнаружено и отобрано наблюдателями всех стран мира, – как это необходимо и как мало, чтобы стать врачом! Работа! Работа! Работа! Летние каникулы, когда пустеют кафе на бульваре Сен-Мишель, Медицинская школа закрывается, аудитории и лаборатории пусты, и в клиниках нет почти никого. Но для людских страданий в больничных палатах каникул нет – и для Смерти тоже. И нет каникул в «Отель де л'Авенир», никаких развлечений, кроме редких прогулок под липами Люксембургского сада или часа

отдыха в Луврском музее, полного жадной радости. Ни друзей. Ни собаки. Ни даже любовницы. Богема Анри Мюрже исчезла, но его Мими была жива, как никогда, – в предобеденный час она, улыбаясь, прогуливалась по бульвару Сен-Мишель под руку почти с каждым студентом и штопала его одежду или стирала белье в его мансарде, пока он готовился к экзамену.

Никакой Мими для меня! Да, мои счастливые товарищи могли себе это позволить – проводить вечера в пустой болтовне за столиками кафе, смеяться, жить, любить. Их живой латинский мозг работал гораздо быстрей моего, и на стене их мансарды не висела выцветшая фотография Капри, чтобы их пришпоривать, их не ждали колонны бесценного мрамора под песком Палаццо ди Маре.

Часто в долгие бессонные ночи, когда я сидел в «Отель де л'Авенир», склонившись над «Заболеваниями нервной системы» Шарко или «Клиникой Отель Дье» Труссо, страшная мысль внезапно пронизывала мой мозг: мастро Винченцо стар, вдруг он умрет, пока я сижу здесь, или продаст кому-нибудь другому домик на скале, хранящий ключ к моему будущему дому. Холодный пот выступал у меня на лбу, и сердце почти останавливалось от ужаса. Я устремлял взгляд на выцветшую фотографию Капри на стене, и мне казалось, что она всё более и более тускнеет, расплывается в загадочной и таинственной дымке, пока не оставалось ничего, кроме очертаний саркофага над похороненной мечтой...

Тогда я тер ноющие глаза и снова принимался читать с яростным отчаянием – так скаковую лошадь гонит к цели удар шпор по кровоточащим бокам. Да, это была скачка – скачка ради приза и трофеев. Мои товарищи начали ставить на меня как на фаворита, и даже сам мэтр с головой Цезаря и взором орла принял меня за восходящую звезду – это был единственный известный мне неправильный диагноз, который поставил профессор Шарко, а ведь я много лет внимательно наблюдал за ним, когда он выносил свои безошибочные суждения в палатах Сальпетриер или в своей приемной на бульваре Сен-Жермен, куда стекались пациенты со всего света. Его ошибка мне дорого обошлась. Она стоила мне сна и почти – зрения. Но почти ли? Так велика была моя вера в непогрешимость Шарко, который знал о человеческом мозге больше, чем кто-либо другой, что в течение короткого времени я считал его правым. Подстрекаемый честолюбивым желанием оправдать его предсказание, забывая про усталость, сон и даже голод, я перенапрягал все фибры духа и тела для того, чтобы любой ценой добиться победы.

Забыты прогулки под липами Люксембургского сада, забыт Лувр. С утра до вечера я вдыхал зараженный воздух больничных палат, с вечера до утра – дым бесчисленных папирос в моей душной комнатушке. Экзамен за экзаменом в быстрой последовательности (к сожалению, слишком быстрой, чтобы от них был какой-либо толк, успех за успехом. Работа, работа, работа! Весною я должен был получить диплом. Удача во всем, к чему ни прикасались мои руки, неизменная, удивительная, почти жуткая удача. Уже я изучил устройство удивительного механизма, который называется человеческим телом, гармоническую работу его колесиков в здоровом состоянии, его расстройства в болезни и ту последнюю поломку, которая зовется смертью. Уже я узнал почти все виды недугов, которые приковывают людей к больничным койкам. Уже я научился владеть острыми хирургическими инструментами, чтобы равным оружием сражаться с безжалостной противницей, которая с косой в руках обходила палаты, готовая разить в любой час дня и ночи. Казалось, она сделала своей резиденцией эту мрачную старую больницу, из века в век служившую приютом мук и горестей. Порой она врывалась в палату, в слепой ярости безумца разя направо и налево молодых и старых, медленно душила одну жертву, срывала повязку с зияющей раны другой, и кровь вытекала до последней капли. Порой она подходила на цыпочках тихо и тайно, и ее рука закрывала глаза страдальца нежным прикосновением, так что улыбка озаряла его лицо. Часто я, чьей обязанностью было мешать ее приближению, даже не подозревал, что она уже близко. Только маленькие дети у груди матери чувствовали ее присутствие, вздрагивали и кричали во сне, когда она проходила. Да еще старые монахини, всю жизнь проведшие в больничных палатах, успевали заметить ее приближение и спешили к койке с распятием.

Вначале, когда она победоносно стояла по одну сторону постели, а я беспомощно – по другую, я почти не обращал на нее внимания. В то время я думал только о жизни, знал, что моя миссия кончается, когда она берется за работу, и лишь отворачивал лицо от моей зловещей сотрудницы, оскорбленный своим поражением. Но когда я ближе с ней познакомился, я начал наблюдать за ней с большим вниманием, и чем чаще я ее видел, тем больше желал ее узнать и понять. Мне стало ясно, что она участвует в работе так же, как и я, что мы товарищи, и когда борьба за человеческую жизнь кончается и она побеждает, лучше бесстрашно посмотреть друг

другу в глаза и быть друзьями. Позднее даже наступило время, когда я верил, что она мой единственный друг, когда я ждал ее и почти любил, хотя она меня не замечала. О, если бы я научился читать по ее темному лицу! Сколько пробелов в моих скудных познаниях о людских страданиях восполнила бы она! Ведь только она одна читала последнюю главу, которой не хватало во всех моих медицинских справочниках, – главу, где всё объясняется, где разрешаются все загадки и дается ответ на все вопросы.

Но почему она была такой жестокой – она, которая могла быть такой нежной? Почему она одной рукой похищала так много юного и живого, когда другой рукой она могла бы даровать столько счастья и мира? Почему ее хватка на горле одной жертвы была такой медлительной, а удар, нанесенный другой жертве, – столь быстрым? Почему она так долго боролась с жизнью ребенка и милостиво позволяла жизни старика отлететь во время сна? Или она должна была карать, а не просто убивать? Была ли она судьей, а не только палачом? Что она делала с теми, кого убивала? Прекращали ли они существовать или только спали? Куда она уносила их? Была ли она повелительницей или только вассалом, простым орудием в руках гораздо более могущественного владыки, повелителя жизни? Сегодня она одерживала победу, но была ли ее победа окончательной? Кто победит последней – она или Жизнь?

Но действительно ли моя миссия кончалась тогда, когда начиналась ее миссия? Был ли я только пассивным наблюдателем последнего, неравного боя, беспомощно и бесчувственно следящим за ее губительной работой? Должен ли я был отворачиваться от глаз, которые молили меня о помощи, когда язык давно уже онемел? Я был побежден, но не обезоружен, в моих руках еще оставалась могучая разящая сила. У нее была чаша вечного сна, но у меня была своя чаша, доверенная мне благостной Матерью Природой. В тех случаях, когда она слишком медленно отпускала свой напиток, разве не должен я был дать свой, могущий превратить страдания в покой, пытку в сон? Не было ли моим долгом облегчить смерть тем, кому я не мог сохранить жизнь?

Старая монахиня сказала мне, что я совершаю страшный грех, – что всемогущий бог в своей неизреченной мудрости постановил, чтобы было так, что чем больше страданий он посылает в смертный час, тем милостивее он будет в день Страшного суда. Даже кроткая сестра Филомена укоризненно смотрела на меня, когда я, единственный среди моих коллег, подходил к постели со шприцем морфия, после того как от нее удалился священник со святыми дарами.

Тогда во всех парижских больницах еще мелькали их большие белые чепцы – чепцы добрых самоотверженных сестер монастыря Сен-Венсен де Поль. Распятие еще висело на стене каждой палаты, а священник совершал по утрам богослужение у маленького алтаря в палате Святой Клары. Настоятельница, «мать моя», как все ее называли, еще обходила по вечерам больных, после того как колокола отзвонили «Аве Мария».

Тогда еще не было жарких споров об изъятии больниц из ведения религиозных учреждений и не прозвучало требование: «Вон священников, долой распятия, гнать монахинь!» Увы! Вскоре они были изгнаны, о чем я только пожалел. Без сомнения, у монахинь были свои недостатки. Четки были им привычнее щеточек для ногтей, и пальцы они погружали в святую воду, а не в карболку – всемогущую панацею наших хирургических палат тех времен. Но их мысли были возвышенны, а сердца чисты, и они отдавали свою жизнь работе, не прося взамен ничего, кроме права молиться за своих подопечных.

Даже их злейшие враги не отрицали их самоотверженности и неиссякаемого терпения. Тогда говорили, что лица монахинь, ухаживающих за больными, всегда угрюмы, что думают они больше о спасении души, а не тела, и на их губах слова смирения более часты, чем слова надежды. Тот, кто верил в это, ошибался. Наоборот, монахини, и старые и молодые, все без исключения были неизменно бодры и радостны, по-детски веселы и шутливы. В них не было никакой нетерпимости. Верующие и неверующие – для них были все одинаковы. Последним они даже старались помогать больше, потому что жалели их, и никогда не обижались на их ругательства и кощунства. Со мной они все держались приветливо и ласково. Они знали, что я не принадлежу к их вероисповеданию, не хожу к исповеди и не осеняю себя крестным знамением, проходя мимо маленького алтаря. Сначала мать-настоятельница попыталась было обратить меня в веру, которая научила ее отдать жизнь другим, но вскоре отказалась от этой мысли, сострадательно покачивая старой головой.

С братом Антонием, который приходил по воскресеньям в больницу играть на органе в маленькой часовне, я был особенно дружен. В те дни это для меня была единственная возможность слушать музыку, и я никогда ее не упускал. Ведь я так люблю музыку! Хотя я не

видел сестер, поющих за алтарем, я узнавал кристально чистый голос сестры Филомены. Накануне рождества брат Антоний сильно простудился, и в палате Святой Клары от койки к койке шепотом передавали, что настоятельница, после долгого совещания со старым священником, разрешила сесть за орган мне и этим спасла положение.

В те дни я не слышал другой музыки, если не считать тех двух дней в неделю, когда бедный старый дон Гаэтано играл для меня на своей шарманке под моим балконом в «Отель де л'Авенир». «Мизерере» из «Трубадура» было его коронным номером, и этот грустный старинный мотив подходил и к нему, и к его полузамерзшей обезьянке, которая сидела на шарманке в красной гарибальдийской курточке. Это был и подходящий аккомпанемент к моим мыслям, когда я сидел за книгами, не чувствуя в себе мужества прожить еще один день, когда всё казалось мне мрачным и безнадежным, а Капри на выцветшей фотографии – бесконечно далеким. Тогда я бросался на кровать, закрывал ноющие глаза, и вскоре Сант Антонио начинал творить новое чудо. Я уносился от всех своих забот к чарующему острову моей мечты. Джоконда, улыбаясь, подавала мне стакан вина дона Дпонизио, и кровь мощной струей вновь приливала к моему усталому мозгу. Мир был прекрасен, а я был молод, готов к бою, уверен в победе. Мастро Винченцо, трудясь в своем винограднике, приветливо махал мне рукой, когда я поднимался по тропинке за его садом к часовне. Некоторое время я сидел на площадке и завороженно смотрел на прекрасный, лежащий у моих ног остров и размышлял о том, каким образом мне удастся поднять моего сфинкса из красного гранита на вершину этой скалы. Нелегкое дело! Но я справлюсь с ним – и совсем один!

«Addio, bella Gioconda! Addio, e presto ritorno!» Да, конечно, я вернусь очень скоро – в моем будущем сне!

Наступал следующий день и пристально смотрел в окно на спящего. Я открывал глаза, вскакивал на ноги, с улыбкой приветствовал его, хватал книгу и садился за стол. Потом пришла весна и бросила на мой балкон первый цветок с каштанов, зеленеющих на бульваре. Это был знак. Я записался на экзамены и покинул «Отель де л'Авенир» со столь трудно завоеванным дипломом в кармане – никогда еще во Франции не было такого молодого дипломированного врача.[47]

Глава III. Авеню Вилье

Авеню Вилье. «Д-р Мунте. Часы приема от 2-х до 3-х»[48]. День и ночь звонил колокольчик у двери – настойчивые письма, срочные вызовы. Телефон, это смертоносное оружие в руках ничем не занятых женщин, еще не начал свое невыносимое наступление на каждый час, вырванный для отдыха. Приемная быстро наполнялась всевозможными пациентами, чаще всего с нервными расстройствами, причем прекрасный пол преобладал. Многие были больны, тяжело больны. Я внимательно выслушивал всё, что они говорили, и тщательно их обследовал, так как верил, что им я могу помочь. О таких больных я не хочу писать здесь. Быть может, наступит день, когда я расскажу и о них. Многие были совсем здоровы и не заболели бы, если бы не обратились ко мне. Многие только думали, что больны. Их истории всегда бывали самыми длинными – они повествовали о своих бабушках, тетках и свекровях или же вынимали из кармана бумажку и начинали читать перечень симптомов и жалоб. Le malade au petit papier,[49] – как говорил Шарко. Мне это было внове, так как у меня не было никакого опыта, кроме больничного, а там для таких глупостей нет времени, и я наделал много ошибок. Потом, когда я лучше узнал людей, я научился обходиться с такими пациентами более правильно, но все-таки мы не очень ладили. Они чрезвычайно расстраивались, услышав от меня, что они хорошо выглядят и цвет лица у них прекрасный, но облегченно вздыхали, когда я добавлял, что их язык мне не особенно нравится – как обычно и бывало. В таких случаях мой диагноз был: обжорство – слишком много сладкого теста днем и тяжелые ужины вечером. Вероятно, это был самый правильный диагноз, который я в те дни ставил, но он не имел успеха и никому не нравился. Никто не хотел слышать ничего

---

[47] **В.Э.:** Аксель Мунте получил диплом врача в 1880 году, и если это случилось до 31 октября, то ему было тогда 22 года. 24 ноября 1880 года, в возрасте 23 лет, он женился на Ультиме Хорнберг, шведке, которая в Париже изучала искусство. Через нее Мунте стал членом скандинавской колонии художников в Париже. Он развелся с Ультимой в конце 1880-х годов.

[48] **В.Э.:** Аксель Мунте практиковал в Париже с 1880 по 1887 год.

[49] Больной с записочкой (франц.).

подобного. Всех прельщал аппендицит. В те дни среди богатых людей, искавших для себя приятной болезни, был большой спрос именно на аппендицит. Всех нервных дам томил аппендицит – если не в брюшной полости, то в мыслях, и он приносил им большую пользу, как и лечащим их врачам. Поэтому я постепенно стал знатоком аппендицитов и часто пользовал от него с переменным успехом. Когда же прошел слух, что американские хирурги начали кампанию за удаление всех вообще аппендиксов в Соединенных Штатах, число больных аппендицитом среди моих пациентов начало угрожающе сокращаться. Замешательство. «Вырезать аппендикс! Мой аппендикс! – восклицали светские дамы, точно матери, которых грозят разлучить с ребенком. – Что я буду без него делать?!» «Вырезать их аппендиксы, мои аппендиксы! – говорил врач, уныло проглядывая список своих пациентов. – Какой вздор! Да их аппендиксы совершенно здоровы! Мне ли этого не знать, когда я осматриваю их каждую неделю. Нет, я решительно против!»

Вскоре стало ясно, что аппендицит доживает последние дни. Надо было найти другой недуг, который удовлетворил бы общий спрос. Специалисты не ударили в грязь лицом, и на рынок была выброшена новая болезнь, отчеканили новое слово, подлинную золотую монету – колит! Это был милейший недуг – ему не грозил нож хирурга, возникал он по требованию и отвечал любому вкусу. Никто не знал, когда начинается эта болезнь, никто не знал, когда она кончается. Мне было известно, что кое-кто из моих дальновидных коллег уже с большим успехом применяет колит к своим пациентам, но мне всё не представлялось удобного случая.

Среди моих больных, которых я лечил от аппендицита, была, если не ошибаюсь, графиня, обратившаяся ко мне по совету Шарко, как она объяснила. Он действительно иногда присылал мне пациентов, и я, разумеется, готов был сделать для нее всё возможное, не будь даже она такой красавицей. Посмотрев на юного оракула с плохо скрытым разочарованием в больших томных глазах, она сказала, что хотела бы поговорить с самим доктором, а не с его ассистентом. Я уже привык выслушивать подобные заявления от новых пациентов. Сначала она не знала, есть ли у нее аппендицит, как не знал этого и я, но вскоре она уже была убеждена, что он у нее есть, а я – что его у нее нет. Когда я опрометчиво так прямо и сказал ей это, она пришла в большое волнение. Профессор Шарко обещал, что я обязательно узнаю, чем она больна, и помогу ей, а вместо этого... Она зарыдала, я мне стало ее очень жаль.

– Так чем же я больна? – спрашивала она сквозь слезы, в отчаянии простирая ко мне руки.

– Я вам скажу, если вы обещаете мне успокоиться.

Она тотчас перестала плакать. Вытирая свои большие глаза, она мужественно сказала:

– Я могу вынести всё, мне столько пришлось претерпеть! Не бойтесь, я не буду плакать. Что со мной?

– Колит.

Ее глаза, как ни невероятно, стали еще больше.

– Колит! Именно это я и предполагала. Вы, конечно, правы. Колит! Скажите, а что такое колит?

От ответа на этот вопрос я благоразумно уклонился, потому что и сам этого не знал, – как в те дни этого не знал никто. Но я сказал, что колит длительная болезнь и трудно поддается излечению. Тут я сказал правду. Графиня мне ласково улыбнулась. А ее муж утверждает, будто всё это нервы! Она сказала, что времени терять нельзя, и хотела тут же начать лечиться – в результате мы условились, что она будет являться на авеню Вилье дважды в неделю. Она пришла на следующий день. И даже я, привыкший к быстрым переменам в пациентах, настолько удивился ее свежему виду, ее сияющему лицу, что спросил, сколько ей лет.

Ей недавно исполнилось двадцать пять, а пришла она, чтобы спросить, заразителен ли колит.

Да, очень.

Едва я это сказал, как понял, что это юное создание гораздо умнее меня.

Может быть, я скажу графу, что им не следует спать в одной комнате?

Я заверил ее, что это совсем не обязательно, что я, хотя и не имею чести знать графа, всё же уверен, что он не заразится. Это заразно только для таких впечатлительных и нервных натур, как она.

Но не считаю же я ее нервной натурой, возразила она, а ее большие глаза беспокойно оглядывали комнату.

Разумеется.

А могу ли я вылечить ее от этого?

Нет.

«Дорогая Анна!

Подумать только – у меня колит. Я так рада... так рада, что вы рекомендовали мне этого шведа... или его рекомендовал Шарко? Во всяком случае, ему я сказала, что это был Шарко, чтобы он уделил мне больше времени и внимания. Вы правы, он очень искусный врач, хотя по его виду этого не скажешь. Я уже рекомендую его всем моим знакомым. Я думаю, что он может помочь моей невестке, которая всё еще лежит после своего глупого падения на вашем балу во время котильона. Несомненно, у нее колит. Жаль, дорогая, что мы не увидимся завтра на обеде у Жозефины, но я уже написала ей, что у меня колит и я не могу прийти. Если бы она могла отложить обед до послезавтра!

Ваша любящая Жюльетта.

P.S. Мне пришло в голову, что шведу следует посмотреть вашу свекровь, которая так тревожится из-за своей глухоты. Конечно, я знаю, что маркиза не желает больше видеть врачей – и это вполне понятно! Но нельзя ли показать ее ему как бы случайно. Не удивлюсь, если окажется, что причина ее страданий колит.

P.P.S. Я готова пригласить доктора к обеду, если вы сумеете убедить маркизу пообедать у нас, в семейном кругу, разумеется. Вы знаете, он распознал мой колит, только посмотрев на меня сквозь очки! А кроме того, я хочу, чтобы мой муж тоже с ним познакомился, хотя он так же любит врачей, как и ваша свекровь! Но этот ему понравится!»

Неделю спустя я был неожиданно удостоен приглашения в особняк графини в Сен-Жерменском предместье и имел честь сидеть за обедом рядом с вдовствующей маркизой и созерцать моим орлиным взором, как она с рассеянной надменностью поглощает полную тарелку паштета из гусиной печенки. Она не сказала мне ни слова, а я прекратил робкие попытки завязать разговор, заметив, что она совершенно глуха. После обеда граф повел меня в курительную комнату. Это был чрезвычайно учтивый толстячок с невозмутимым, почти застенчивым выражением лица, вдвое старше жены и джентльмен в полном смысле слова. Предложив мне папиросу, он сказал с искренним жаром:

– Не могу выразить, как я вам благодарен за то, что вы вылечили мою жену от аппендицита, – я ненавижу даже самое это слово. Признаюсь откровенно, я проникся большой неприязнью к врачам. Я столько их перевидал, и до сих пор ни один не сумел помочь моей жене, хотя следует признать, что и она, не успев начать лечиться у одного, уже подыскивала другого. Пожалуй, мне следует предупредить вас, что и с вами будет то же.

– Я в этом не уверен.

– Тем лучше. Она, по-видимому, прониклась к вам доверием, а это очко в вашу пользу.

– Это – самое главное.

– Должен признаться, что сначала я был о вас не очень лестного мнения. Но теперь, когда мы познакомились, я рад его изменить, и мне кажется, – добавил он любезно, – что мы на правильном пути. Кстати, что такое колит?

Я пришел в некоторое замешательство, но он добродушно продолжал:

– Во всяком случае, хуже аппендицита он быть не может, и будьте уверены, что скоро я буду знать о колите не меньше вашего!

Что было совсем нетрудно.

Его непринужденная любезность так меня очаровала, что я позволил себе задать один вопрос.

– Нет, – ответил он с легким смущением. – А я очень этого хочу! Мы женаты пять лет, и до сих пор никаких признаков. Ах, если бы! Видите ли, я родился в этом старом доме и мой отец тоже, а нашим поместьем в Турене мы владеем уже триста лет, но я последний в роду, и это тяжело... Неужели ничего нельзя поделать с этими проклятыми нервами? Не можете ли вы что-нибудь посоветовать?

– Я убежден, что расслабляющая парижская атмосфера вредна для графини. Почему бы вам не уехать в ваш замок в Турене?

Его лицо просияло.

– Вы человек в моем вкусе, – сказал он, протянув мне руки. – Я только этого и хочу. Я охочусь там, да и имение нуждается в присмотре. Там я счастлив, но графиня там смертельно скучает, что вполне естественно – ведь она привыкла днем делать визиты, а вечера проводить на балах или в театре. Правда, я не понимаю, откуда у нее берутся силы вести такую жизнь – и ведь

она постоянно жалуется на усталость. Я бы сразу умер. Теперь она говорит, что должна лечить в Париже свой колит – раньше это был аппендицит. Только не считайте ее эгоисткой, она постоянно просит меня уехать в Шато-Рамо, хотя бы без нее – она знает, как я там счастлив. Но я не могу оставить ее одну в Париже, такую молодую и неопытную.

– А сколько лет графине?

– Только двадцать девять, а выглядит она даже моложе.

– Да, у нее вид молодой девушки.

После некоторого молчания граф спросил:

– А кстати, когда вы намерены отдыхать?

– Я не отдыхал уже три года.

– Тем больше оснований отдохнуть в этом году. Вы охотитесь?

– Я не убиваю животных по доброй воле. А почему вы об этом спрашиваете?

– Потому что в Шато-Рамо чудесная охота, а неделя полного отдыха, конечно, была бы вам очень полезна. Во всяком случае, так говорит моя жена; она находит, что вы много работаете, да и вид у вас переутомленный.

– Вы очень любезны, граф, но я чувствую себя прекрасно и вполне здоров, если не считать того, что у меня бессонница.

– Бессонница? Как жаль, что я не могу уступить вам часть моего сна! У меня его больше, чем нужно. Но успею я положить голову на подушку, как уже сплю беспробудным сном. Моя жена встает рано, но я этого не слышу. Слуге, который приносит мне кофе в девять часов, приходится трясти меня за плечо, иначе я не просыпаюсь. Да, мне вас искренне жаль! А кстати, вы не знаете какого-нибудь средства от храпа?

Это был ясный случай. Мы вернулись в гостиную к дамам. Меня посадили рядом с почтенной маркизой для неофициальной консультации, столь ловко устроенной графиней. Попробовав вторично завести беседу со старой дамой, я прокричал в ее слуховую трубку, что у нее еще нет колита, но что он у нее, несомненно, будет, если она не откажется от паштета из гусиной печени.

– Вот видите! – прошептала графиня. – Ну разве он не кудесник?

Маркиза тотчас же пожелала узнать симптомы колита и весело мне улыбалась, пока я капал тонкий яд в слуховую трубку. Когда я встал, собираясь прощаться, я был уже совсем без голоса, но зато приобрел новую пациентку.

Неделю спустя на авеню Вилье остановился элегантный кабриолет, и лакей бегом взбежал по лестнице, чтобы вручить мне наскоро нацарапанную записку графини, которая умоляла меня немедленно приехать к маркизе, заболевшей ночью, судя по всему, колитом. Так я вступил в высший парижский свет.

Колит распространялся по Парижу, как степной пожар. Моя приемная была настолько переполнена, что мне пришлось устроить еще одну приемную из столовой. Я никак не мог понять, откуда у всех этих людей берется время и терпение ждать так долго, иногда часами.

Графиня приезжала регулярно дважды в неделю, но иногда она чувствовала себя так скверно, что являлась и не в положенные дни. Несомненно, колит был ей гораздо полезнее аппендицита: ее лицо утратило томную бледность, а большие глаза сияли всем светом юности.

Однажды, выходя из особняка маркизы, отбывавшей в деревню, я увидел, что около моего экипажа стоит графиня и дружески болтает с Томом, который сидел на большом пакете, полуприкрытом ковриком. Графиня собиралась ехать в магазин «Лувр», чтобы купить подарок маркизе, которая на следующий день праздновала свой день рождения. Но она понятия не имела, что купить. Я посоветовал ей купить собаку.

– Собаку! Какая блестящая мысль!

Когда ее еще девочкой возили к маркизе, у той на коленях всегда лежал мопс – такой толстый, что он едва двигался, а хрипел он так, что его было слышно во всем доме. Когда он скончался, ее тетушка несколько недель лила слезы. Да, это была блестящая мысль.

Мы дошли до угла улицы Камбон, где находилась лавка известного торговца собаками. Там, среди десятка непородистых дворняжек, сидел тот, кого я искал: аристократический маленький мопс, который отчаянно засопел, чтобы привлечь наше внимание к своей печальной судьбе, а его налитые кровью глаза умоляли вызволить его из этого плебейского общества, в котором он оказался по несчастному стечению обстоятельств и совершенно незаслуженно. Мопс почти задохнулся от радости, когда осознал свое счастье, и был отправлен с кучером в особняк Сен-Жерменского предместья.

Графиня всё же решила отправиться в магазин «Лувр», чтобы примерить новую шляпу. Сначала она хотела пойти туда пешком, потом заявила, что возьмет фиакр, и тогда я предложил подвезти ее в своем экипаже. Она поколебалась. (Что скажут люди, если увидят меня в его экипаже?) Но потом поблагодарила и согласилась. Но ведь «Лувр» мне не по дороге? Однако я уверил ее, что никуда не тороплюсь.

– А что у меня в пакете? – осведомилась графиня с чисто женским любопытством. Я уже собирался снова солгать ей, но тут Том, полагая, что больше можно не охранять драгоценный пакет, прыгнул на свое обычное место рядом со мной. Пакет порвался, и наружу высунулась голова куклы.

– Почему вы возите с собой кукол? Для кого они?

– Для детей.

Она не знала, что у меня есть дети, и как будто обиделась, что я не посвятил ее в тайны моей частной жизни.

– Так сколько же у меня детей? Человек двенадцать. Я понял, что выхода нет, и мне придется посвятить ее в мой секрет.

– Поедемте со мной, – сказал я смело. – А на обратном пути я познакомлю вас с моим приятелем Жаком, гориллой в Зоологическом саду. Это нам по дороге.

Графиня, казалось, была в прекрасном настроении и готова на любые эскапады; она сказала, что будет в восторге. Когда мы проехали вокзал Монпарнас, то очутились в районе, ей совершенно неизвестном, где она не узнавала ни одной улицы. Мы ехали теперь среди темных зловонных трущоб. В сточных канавах, забитых нечистотами, играли оборванные ребятишки. Почти на каждом пороге сидела женщина и кормила грудью младенца, возле стояла жаровня с углями, у которой, сбившись в кучку, грелись дети чуть постарше.

– Неужели это Париж? – спросила графиня с испугом.

Да, это был Париж, la Ville Lumière.[50]

– А это – тупик Руссель, – добавил я, когда мы остановились перед закоулком, сырым и темным, как дно колодца.

Жена Сальваторе сидела на их единственном стуле, держа на коленях Петруччо – своего сына, свое горе. Она помешивала варившуюся поленту, и две старшие девочки следили за ней жадными глазами, а самый маленький ползал по полу, стараясь поймать котенка. Я сказал жене Сальваторе, что со мной приехала добрая дама, которая хотела бы кое-что подарить детям. По растерянности графини я понял, что она первый раз в жизни переступает порог истинной нищеты. Она густо покраснела, протягивая матери Петруччо первую куклу – иссохшие ручки Петруччо не могли бы удержать ничего, ибо он родился параличным. Петруччо не выразил никакой радости – его мозг был таким же онемелым, как и его члены, но мать заверила нас, что кукла ему очень нравится. Обе его сестры, получив по кукле, радостно убежали, чтобы за кроватью начать игру в «дочки-матери».

Как по-моему, скоро ли Сальваторе выйдет из больницы? Ведь прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как он упал с лесов и сломал ногу.

Да, да, я заходил к нему в больницу Ларибуазьер, он поправляется, и, наверное, его скоро выпишут. А как у нее дела с новым хозяином дома? Слава богу, очень хорошо. Он очень добрый, он даже обещал поставить к зиме печку. И он позаботился проделать окошечко под потолком – я конечно, помню, какой темной была их комната.

– Поглядите-ка, как у нас теперь стало светло и уютно, siamo in Paradiso,[51] – сказала жена Сальваторе.

Когда мы собирались уходить, с работы, неся на плече большую метлу, вернулся мой приятель Арканджело Фуско, снимавший угол в комнатушке Сальваторе. В те дни все парижские подметальщики улиц были итальянцами.

Я с удовольствием представил его графине, и Арканджело, у которого, по итальянскому обычаю, была заткнута за ухо роза, тут же преподнес ей цветок с чисто южной галантностью. Графиня, по-видимому, была очень польщена этой данью ее молодости и красоте.

Ехать в Зоологический сад было уже поздно, и я повез графиню домой. Она всё время молчала, и я попытался развеселить ее, рассказав забавную историю о том, как одна добросердечная дама случайно прочитала мою небольшую статью о куклах, напечатанную в

---

[50] Город-Светоч (франц.).

[51] Точно в раю (итал.).

«Блеквуд мэгезин», и принялась делать куклы для бедных десятками. Может быть, графиня заметила, как нарядно одеты некоторые из них. Да, она это заметила. Эта дама красива? Очень. А она сейчас в Париже? Нет. Я должен был воспрепятствовать дальнейшему изготовлению кукол, так как у меня их становилось больше, чем пациентов, и я послал ее в Сен-Мориц «подышать другим воздухом».

Прощаясь с графиней перед ее домом, я выразил сожаление, что у нас не хватило времени навестить гориллу в Зоологическом саду. Но, может быть, она все-таки не раскаивается, что поехала со мной?

– Раскаиваюсь? О нет! Я вам очень благодарна, только... только мне так стыдно, – со слезами в голосе ответила она, исчезая за воротами своего особняка.

Глава IV. Модный врач

Меня пригласили обедать в особняке Сен-Жерменского предместья каждое воскресенье. Граф давно забыл о своей неприязни к врачам и был со мною очень мил. Кроме членов семьи, за столом обыкновенно присутствовал только аббат и иногда кузен графини, виконт Морис, который вел себя со мной пренебрежительно, почти нагло. Мне он стал противен с первой встречи, и, как я вскоре заметил, противен он был не мне одному. Им с графом явно не о чем было разговаривать. Аббат принадлежал к духовенству старой школы, был светским человеком и знал о жизни и о человеческой натуре гораздо больше меня. Вначале он держался со мной суховато, и часто, когда я чувствовал на себе его проницательный взгляд, мне казалось, будто он знает о колите больше моего. В присутствии старика мне становилось как-то стыдно, и мне хотелось поговорить с ним откровенно, выложить карты на стол. Но удобный случай всё не представлялся. Мы никогда не оставались наедине. Как-то раз, когда я вернулся домой, чтобы наспех позавтракать перед приемом, я увидел в столовой аббата. Он сказал, что пришел по собственному почину, чтобы поговорить со мной на правах старого друга семьи, и просит сохранить его визит в тайне.

– Вы необыкновенно много сделали для графини, – начал он, – и мы все вам очень благодарны. И для маркизы тоже. Я как раз от нее: я ее духовник и, право, могу только удивляться, насколько лучше во всех отношениях она себя чувствует. Но сегодня я пришел поговорить с вами о графе. Он меня очень тревожит. Его дела очень плохи. Он никуда не выходит, без конца курит, и я постоянно застаю его спящим в кресле с сигарой во рту. В деревне это совсем другой человек: каждое утро он ездит верхом, всегда бодр и энергичен, деятельно занимается своим огромным поместьем. И сейчас у него есть только одно желание – уехать к себе в Турен, и если, как я опасаюсь, графиня откажется покинуть Париж, то ему следует уехать одному, хотя мне и тяжко на этом настаивать. Он питает к вам необыкновенное доверие, и если вы ему скажете, что ради здоровья ему надо уехать из Парижа, он это сделает. Вот об этом-то я и пришел просить.

– К сожалению, господин аббат, я этого сделать не могу.

Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и даже подозрительно.

– Вы не объясните мне причину вашего отказа?

– Графиня еще не может покинуть Париж, а она, разумеется, должна поехать с графом.

– Но почему ее колит нельзя лечить в деревне? Там есть хороший, надежный врач, который ее лечил, когда у нее был аппендицит.

– И с каким результатом?

Он не ответил.

– Позвольте мне, в свою очередь, задать вам один вопрос. Допустим, что графиня внезапно исцелилась бы от своего колита, – могли бы вы тогда ее убедить уехать из Парижа?

– Честно говоря – нет. Но ведь это праздные предположения, поскольку, если я не ошибаюсь, колит длительная болезнь и с трудом поддается лечению.

– Я мог бы в один день вылечить графиню от ее колита.

Он озадаченно поглядел на меня.

– Так почему же, во имя всего святого, вы этого не делаете? Вы берете на себя большую ответственность!

– Если бы я боялся ответственности, я не был бы врачом. Будем откровенны. Да, я могу мгновенно вылечить графиню, потому что она больна колитом не более нас с вами. Не было у нее и аппендицита. Всё это только нервы и воображение. Но если сразу отнять у нее ее колит, она может либо потерять душевное равновесие, либо подыскать еще худшую замену болезни – морфий или любовника. Со временем выяснится, смогу ли я помочь графине, но посоветовать ей сейчас уехать из Парижа было бы большой психологической ошибкой. Она, вероятно, воспротивилась бы, а если она хотя бы раз ослушается меня, то сразу же утратит ко мне всякое доверие. Дайте мне две недели, и она уедет из Парижа по собственному желанию, – по крайней мере, так ей будет казаться. Всё дело в тактике. Отправить графа одного было бы ошибкой в другом плане, и вы, господин аббат, знаете это не хуже меня.

Он внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал.

– Теперь о маркизе: вы любезно признали, что я кое-что для нее сделал, и я принимаю вашу похвалу. С медицинской точки зрения я не сделал ничего, да это и невозможно. Однако глухие очень страдают из-за своей вынужденной изоляции от себе подобных – и особенно те, чья внутренняя духовная жизнь скудна, а таких большинство. И сделать для них можно только одно: отвлечь их мысли от их несчастья. Маркиза теперь думает о своем колите, а не о своей глухоте, и вы сами видите, как благодетельно это на нее повлияло. Однако мне начинают сильно надоедать колиты, и так как маркиза едет в деревню, я заменил этот недуг на комнатную собачку, более подходящую для сельской жизни.

Аббат простился со мной, но в дверях он вдруг обернулся и спросил:

– Сколько вам лет?

– Двадцать шесть.[52]

– Вы далеко пойдете, мой сын. Вы далеко пойдете.

«Да, – подумал я, – далеко! Я брошу эту унизительную жизнь, полную шарлатанства и обмана, всех этих искусственных людей и вернусь на волшебный остров к старой Марии Почтальонше, к мастро Винченцо и Джоконде, чтобы очистить мою душу в маленьком белом доме на высокой скале. Долго ли еще буду я вынужден бесполезно расточать свое время в этом ужасном городе? Когда совершит свое чудо святой Антоний?»

На столе лежало прощальное письмо маркизы (прощание, конечно, было временным), полное благодарности и похвал. К нему была приложена крупная банкнота. Я взглянул на выцветшую фотографию Капри в углу и положил деньги в карман.

Куда девались деньги, которые я зарабатывал в те дни удачи и успехов? Предположительно, я откладывал их на покупку домика мастро Винченцо, но факт остается фактом: откладывать мне было нечего. Неправедно нажитое добро? Может быть. Но в таком случае все парижские врачи должны были бы разориться; мы все находились в одном положении – и профессора и мои коллеги, лечившие тот же круг пациентов. К счастью, у меня были и другие пациенты (их даже было больше), и это спасло меня от того, чтоб стать совсем шарлатаном. В те дни было гораздо меньше врачей-специалистов, чем теперь. Считалось, что я знаю всё – даже хирургию. Мне потребовалось два года, чтобы понять, что в хирурги я не гожусь. Боюсь, мои пациенты поняли это значительно быстрее. Я был невропатологом, но делал всё, что полагается делать врачу, – даже, принимал роды, а бог хранил мать и ребенка. Можно только удивляться, как стойко организм больных переносил лечение. Когда Наполеон орлиным взглядом пробегал список представленных к производству в генералы, он обычно ставил на полях против фамилии пометку: «Он везучий?» И вот мне везло – везло удивительно, почти жутко во всем, что я предпринимал, с каждым больным, которого я лечил. Я не был хорошим врачом – я учился слишком торопливо, моя практика в больнице была слишком короткой, но я, без сомнения, был удачливым врачом. В чем секрет удачи? В умении внушать доверие. Что такое доверие? Исходит ли оно из головы или от сердца? Возникает ли оно в высших слоях нашего сознания или это могучее древо познания добра и зла, корни которого гнездятся в самых глубинах нашего существа? Какими путями передается доверие? Видят ли его глаза, звучит ли оно в речи? Я не знаю. Я знаю только, что этого нельзя приобрести ни из книг, ни у постели больного. Это магический талисман, который одному дается по праву рождения и в котором другому бывает отказано. Врач, обладающий этим даром, может чуть ли не воскрешать мертвых. Врач, им не обладающий, должен быть готов к тому, что по поводу самой простой кори его попросят пригласить кого-нибудь еще для консилиума.

---

[52] **В.Э.:** Акселю Мунте 26 лет исполнилось 31 октября 1883 года.

Я вскоре понял, что получил этот бесценный дар совершенно незаслуженно. Открытие это я сделал как раз вовремя, ибо был уже на пути к тому, чтобы стать самодовольным и самовлюбленным тупицей. Но я увидел, как мало я знаю, и начал всё чаще обращаться за советом и помощью к Матери Природе, мудрой старой целительнице. Я даже мог бы стать со временем неплохим врачом, продолжай я работать в больнице, останься я верным моим беднякам пациентам. Но я утратил свой шанс, превратившись в, модного врача. Если вы когда-нибудь встретитесь с модным врачом, понаблюдайте за ним с безопасного расстояния прежде, чем отдать себя в его руки. Он может оказаться и хорошим врачом, но это бывает редко. Во-первых, он, как правило, слишком занят, чтобы терпеливо выслушать вашу историю. Во-вторых, если он еще не сноб, то неизбежно им станет, и тогда он заставит вас ждать, пока сам будет принимать явившуюся не в свой час графиню, печень графа он обследует с большим вниманием, чем печень графского камердинера, и отправится на прием в английское посольство вместо того, чтобы навестить вашего малыша, коклюш которого ухудшился. В-третьих, его сердце – если только оно не наделено поразительным здоровьем – начнет быстро и преждевременно черстветь, и он станет столь же бесчувственным и равнодушным к чужим страданиям, как и окружающее его жаждущее развлечений общество. Вез сострадания нельзя быть хорошим врачом.

Часто, когда кончался долгий трудовой день, я задавал себе вопрос (ведь меня всегда интересовала психология): почему все эти глупые люди сидят часами в моей приемной? Почему они все слушаются меня и порой им становится лучше от одного прикосновения моей руки? Почему даже в час смерти, когда язык уже не повинуется им и говорят только стекленеющие, полные ужаса глаза, почему на них нисходит умиротворение, едва я кладу им руку на лоб? Почему сумасшедшие в приюте Святой Анны, которые только что с пеной у рта рычали, как дикие звери, становились спокойными и послушными, едва я развязывал смирительную рубашку и брал их руки в свои? Это был мой обычный прием – все служители и многие из моих товарищей его знали. Сам профессор говорил: «Ce garçon-la a la diable au corps!»[53] Я всегда питал тайную симпатию к сумасшедшим и спокойно расхаживал по палате буйных, словно среди друзей. Меня не раз предупреждали, что это плохо кончится, но я, конечно, был умнее всех. И вот в один прекрасный день мой лучший друг ударил меня по затылку молотком, который он каким-то необъяснимым образом раздобыл, после чего меня без сознания унесли в лазарет. Удар был страшный, потому что мой приятель был кузнецом и хорошо знал свое ремесло. Сперва решили, что у меня разбит череп. Как бы не так! Я отделался простым сотрясением мозга. И еще удостоился лестного комплимента от директора клиники: «Ce sacre Suédois a la crane d'un ours, faut voir s'il n'a pas casse le marteau»[54].

«Может быть, дело все-таки в голове, а не в руке», – сказал я себе, когда, после сорокавосьмичасового бездействия моя мыслительная машина вновь заработала. Целую неделю я лежал со льдом на моем «медвежьем черепе», без посетителей и без книг, и у меня было достаточно времени обдумать этот вопрос, и даже молоток кузнеца не смог меня разубедить в том, что дело – в руке.

Почему в зверинце Пезо я мог просунуть руку сквозь прутья в клетку черной пантеры, и большая кошка, если только ее не раздражало приближение какого-нибудь посетителя, ложилась на спину, ласково мурлыкала, забирала мою руку в лапы и приветствовала меня широким зевком?

Почему я мог вскрыть нарыв на лапе Леони и вытащить занозу, из-за которой огромная львица целую неделю ковыляла на трех лапах, испытывая мучительную боль? Местное обезболивание не подействовало, и Леони стонала, как ребенок, пока я выдавливал из лапы гной. Только когда я начал обрабатывать рану йодом, она потеряла терпение, но в ее рычании слышался не гнев, а обида и разочарование: она предпочла бы просто вылизать рану своим шершавым языком. Когда после операции я уходил из зверинца, держа под мышкой павианенка, которого получил от господина Пезо в качестве гонорара, известный укротитель львов сказал мне:

– Господин доктор! Вы избрали не ту профессию. Вам бы дрессировать диких зверей!

А разве в Зоологическом саду Иван, большой белый медведь, не вылезал при виде меня из своей лохани и не подходил к решетке своей тюрьмы, чтобы встать на задние лапы, прижать

---

[53] Этот малый – сущий дьявол в своем деле (франц.).

[54] У этого проклятого шведа медвежий череп, надо посмотреть, не сломался ли молоток (франц.).

черный нос почти к самому моему носу и дружески взять у меня из рук рыбу? Сторож говорил, что так он ведет себя только со мной – наверное, считает меня земляком. И не говорите, что ему нужна была рыба, а не моя рука, – ведь даже тогда, когда у меня ничего не было, он стоял в той же позе, пока я не уходил, внимательно смотрел на меня блестящими черными глазами из-под белых ресниц и обнюхивал мою руку. Мы с ним, конечно, разговаривали по-шведски с полярным акцентом, который я от него перенял. Я уверен, что он понимал каждое мое слово, пока тихим монотонным голосом я рассказывал ему, как мне его жаль и как однажды, еще мальчиком, я видел почти совсем рядом с пароходом двух его родичей – они плыли между льдинами нашего отчего края.

А бедный Жак, знаменитая горилла в Зоологическом саду, в то время единственный представитель своей породы, взятый в плен и увезенный в бессолнечную страну своих врагов? Разве он не клал доверчиво свою жесткую руку в мою, едва я подходил к нему? Разве ему не нравилось, когда я тихонько поглаживал его по спине? В такие минуты он сидел совсем неподвижно, держал меня за руку и ничего не говорил. Иногда он принимался внимательно рассматривать мою ладонь, как будто кое-что смыслил в хиромантии, потом по очереди сгибал мои пальцы, словно изучая работу суставов, а потом отпускал мою руку, столь же тщательно рассматривал свою ладонь и ухмылялся, точно говоря, что не видит никакой разницы, в чем был совершенно прав! Почти всё время он тихо сидел в углу клетки, где посетители не могли его видеть, и теребил соломинку. Он редко пользовался качелями, которые повесили в клетке в глупой надежде на то, что он примет их за ветвь сикомора – место его отдыха в дни свободы. Он спал на низком ложе из бамбуковых стволов, похожем на serir арабов, но вставал он рано, и я впервые увидел его лежащим в постели лишь когда он заболел. Сторож научил его обедать сидя за низеньким столиком и повязавшись салфеткой. Ему даже сделали ножик и вилку из твердого дерева, но он их невзлюбил и предпочитал есть пальцами, как ели наши предки еще лет двести–триста тому назад и как до сих пор ест большинство людей. Но молоко он с явным удовольствием пил из собственной чашки, так же как и утренний кофе с большим количеством сахара. Правда, он сморкался в два пальца, но ведь так же сморкались и Лаура Петрарки, и Мария Стюарт, и Le Roi Soleil.[55]

Бедный Жак! Мы с ним остались друзьями до конца! С рождества он стал прихварывать, его лицо сделалось пепельно-серым, щеки впали, глаза всё глубже и глубже уходили в глазницы. Он стал беспокойным и раздражительным, заметно худел, и вскоре ко всему этому добавился сухой зловещий кашель. Я несколько раз измерял ему температуру, но при этом приходилось соблюдать величайшую осторожность: Жак, как ребенок, пытался разбить градусник, чтобы посмотреть, что там внутри. Однажды, когда он сидел у меня на коленях и держал мои руки в своих, у него начался сильный приступ кашля, вызвавший небольшое легочное кровотечение. Вид крови привел его в ужас, как это бывает с большинством людей. Часто я замечал на войне, что даже самые храбрые солдаты, которые совершенно спокойно смотрели на свои зияющие раны, бледнели при виде двух–трех капель свежей крови. Он всё больше терял аппетит, и лишь с трудом можно было заставить его съесть винную ягоду или банан. Как-то утром, когда я пришел, он лежал, укрывшись с головой одеялом, точно какой-нибудь мой больной в палате Святой Клары, в припадке смертельной тоски. По-видимому, он узнал мои шаги, потому что высунул руку из-под одеяла и взял мою руку. Я не хотел его беспокоить и долго сидел рядом с ним, держа его руку и прислушиваясь к его трудному, неравномерному дыханию и хрипам в его горле. Вдруг сильный кашель сотряс его тело. Он сел и прижал руки к вискам жестом глубокого отчаяния. Выражение его лица изменилось. Он перестал быть зверем и был теперь умирающим человеком. И это превращение в существо, подобное мне, лишило его единственного преимущества, которое бог даровал животным в компенсацию за муки, причиняемые им людьми, – преимущество легкой смерти. Агония Жака была ужасна: он медленно умирал, удушаемый тем же палачом, работу которого я так часто наблюдал в палате Святой Клары. Я узнал эту жестокую неторопливую хватку.

А потом? Что стало с моим бедным другом Жаком? Я знаю, что его исхудалый труп увезли в Институт анатомии и что его скелет с большой черепной коробкой и теперь стоит в музее Дюпюитрен. Но разве это всё?

---

[55] Король-Солнце (франц.) – прозвище французского короля Людовика XIV.

Глава V. Пациенты

Мне очень не хватало моих воскресных обедов в Сен-Жерменском предместье. Недели через две после моего разговора с аббатом графиня с обычной своей импульсивностью вдруг решила, что ей необходимо переменить обстановку и сказала, что поедет с графом в Турен. Это было полной неожиданностью для всех нас, и только аббат как будто об этом кое-что знал; в последнее воскресенье, когда я там обедал, его старые умные глаза поблескивали весело и хитро.

Графиня была так любезна, что еженедельно извещала меня о своем здоровье, а кроме того, мне иногда писал и аббат. Всё идет прекрасно. Граф каждое утро ездит верхом, не спит днем и курит гораздо меньше. Графиня снова занялась музыкой, усердно посещает деревенских бедняков и никогда не жалуется на колит. Аббат сообщил мне и хорошие новости о маркизе, поместье которой находилось не более чем в часе езды от замка. Она чувствует себя прекрасно. Вместо того чтобы сидеть весь день в печальном одиночестве и думать о своей глухоте, она утром и вечером долго гуляет по саду ради Лулу, который совсем растолстел и обленился.

> «Это маленькое чудовище, – *писал аббат*, – сидит у нее на коленях, ворчит и рычит на всех и уже два раза укусил горничную. Все его терпеть не могут, но маркиза обожает своего Лулу и нянчит его весь день напролет. Вчера во время исповеди пса внезапно стошнило прямо на прекрасное платье его хозяйки, и она впала в такое волнение, что пришлось прервать исповедь. Маркиза, кстати, просит спросить у вас, не начинается ли у него колит и не пропишете ли вы ему что-нибудь, так как, по ее мнению, никто не способен так хорошо разобраться в болезни собачки, как вы».

В этом случае маркиза была недалека от истины: я уже приобретал репутацию хорошего собачьего доктора, хотя еще не стал, как впоследствии, знаменитым консультантом по собачьим болезням и непререкаемым авторитетом для всех любителей собак среди моих пациентов.

Мне известно, что мнение о моих способностях как врача человеческого было отнюдь не единодушным, но беру на себя смелость утверждать, что моя репутация надежного собачьего врача никогда и никем не ставилась под сомнение. Я не настолько тщеславен и не буду отрицать, что отчасти это объяснялось отсутствием завистливых конкурентов, в то время как в прочих моих занятиях профессиональная зависть играла значительную роль.

Для того чтобы быть хорошим собачьим врачом, надо любить собак, а кроме того, и понимать их – совершенно как с людьми, но с той только разницей, что понять собаку легче, чем человека, и полюбить ее тоже легче. Не забывайте при этом, что мышление одной собаки совершенно отлично от мышления другой. Так, например, бойкий ум, сверкающий в подвижных глазах фокстерьера, отражает совсем другой мыслительный процесс, чем безмятежная мудрость, которой светятся спокойные глаза сенбернара или старой овчарки. Ум собак вошел в пословицу, но умны они по-разному, и это заметно уже у едва открывших глаза щенят. Среди собак попадаются даже глупые, хотя и намного реже, чем среди людей. В общем, понять собаку и научиться читать ее мысли не так уж трудно. Собака не умеет притворяться, обманывать и лгать, потому что не умеет говорить. Собака – святая. Она прямодушна и честна по своей природе. Если, в редких случаях, отдельная собака и несет печать наследственного греха, восходящего к ее диким предкам, которым в борьбе за существование приходилось полагаться на хитрость, то печать эта легко стирается, едва опыт показывает такой собаке, что мы с ней неизменно честны и справедливы. Если же хорошее обращение ее не исправит, что случается крайне редко, значит, эта собака ненормальна, она нравственный урод, и ее следует безболезненно умертвить. Собака с радостью признает превосходство своего хозяина, он для нее – незыблемый авторитет, но, вопреки мнению многих любителей собак, в ее преданности нет ничего рабского. Ее подчинение добровольно, и она ждет, что ее скромные права будут уважаться. Она видит в своем хозяине царя; почти бога, и понимает, что бог может быть строгим, но знает, что он должен быть справедливым. Она знает, что бог может читать ее мысли и что поэтому бесполезно их скрывать. А может она читать мысли своего бога? Несомненно. Что бы ни утверждало Общество психических исследований, но телепатическая передача мыслей между людьми еще не доказана, тогда как передача мыслей между человеком и собакой получает одно подтверждение за другим. Собака умеет читать мысли своего хозяина, чувствует перемену его настроения, предвидит его решения. Она инстинктивно понимает, когда может помешать, и часами лежит тихо и неподвижно, пока ее царь усердно трудится, как это в обычае у царей, – или, во всяком случае, должно быть в обычае. Но если ее царь грустен или озабочен, она понимает, что настал ее час, и, украдкой подойдя и нему, кладет голову ему на колени: «Не печалься! Пусть они тебя и

покинули, ведь я здесь, с тобой, я заменю тебе всех друзей и буду защищать тебя от всех врагов! Ну, утешься же! Пойдем гулять и забудем обо всем».

Как странно и трогательно ведет себя собака, когда ее хозяин болен. Безошибочный инстинкт научил ее бояться болезни и смерти. Собака, много лет спавшая в ногах постели своего хозяина, покидает привычное место, стоит ему заболеть. И даже те немногие псы, которые не следуют этому общему правилу, уходят от хозяина, когда приближается смерть, и, жалобно визжа, забиваются в угол. Случалось, что я узнавал о приближении смерти именно по поведению собаки больного. Что знает она о смерти? Во всяком случае; не меньше нас, а может быть, и больше. Пока я писал эти строки, мне вспомнилась одна бедная женщина в Анакапри; в деревне она была чужой и медленно умирала от чахотки – так медленно, что это надоело двум–трем кумушкам, которые ее посещали, и они оставили ее на произвол судьбы. Ее единственным другом была дворняжка, которая составляла исключение из вышеупомянутого правила и никогда не покидала своего места в ногах кровати больной. Впрочем, в жалкой лачуге с земляным полом, где жила и умирала бедная женщина, не нашлось бы другого сухого местечка. Однажды, заглянув к ней, я застал у нее дона Сальваторе, единственного из двенадцати священников нашей деревни, который проявлял некоторый интерес к бедным и больным. Дон Сальваторе спросил меня, не пора ли дать ей последнее причастие. Женщина выглядела как обычно, ее пульс не ухудшился, она даже сказала, что последние дни чувствует себя несколько лучше – la miglioria della morte,[56] шепнул дон Сальваторе. Я не раз дивился упорству, с которым эта больная цеплялась за жизнь, и сказал священнику, что она может протянуть еще неделю или две. Поэтому мы решили отложить последнее причастие. Когда мы уже собирались уйти, собака вдруг завыла, спрыгнула с кровати и, повизгивая, забилась в угол. Лицо женщины почти не изменилось, но, к моему удивлению, пульс совсем не прощупывался. Она делала отчаянные усилия что-то сказать, но я ничего не мог понять; тогда, глядя на меня широко раскрытыми глазами, она протянула исхудалую руку и указала на собаку. Я понял, и, мне кажется, она поняла меня, когда я наклонившись к ней, сказал, что позабочусь о собаке. Она радостно кивнула, глаза ее закрылись, и покой смерти разлился по ее лицу. Еще один глубокий вздох, две–три капли крови просочились в уголках рта, и всё было кончено. Непосредственной причиной смерти, по-видимому, было внутреннее кровоизлияние. Но как собака могла узнать это раньше меня?

Когда вечером ее отнесли на кладбище, покойницу провожала только ее собака. На следующий день могильщик старик Пакьяле, в то время уже мой близкий друг, сказал мне, что собака всё еще лежит на могиле. Весь день и всю следующую ночь шел проливной дождь, но наутро собака по-прежнему лежала там. Вечером я послал Пакьяле с поводком, чтобы он привел ее в Сан-Микеле, но собака на него яростно зарычала и не двинулась с места. На третий день я сам отправился на кладбище, и лишь с большим трудом мне удалось заставить ее пойти за мной домой – впрочем, она меня уже хорошо знала. В Сан-Микеле в то время жило восемь собак, и я был несколько озабочен, как они встретят новую гостью. Но всё сошло благополучно, потому что Билли, павиан, по какой-то непонятной причине с первого взгляда проникся благосклонностью к новенькой, и когда она немного пришла в себя, они с Билли стали неразлучными друзьями. Все мои собаки ненавидели силача павиана, самодержавно правившего в саду Сан-Микеле, и боялись его. Поэтому даже Барбаросса, большой пес из Мареммы, скоро перестал рычать на новенькую, и она, благополучно прожив еще два года, была похоронена под плющом, рядом с другими моими собаками.

Собаку можно научить почти всему с помощью ласки, терпения и лакомства – в награду за прилежно выученный урок. Никогда не сердитесь и не пускайте в ход силу. Телесное наказание, которому подвергают умную собаку, это позор для ее хозяина. И к тому же психологическая ошибка. Это мое твердое убеждение. Однако я должен добавить, что непослушного щенка, как и ребенка, еще не достигшего разумного возраста (но не позднее!), порой полезно и отшлепать, если он упрямится и не желает следовать основным правилам хорошего поведения.

Сам я никогда не обучал своих собак каким-либо штукам, хотя знаю, что многие собаки с большим удовольствием проделывают свои трюки. Представления в цирке – дело другого рода и унижение для умной собаки. Впрочем, с дрессированными собаками из-за денег, которые они приносят, обращаются лучше, чем с их необученными товарищами в зверинцах.

Больная собака вытерпит даже болезненную операцию, если ей ласково, но твердо объяснят, что это нужно и почему это нужно. Больную собаку никогда не понуждайте есть – если

[56] Предсмертное улучшение (итал.).

она послушается вас, то вопреки инстинкту, который подсказывает ей, что она должна поголодать, а часто только это и может ее спасти. И не тревожьтесь: собаки, как и младенцы, могут несколько дней обходиться без пищи, нисколько от этого не страдая. Собака способна мужественно переносить боль, но, конечно, ей приятно, если ее жалеют. Тем, кто любит собак, может быть, будет интересно узнать, что, по моим наблюдениям, собаки менее чувствительны к боли, чем обычно считается. Больную собаку лучше всего оставить в покое. Ваше несвоевременное вмешательство может только помешать целительнице-природе. Все животные предпочитают, чтобы их оставили в покое, когда они больны и когда они умирают. Увы! Жизнь собаки коротка, и каждому из нас приходилось оплакивать потерю верного друга. Похоронив его в саду, под деревом, вы искренне поклянетесь никогда больше не заводить собаки, потому что никакая другая собака не заменит умершую, никакая другая собака не сможет стать для вас тем, чем была та. Но вы будете неправы. Мы любим не собаку, а собак. Они, в сущности, все похожи, все готовы любить вас и заслуживать вашу любовь. Все они – образчики самого достойного любви и, с этической точки зрения, самого совершенного создания природы.

Если вы любили своего умершего друга по-настоящему, то не сможете обойтись без замены ему. А потом вам придется расстаться и с этим новым другом, ибо те, кого возлюбили боги, умирают молодыми. Но когда настанет его час, вспомните то, что я скажу теперь. Не отсылайте его в «камеру смерти» и не просите знакомого врача усыпить его, чтобы он не страдал. Эта смерть вовсе не безболезненна – она мучительна. Собаки часто с душераздирающим упорством сопротивляются смертоносному действию ядовитых газов и наркотиков. Получив дозу, которая сразу убила бы взрослого человека, собака нередко живет еще несколько долгих минут, испытывая физические и душевные муки. Мне несколько раз приходилось присутствовать при таких казнях в «камерах смерти», я сам убивал собак с помощью наркотиков и знаю, что это такое. Больше я никогда этого не делаю. Найдите среди своих знакомых человека, который любит собак (это условие обязательно), и пусть он пойдет с вашей старой собакой в парк, даст ей кость, и пока ваша собака ест, выстрелит ей в ухо из револьвера. Эта смерть быстра и безболезненна, жизнь гаснет, как задувается свеча. Многие мои собаки, состарившись, умирали вот так от моей руки. Они все похоронены у башни Материта под кипарисами, и над их могилами стоит античная колонна.

Волею судьбы самые милые из всех животных являются в то же время носителями самой ужасной из всех болезней – бешенства. В Институте Пастера я был свидетелем первых этапов долгого сражения между наукой и этим страшным врагом и стал свидетелем блистательной победы науки. Но куплена она была дорогой ценой. Во имя ее пришлось принести в жертву гекатомбы собак, а может быть, и несколько человеческих жизней.

Сначала я посещал обреченных собак, чтобы хоть немного облегчить их участь, но это было так мучительно, что одно время я перестал бывать в Институте Пастера. Однако я ни на минуту не усомнился, что там вершится благое дело, и иного пути нет. Я был свидетелем нескольких неудач. Я видел, как пациенты умирали и до и после нового лечения. Пастер подвергался свирепым нападкам не только со стороны невежественных и мягкосердечных любителей собак, но и со стороны многих своих коллег. Его обвиняли даже в том, что он своей сывороткой убивал нескольких больных. Несмотря на все неудачи, Пастер бесстрашно шел своим путем, но те, кто видел его тогда, знают, как он страдал от мучений, которым подвергал собак. Ведь он их очень любил. Я не знал другого такого доброго человека. Как-то он сказал мне, что у него не хватило бы духу застрелить птицу. Были приняты все меры, чтобы как-то уменьшить страдания подопытных собак. Даже сторож при клетках на Вильнев де л'Этан – бывший жандарм по фамилии Пернье – был выбран на этот пост самим Пастером потому, что слыл большим любителем собак. В этих клетках содержалось шестьдесят собак, которым были сделаны прививки, а затем их время от времени отправляли в Лицей Роллен для опытов с укусами. Там находилось сорок бешеных собак. Работать с этими обезумевшими, брызжущими ядовитой слюной животными было очень опасно, и я поражался мужеству всех, кто принимал в этой работе участие. Сам Пастер не знал страха. Однажды я видел, как он брал пробу слюны у бешеной собаки – он всасывал смертоносные капли в стеклянную трубочку прямо из пасти бешеного бульдога, которого удерживали на столе два ассистента, чьи руки были защищены толстыми кожаными перчатками. Почти все лабораторные собаки были бездомными бродяжками, которых полицейские ловили на улицах Парижа, однако некоторые из них, несомненно, видели лучшие дни. Здесь они страдали и умирали в безвестности, безымянные солдаты в битве человеческого разума с болезнью и смертью. А неподалеку – в Ля Багатель – на элегантном

собачьем кладбище, основанном сэром Ричардом Уоллесом, покоились сотни болонок и других комнатных собачек, и на мраморных надгробьях любящими руками были начертаны даты их роскошной и бесполезной жизни.

Как-то поздно вечером ко мне на авеню Вилье в страшном волнений прибежал известный норвежский художник-анималист. Его укусила в руку любимая собака, громадный бульдог, хотя и очень свирепый на вид, но чрезвычайно добродушный, и большой мой приятель – его портрет кисти хозяина за год до этого случая был выставлен в Салоне. Мы сразу же поехали в мастерскую на авеню де Терп. Собака была заперта в спальне, и норвежец попросил меня тотчас ее застрелить – у него самого на это не хватало духу. Бульдог то бегал из угла в угол, то, рыча, заползал под кровать. В комнате было так темно, что я решил подождать до утра и спрятал ключ в карман. Продезинфицировав и забинтовав рану, я дал художнику снотворное. На следующее утро я долго следил за поведением собаки и решил пока ее не убивать, так как, вопреки очевидности, не был уверен, что она бешеная. Бешенство в начальной стадии заболевания распознается не очень легко. Даже классический симптом, давший название этой страшной болезни – водобоязнь, далеко не надежен. Бешеная собака вовсе не боится воды; я часто видел, как такие собаки с жадностью пили из миски воду, которую я ставил им в клетку. Этот симптом верен только в отношении заболевших бешенством людей. Множество собак, убитых по подозрению в бешенстве, на самом деле страдали какими-то другими, далеко не такими опасными болезнями. Но убедить в этом укушенного чрезвычайно трудно, даже если вскрытие покажет, что собака бешенством не болела, – а ведь на десяток врачей и ветеринаров едва ли один сумеет сделать такое вскрытие. И страх перед ужасной болезнью остается, а страх бешенства так же опасен, как и сама болезнь. Правильнее всего держать подозреваемую собаку под замком, кормить и поить ее. Если через десять дней она будет жива, то, значит, она не бешеная, и можно ничего не опасаться.

На следующее утро, когда я, приоткрыв дверь, посмотрел на бульдога, он завилял обрубком хвоста, а выражение его налитых кровью глаз было дружелюбным. Однако, едва я протянул руку, чтобы его погладить, он зарычал и спрятался под кровать. Я не знал, что и думать. Однако художнику я сказал, что это вряд ли бешенство, но он ничего не желал слушать и вновь потребовал, чтобы я немедленно застрелил бульдога. Я отказался наотрез и объяснил, что следует подождать еще день.

Художник всю ночь расхаживал по своей мастерской, а на столе лежал медицинский справочник, где перечисление симптомов бешенства у людей и собак было отчеркнуто карандашом. Я бросил справочник в топящийся камин. Сосед художника, русский скульптор, которого я попросил не оставлять его одного ни на минуту, вечером рассказал мне, что художник отказывался пить и есть, постоянно вытирал с губ слюну и говорил только о бешенстве.

Я дал ему чашку кофе. Он посмотрел на меня с отчаянием и сказал, что не может глотать. К своему ужасу, я увидел, что его челюсти конвульсивно сжимаются, по его телу прошла дрожь, и с безнадежным криком он опустился в кресло. Я вспрыснул ему большую дозу морфия и заверил его, что собака здорова и я готов войти к ней (вряд ли, однако, у меня хватило бы на это мужества!). Морфий начал действовать, и я ушел, оставив художника дремать в кресле. Поздно вечером, когда я вернулся, русский скульптор сообщил мне, что весь дом в волнении, что домовладелец прислал швейцара с требованием немедленно убить собаку, и он только что застрелил ее через окно. Собака подползла к двери, где он ее прикончил второй пулей. Она лежит там в луже крови. Норвежец сидел в кресле и смотрел в одну точку, не говоря ни слова. Что-то в его взгляде вселило в меня беспокойство, и, взяв со стола револьвер, в котором оставался еще один патрон, я спрятал его в карман. Затем зажег свечу и попросил скульптора помочь мне перенести убитую собаку в экипаж. Я намеревался отвезти ее в институт Пастера для вскрытия. У двери я увидел большую лужу крови, но собаки не было.

– Закройте дверь! – вдруг крикнул позади меня русский, и бульдог со страшным рычанием бросился на меня из-под кровати. Из его разинутой пасти сочилась кровь. Уронив свечу, я выстрелил наугад в темноту, и собака упала мертвой у самых моих ног. Мы перенесли ее в экипаж, и я поехал в Институт Пастера. Доктор Ру, ближайший помощник Пастера, а впоследствии его преемник, увидев, что случай очень скверный, обещал немедленно произвести исследование и тотчас же известить меня о результатах. Когда я на следующее утро приехал на авеню де Терн, я встретил скульптора у дверей мастерской. Всю ночь он провел со своим приятелем, который, не смыкая глаз, ходил по комнате в большом волнении и лишь час назад

заснул. Скульптор воспользовался этим, чтобы сбегать в свою мастерскую умыться. Но когда он, за минуту до меня, подошел к двери, оказалось, что она заперта изнутри.

– Слышите? – сказал он, словно извиняясь за то, что ослушался моего приказа ни на минуту не оставлять своего приятеля одного. – Ничего не случилось, он еще спит. Слышите, как он храпит?

– Помогите мне выломать дверь, – крикнул я, – это не храп, это чейн-стоковское дыхание!

Дверь подалась, и мы ворвались в мастерскую. Художник лежал на кушетке и хрипел, а в его руке был всё еще зажат револьвер. Он выстрелил себе в глаз. Мы отнесли его в мой экипаж, и я со всей поспешностью отвез его в больницу Божон, где его немедленно оперировал профессор Лаббе. Револьвер, из которого он стрелялся, был меньшего калибра, чем тот, который я у него отобрал, и пулю извлекли. Когда я уходил, он был еще без сознания. В тот же вечер я получил от доктора Ру письмо, в котором он сообщал, что вскрытие дало отрицательный результат – собака не была бешеной. Я тотчас же поехал в больницу Божон. Художник бредил. Prognosis pessima[57], – сказал знаменитый хирург. На третий день началось воспаление мозга. Но он не умер, – через месяц он выписался из больницы слепым. Когда я в последний раз получил известие о нем, он находился в одном из сумасшедших домов Норвегии.

Моя роль в этой печальной истории не делает мне особой чести. Я принял все меры, какие мог, но их оказалось недостаточно. Случись всё это на два–три года позднее, художник не стал бы стреляться. Я знал бы, как справиться с его страхом, из нас двоих я был бы сильнейшим – как не раз бывал впоследствии, когда останавливал руку, хватавшуюся за револьвер из страха перед жизнью.

Когда же противники вивисекции поймут, что их требование безоговорочного запрещения опытов над животными невыполнимо? Пастеровская прививка против бешенства свела опасность смерти от этой ужасной болезни, до минимума, а противодифтеритная сыворотка Беринга ежегодно спасает жизнь сотням тысяч детей.

Разве одного этого недостаточно, чтобы доказать близоруким покровителям животных, что открыватели новых миров, вроде Пастера, или целительных средств против прежде неизлечимых болезней, вроде Коха, Эрлиха и Беринга, должны иметь возможность беспрепятственно заниматься своими исследованиями? К тому же подобных людей очень немного, а для других, без сомнения, должны быть введены самые строгие ограничения, если не полный запрет.

И почему бы покровителям животных не сосредоточить свои усилия на борьбе против показа зверей в цирках и зверинцах? Пока наши законы терпят этот позор, будущие поколения вряд ли будут считать нас цивилизованными людьми. Достаточно войти в бродячий зверинец, чтобы понять, какие мы варвары. Дикий зверь там не тот, кто сидит в клетке, а тот, кто стоит перед ней.

Кстати, мне хотелось бы со всей скромностью сказать здесь, что, льщу себя этой мыслью, в свое время я был и хорошим обезьяньим доктором. Это чрезвычайно трудная специальность: обезьяньего врача подстерегают всяческие неожиданные осложнения и ловушки, а от него требуется большая быстрота суждения и хорошее знание человеческой природы. Мнение, будто главная трудность, как и при лечении маленьких детей, заключается в том, что пациент не умеет говорить, – полная чепуха. Обезьяны говорят, когда хотят, говорят прекрасно. Нет, главная трудность в том, что они слишком умны для нашего медлительного мозга. Пациента-человека можно обмануть, – к сожалению, обман неотъемлем от нашей профессии, так как правда бывает часто слишком печальной и ее нельзя сказать больному.

Можно обмануть собаку, которая слепо вам верит, но обезьяну обмануть нельзя, так как она видит вас насквозь. Зато обезьяна может провести вас, когда захочет, – и нередко предается этому занятию просто потехи ради.

Мой приятель Жюль, старый павиан в парижском Зоологическом саду, кладет руки на живот с чрезвычайно страдальческой гримасой и показывает язык (обезьяну гораздо легче заставить показать язык, чем маленького ребенка), говоря, что у него нет никакого аппетита и мое яблоко он съел только из любезности. Но прежде чем я успеваю открыть рот, чтобы выразить сочувствие, он уже схватил мой последний банан, съел его и швырнул кожуру мне в голову из-под самого потолка клетки.

---

[57] Прогноз наихудший (лат.).

– Взгляните-ка на это красное пятно у меня на спине, – говорит Эдуард. – Сначала я думал, что это простой укус блохи, но теперь меня жжет, как огнем. Я больше не могу терпеть! Избавьте меня от этой боли! Нет, не здесь, немного повыше; подойдите ближе, я ведь знаю, что вы слегка близоруки. Дайте, я покажу вам место!

И вот он уже качается на трапеции и с хитрой усмешкой смотрит на меня сквозь мои очки, а в следующий миг разбивает их на куски – сувениры для своих восхищенных товарищей. Обезьяны любят над нами смеяться, но малейшее подозрение, что мы смеемся над ними, приводит их в гнев. Никогда не смейтесь над обезьяной, она этого не выносит. Нервная система обезьян чрезвычайно чувствительна. Внезапный испуг может вызвать у них настоящую истерику, у них бывают нервные судороги, и я даже лечил обезьяну, страдавшую эпилепсией. Неожиданный шум заставляет обезьян бледнеть. Они легко краснеют, но не от смущения – застенчивыми их никак не назовешь, – а от ярости. Однако если вы хотите наблюдать это явление, то глядите не только на лицо обезьяны – порой у них краснеет другое, не совсем привычное нам место. Почему их творец избрал именно это место для такой великолепной игры красок – розовой, синей, оранжевой, – остается загадкой для наших непосвященных глаз. Многие люди в изумлении при первом же взгляде объявляют это уродством. Но не следует забывать, что понятие красоты было очень разным в разных странах и разные эпохи. Греки, как будто бы признанные арбитры красоты, красили волосы своей Афродиты в голубой цвет. А как бы вам понравились голубые волосы? Среди обезьян это радужное место, по-видимому, является атрибутом неотразимой красоты, и его счастливый обладатель охотно оборачивается к зрителю спиной, чтобы похвастать им. Обезьяны – очень хорошие матери, но к их детенышам ни в коем случае не следует подходить, так как, подобно арабским женщинам и даже неаполитанкам, обезьяны верят в дурной глаз. Сильный пол имеет некоторую склонность к флирту. В больших обезьянниках постоянно разыгрываются drames passionnels,[58] и крохотный уистити, превращаясь в разъяренного Отелло, вызывает на бой большого павиана. Дамы следят за этими турнирами, бросают исподтишка нежные взгляды на своих рыцарей и яростно дерутся между собой.

В неволе обезьянам, если они находятся в обществе себе подобных, живется в целом терпимо. Они так поглощены тем, что происходит внутри и вне клетки, так заняты интригами и сплетнями, что им некогда тосковать. Жизнь в неволе человекоподобной обезьяны – гориллы, шимпанзе или орангутанга – это настоящее мученичество. Они впадают в глубочайшую меланхолию, пока их не убивает туберкулез. Как известно, в неволе большинство обезьян, и больших и маленьких, гибнет от чахотки. Симптомы, течение и конец болезни у них совершенно сходны с нашими. Вызывает туберкулез не холодный воздух, а его недостаток. Большинство обезьян переносят холод поразительно хорошо, если у них есть место, где можно резвиться, и уютное гнездо для спанья, которое они делили бы с кроликом, согревающим их своим телом. С приходом осени вечно бдительная Мать Природа, которая заботится об обезьянах так же, как о нас, одевает их дрожащие тела более густым мехом, подходящим для северной зимы. То же происходит почти со всеми тропическими зверями, живущими в неволе в северном климате, – и все они жили бы гораздо дольше, если бы их держали не в помещении, а на открытом воздухе. Но в большинстве зоологических садов этого, по-видимому, не знают. Может быть, так и лучше. Следует ли удлинять жизнь несчастных животных? Я считаю, что – нет. Смерть менее жестока, чем мы.

Глава VI. Шато-Рамо

Летом Париж – очень приятное место для тех, кто веселится, но не для тех, кто работает. И особенно если вам приходится бороться с эпидемией тифа среди скандинавских рабочих в Вильет и с эпидемией дифтерита в квартале Монпарнас, где живут ваши друзья-итальянцы со своими бесчисленными детьми. Впрочем, в Вильет не было недостатка в маленьких скандинавах, а немногие бездетные семьи почему-то решили обзавестись потомством именно в это время и часто даже повитуху заменял я. Большинство маленьких детей, которым тиф не грозил, заболевало скарлатиной, а остальные – коклюшем. Разумеется, платить французским врачам, им было нечем, и лечить их, по мере моих сил, пришлось мне. Это было не так-то просто, когда только в Вильет в тифу лежало тридцать скандинавских рабочих. И все-таки я умудрялся каждое

[58] Любовные драмы (франц.).

воскресенье посещать шведскую церковь на бульваре Орнано ради моего друга шведского пастора, который говорил, что это подает благой пример другим. Число его прихожан сократилось наполовину – эта половина либо болела, либо выхаживала какого-нибудь больного. Сам пастор с утра до вечера навещал больных и бедняков и помогал им, чем мог – я не встречал человека добрее, а ведь он сам был почти нищим. И он получил свою награду, занеся инфекцию в собственный дом: из его восьми детей двое старших заболели тифом, пять скарлатиной, а новорожденный проглотил двухфранковую монету и едва не умер от непроходимости кишечника. В довершение всего шведский консул, миролюбивый и тихий человек, внезапно впал в буйное помешательство и чуть было меня не убил. Но об этом я расскажу в другой раз.

В квартале Монпарнас дело обстояло гораздо серьезнее, хотя работать там мне в некоторых отношениях было легче. Должен, к своему стыду, признаться, что с этими бедными итальянцами я ладил гораздо лучше, чем с моими земляками, которые нередко бывали упрямы, угрюмы, всем недовольны, а к тому же требовательны и думали только о себе. Итальянцы же, которые не привезли в чужие края ничего, кроме своих жалких грошей, своего неиссякаемого терпения, веселости и приветливости, были, наоборот, всегда довольны и благодарны и трогательно помогали друг другу. Когда в семью Сальваторе пришел дифтерит, Арканджело Фуско, подметальщик улиц, немедленно бросил работу и превратился в преданную сиделку. Заболели все три девочки, старшая умерла, и в тот же день слегла измученная мать. Только Петруччо, беспомощный идиот, дитя горя, по непостижимой воле божьей остался здоровым. Дифтерит свирепствовал по всему тупику Руссель, где в каждой семье было по нескольку детей. Обе детские больницы были переполнены. Но даже если бы там оказались свободные койки, они были не для детей этих бедных иностранцев. И вот о них заботились Арканджело Фуско и я, а те, на которых у нас не хватало времени (а таких было много!), могли жить или умирать по своему усмотрению.

Врач, которому довелось в одиночку бороться со вспышкой дифтерита среди бедняков, без дезинфицирующих средств для себя и других, не может без ужаса вспоминать об этом испытании, каким бы закаленным он ни был! Я часами смазывал и выскребывал горло одному ребенку за другим, потому что в те дни другого лечения не было. А потом наступала минута, когда уже не удавалось снимать смертоносные пленки, закупоривающие дыхательное горло, когда ребенок синел от удушья и должен был вот-вот умереть, и спасти его могла только немедленная трахеотомия. Неужели я должен немедленно оперировать, даже не на столе, а на этой низкой кровати или на коленях матери, при свете жалкой керосиновой лампы, и не имея другого ассистента, кроме подметальщика улиц? Нельзя ли отложить до утра и попытаться позвать лучшего хирурга, чем я? Имею я право отложить? Хватит у меня духу отложить? Увы, я откладывал до утра, а тогда бывало уже поздно, и ребенок умирал у меня на глазах. Но я и оперировал немедленно, без сомнения, спасая жизнь ребенка, и я оперировал немедленно и видел, как ребенок умирал у меня под ножом. В одном отношении мне было даже тяжелее, чем многим другим врачам, попадавшим в такое же отчаянное положение: я сам смертельно боялся дифтерита и не мог преодолеть этот страх. Но Арканджело Фуско не боялся. Он понимал опасности не хуже меня и сам видел, как заразна эта болезнь, но он не думал о себе, он думал только о других. Когда всё осталось позади, я снискал много похвал – даже от благотворительных учреждений, но никто не сказал ни слова Арканджело Фуско, который продал свой праздничный костюм, чтобы заплатить гробовщику, забравшему труп маленькой девочки.

Да! Наступило время, когда всё осталось позади, когда Арканджело Фуско вернулся к своей метле, а я – к своим светским пациентам. Пока я проводил дни в кварталах Вильет и Монпарнас, парижане укладывали чемоданы, чтобы ехать в свои замки или на свои излюбленные приморские курорты. Бульвары заполнили развлекающиеся иностранцы, которые стекались в Париж со всех концов цивилизованного и нецивилизованного мира, чтобы потратить здесь свои лишние деньги. Они сидели в моей приемной, нетерпеливо читали путеводители по Парижу, требовали, чтобы их приняли как можно скорее, и чаще всего просили чего-нибудь «тонизирующего» – у человека, который нуждался в этом гораздо больше, чем они. Дамы в великолепных пеньюарах, последнем творении Ворта, уютно расположившись в шезлонге, посылали за мной из своего роскошного отеля в самые неудобные часы дня и ночи для того, чтобы я «поставил их на ноги» для завтрашнего маскарада в Опере. Второй раз они за мной уже не посылали, и я этому не удивлялся.

«Какая напрасная трата времени!» – думал я по дороге домой, устало шагая по раскаленному асфальту бульваров под запыленными каштанами, поникшая листва которых томилась по свежему порыву ветра.

– Я знаю, что с ними такое, и с вами, и со мной, – сказал я каштанам. Нам необходимо вырваться из атмосферы большого города. Но как мы выберемся из этого ада, если ваши ноющие корни замурованы в асфальте и железные кольца надеты на ваши ноги, а меня ждут в приемной все эти богатые американцы и столько еще других больных у себя дома в постелях? И если я уеду, кто будет приглядывать за обезьянами в Зоологическом саду? Кто ободрит изнемогающего от жары белого медведя теперь, когда наступает самое трудное для него время? Ведь он не поймет ни одного ласкового слова, которое ему, может быть, скажут другие добрые люди, – он же понимает только по-шведски! А что будет в квартале Монпарнас? – Я задрожал и увидел синеватое детское личико в тусклом свете керосиновой лампы, я увидел кровь, сочащуюся из детского горла там, где я сделал разрез, и услышал испуганный крик матери. Что сказала бы графиня? Графиня? Нет, со мной что-то действительно неладно! Давно пора мне заняться собственными нервами, вместо того чтобы заниматься чужими, если я начинаю видеть подобные вещи на бульваре Малерб. И какое, черт возьми, мне дело до графини? Судя по последнему письму аббата, ей прекрасно живется в ее туренском замке, как мне – в Париже, прекраснейшем из городов мира. Мне просто нужно выспаться – и только. А все-таки, что сказал бы граф, если бы я сегодня написал, что с благодарностью принимаю его любезное приглашение и завтра выезжаю! Ах, только бы мне уснуть сегодня! Почему бы мне самому не принять то превосходное снотворное, которое я составил для моих пациентов, сильное средство, которое принудило бы меня забыть на двадцать четыре часа Монпарнас, замок в Турене, графиню и всё прочее. Я бросился на кровать не раздеваясь – так я устал. Но снотворного не принял – les cuisiniers n'ont pas faim,[59] как говорят в Париже. А утром в приемной я увидел на столе письмо от аббата с припиской графа: «Вы говорили, что больше всего любите песни жаворонков. Они еще поют, но скоро перестанут, поэтому приезжайте скорее!»

Жаворонки! А я два года не слышал никаких птиц, кроме воробьев в Тюильрийском саду.

*

Лошади, которые везли меня со станции, были прекрасны, замок времен Ришелье, окруженный обширным парком столетних лип, был прекрасен, мебель в стиле Людовика XVI в моей роскошной комнате была прекрасна, сенбернар, который проводил меня на верхний этаж, был прекрасен, – всё было прекрасно, как и графиня в простом белом платье с единственной розой у пояса. Мне показалось, что ее глаза стали еще больше. Граф стал совсем другим человеком: его щеки порозовели, в прежде сонных глазах блестело оживление. Он принял меня с такой чарующей любезностью, что моя застенчивость сразу рассеялась. Я ведь оставался простым варваром из Ultima Thule,[60] и подобная роскошь была мне незнакома. Аббат встретил меня как старого друга. Граф сказал, что до чая есть еще время погулять по саду, но, может быть, я предпочту заглянуть в конюшню? Мне вручили корзинку с морковью, чтобы угостить каждую из двенадцати чудесных лошадей, которые, вычищенные до блеска, стояли в стойлах из полированного дуба.

– Вот этому дайте лишнюю морковку, чтобы вы сразу стали друзьями, – сказал граф. – Он ваш, пока вы гостите здесь. А это ваш грум, – добавил он, указывая на юношу-англичанина, который почтительно поднес руку к фуражке.

Да, графиня чувствует себя прекрасно, сказал граф, когда мы возвращались через сад. Она почти не говорит о колите, каждое утро посещает деревенских бедняков и обсуждает с сельским врачом, как превратить старый фермерский дом в детскую больницу. В день ее рождения всех бедных детей деревни угощали в замке кофе с пирожными, и на прощанье графиня каждому подарила куклу. Не правда ли, она это чудесно придумала? Если она будет вам рассказывать о куклах, пожалуйста, скажите ей что-нибудь приятное.

– Разумеется, я буду очень рад.

Чай был сервирован под большой липой перед домом.

– Вот ваш друг, дорогая Анна, – сказала графиня, сидевшей рядом с ней даме, когда мы подходили к столу. – К сожалению, он предпочитает общество лошадей нашему. Он еще не выбрал минуты сказать мне хоть слово, но с лошадьми на конюшне он проболтал целый час.

---

[59] Повара не бывают голодны (франц.).

[60] С края света (лат.).

– И лошади, по-видимому, были в восторге, – засмеялся граф. – Даже мой старый гунтер, который, как вы знаете, не выносит чужих, потянулся мордой к самому лицу доктора и дружески зафыркал.

Баронесса Анна сказала, что рада меня видеть и что ее свекровь, вдовствующая маркиза, чувствует себя как нельзя лучше.

– Ей даже кажется, что ее глухота проходит, но я в этом не уверена, так как она не слышит храпа Лулу и сердится, когда мой муж утверждает, что слышит этот храп даже внизу в курительной. Во всяком случае, ее любимый Лулу – наш спаситель. Раньше она не выносила одиночества, а разговаривать с ней через слуховую трубку было чрезвычайно утомительно. Теперь она часами сидит одна с Лулу на коленях, а если бы вы видели, как она семенит с ним по парку каждое утро, вы не поверили бы своим глазам! Давно ли она не вставала со своего кресла! Я помню, как вы посоветовали ей понемножку гулять каждый день и какое сердитое было у вас лицо, когда она ответила, что у нее нет на это сил. Удивительная перемена! Вы, конечно, скажете, что причина тут отвратительное лекарство, которое вы ей приписали, но я говорю, что это заслуга Лулу, да будет он благословен и пусть храпит сколько ему угодно!

– Посмотрите на Лео, – сказал граф, чтобы переменить тему, – он положил голову доктору на колени, как будто знает его спокон века. Он даже не просит печенья.

– Что с тобой, Лео? – спросила графиня. – Берегись, дружок, не то доктор тебя загипнотизирует. Он работал с Шарко в Сальпетриер и одним взглядом может заставить любого сделать то, что он захочет. Почему бы вам не заставить Лео поговорить с вами по-шведски?

– Ни за что. Ни один язык так не мил моему слуху, как его молчание. Я не гипнотизер, я только очень люблю животных, а они это сразу чувствуют и платят мне тем же.

– Наверное, вы просто решили зачаровать белку, которая сидит на ветке над вашей головой. Вы всё время на нее смотрите, не обращая на нас никакого внимания. Заставьте ее слезть с дерева и сесть к вам на колени рядом с Лео.

– Если вы дадите мне орех и уйдете, я думаю, я сумею заставить ее спуститься и взять орех из моих рук.

– Вы очень любезны, господин швед, – воскликнула, смеясь, графиня. Пойдемте, милая Анна, он хочет, чтобы мы все ушли и оставили его наедине с белкой.

– Не смейтесь надо мной! Я вовсе не хочу, чтобы вы уходили. Я так рад вас снова видеть!

– Вы очень галантны, господин доктор. Это первый комплимент, который я от вас слышу. А я люблю комплименты.

– Здесь я не врач, а ваш гость.

– А разве врач не имеет право говорить комплименты?

– Нет, как бы ему ни хотелось этого. Нет, если пациентка похожа на вас, а он сам несколько моложе вашего отца.

– Ну, я могу сказать только, что вы ни на йоту не поддались искушению, если оно у вас и было. И обходились со мной свирепо. При первой встрече вы были так грубы, что я чуть не убежала, помните? Анна, знаете, что он сказал мне? Он строго посмотрел на меня и сказал с самым невероятным шведским акцентом: «Госпожа графиня, вы больше нуждаетесь в дисциплине, чем в лекарствах». Дисциплина! Разве так должен разговаривать шведский врач с молодой дамой, которая в первый раз обратилась к нему за советом!

– Я не шведский врач. Я получил диплом в Париже.

– Я обращалась ко многим парижским врачам, и ни один из них не осмеливался говорить со мной о дисциплине.

– Вот потому-то вы и обращались ко многим докторам.

– Но почему же вы не попробуете быть немного любезнее? – со смехом сказала графиня, которой страшно нравился этот шутливый разговор.

– Я попробую.

– Расскажите нам что-нибудь, – попросила баронесса, когда после обеда мы перешли в гостиную. – Вы, врачи, видите столько необычных людей и оказываетесь свидетелями стольких удивительных обстоятельств. Вы знаете жизнь лучше, чем кто-либо еще. И вы, доктор, наверное могли бы рассказать нам очень много, если бы только за хотели.

– Может быть, вы и правы, но нам не полагается рассказывать о наших пациентах, а что до жизни, то, боюсь, я слишком молод, чтобы знать о ней много.

– Но скажите, по крайней мере, то, что знаете, – настаивала баронесса.

– Я знаю, что жизнь прекрасна, но знаю также, что мы часто портим ее и превращаем в фарс или в душераздирающую трагедию, или и в то и в другое вместе, так что в конце концов неизвестно, что надо делать – плакать или смеяться. Плакать легче, но смеяться много лучше – только не очень громко!

– Расскажите нам что-нибудь о зверях, – попросила графиня, чтобы помочь мне. – Говорят, на вашей родине много медведей, так расскажите о них.

– Далеко на севере в старом помещичьем доме на опушке леса жила некая дама. У нее был ручной медведь, которого она очень любила. Его нашли в лесу полумертвым от голода, когда он был еще медвежонком, таким маленьким и беспомощным, что помещица и ее старая кухарка кормили его из бутылочки. С тех пор прошло несколько лет, и медведь стал таким большим и сильным, что мог бы, если бы захотел, одним ударом убить корову и унести ее, ухватив двумя лапами. Но такого желания у него никогда не появлялось: это был очень милый медведь, которому и в голову не приходило причинить кому-либо вред – человеку или животному. Обычно он сидел перед своей будкой и приветливо поглядывал маленькими умными глазками на пасущийся вблизи скот. Три лохматые горные лошадки хорошо знали его и ничуть не пугались, когда он заходил в конюшню вместе с хозяйкой. Дети катались верхом на его спине и не раз засыпали в будке между его лапами. Три лайки очень любили играть с ним: они дергали его за уши или за короткий хвост и всячески его изводили, но он совсем не обижался. Он никогда в жизни не пробовал мяса и ел ту же пищу, что и собаки, – часто даже из одной миски: хлеб, овсянку, картофель и репу. У него был прекрасный аппетит, но его приятельница, кухарка, следила, чтобы он всегда был сыт. Медведи предпочитают вегетарианскую диету и больше всего любят фрукты. Осенью он сидел в саду и с вожделением смотрел на зреющие яблоки. В юные годы он иногда не мог противостоять искушению и залезал на дерево, чтобы полакомиться яблоками. Медведи кажутся неуклюжими и медлительными, но на яблоне медведь не уступит в ловкости ни одному мальчишке. Мало-помалу он понял, что это запрещено, однако его маленькие глазки не пропускали ни одного паданца. Были кое-какие неприятности и с ульями. В наказание он два дня просидел на цепи с распухшим носом и больше никогда на них не покушался. Вообще же на цепь его сажали только ночью, – и правильно, так как медведи, подобно собакам, озлобляются, если их долго держать на цепи, да и не удивительно. Кроме того, его сажали на цепь, когда его хозяйка уходила в гости к замужней сестре, которая жила по другую сторону горного озера, на расстоянии доброго часа ходьбы лесом. Помещица опасалась, что прогулка по полному соблазнов лесу может оказать на него дурное влияние, и предпочитала не рисковать. А мореплавателем он был плохим, и однажды так испугался внезапного порыва ветра, что перевернул лодку, и пришлось им с хозяйкой добираться до берега вплавь. Теперь он прекрасно понимал, почему по воскресеньям хозяйка сажает его на цепь, ласково похлопывает по голове и обещает угостить яблоком, если он будет хорошо себя вести во время ее отсутствия. Он грустил, но не обижался – как хорошая собака, если ее не берут на прогулку. Однажды, когда помещица посадила его, по обыкновению, на цепь и прошла уже половину лесной дороги, ей показалось, что позади нее на извилистой тропинке треснули ветки. Она обернулась и возмутилась, увидев, что медведь стремительно догоняет ее. Это только кажется, что медведь бегает медленно: на самом деле он может обогнать лошадь, идущую быстрой рысью. В одну минуту он догнал ее, пыхтя и отдуваясь, и, по своему обыкновению, потел чуть сзади, на собачий манер. Дама рассердилась. Она и так уже опаздывала к завтраку, и ей некогда было отводить его домой, но и брать его с собой она не хотела, тем более что он не послушался и самовольно сбросил с себя цепь. Строгим тоном она приказала ему возвращаться домой и погрозила зонтиком. Он остановился на миг, посмотрел на нее хитрыми глазками, но не повернул назад, а стал обнюхивать ее ноги. Тут она заметила, что оп потерял свой новый ошейник, рассердилась еще больше и ударила его зонтиком по носу так сильно, что зонтик сломался. Медведь снова остановился, покачал головой и несколько раз раскрыл свою большую пасть, как бы желая что-то сказать. Затем он повернулся и затрусил по той же дороге обратно, но, прежде чем скрыться из виду, он несколько раз останавливался и смотрел на помещицу. Вечером, когда она вернулась домой, медведь с грустным видом сидел на своем обычном месте перед будкой. Она была еще очень рассержена, подошла к нему и стала его бранить: он не получит ни яблока, ни ужина и, кроме того, два дня будет сидеть на цепи. Старая кухарка, которая любила медведя, как сына, выскочила из кухни вне себя от гнева.

– За что вы его ругаете, барыня? – воскликнула кухарка. – Он ведь не шалил и не проказничал, умница моя! Сидел тут весь день, кроткий как ангел, только глядел на ворота да поджидал вас.

Это был другой медведь!

Часы на башне пробили одиннадцать.

– Пора спать, – сказал граф. – Я приказал оседлать нам лошадей к семи часам.

– Желаю вам хорошего сна и прекрасных грез! – сказала графиня, когда я пошел к себе в комнату.

Я спал мало, но грезил много.

В шесть часов утра Лео поцарапался в мою дверь, а ровно в семь мы с графом уже ехали по чудесной липовой аллее и вскоре очутились в настоящем лесу. Там и сям среди вязов и дубов вздымался могучий дуб, лесную тишину нарушали лишь ритмичный стук дятла, воркование горлинки да низкий альт дрозда, выводящего последние трели своей баллады. Затем лес остался позади, и мы выехали на залитые солнечным светом луга и поля. И тут я услышал своего любимого жаворонка – он парил на невидимых крыльях в синеве, изливая небу и земле радость, переполнявшую его сердечко. Я смотрел на маленькую птичку и снова благословлял ее, как когда-то на холодном севере, когда я, маленький мальчик, с благодарностью смотрел на серого вестника лета, зная, что зима наконец прошла.

– Это его последний концерт, – сказал граф. – Скоро он начнет кормить птенцов и ему будет уже не до песен. А вы правы! Это самый великий артист из всех – он поет сердцем.

– Подумать только, что есть люди, способные убивать этих маленьких безобидных певцов. Стоит пойти на парижский рынок, и вы увидите, как их сотнями продают тем, кто способен их есть. Их голоса наполняют радостью небесный свод, но их бедные мертвые тельца так малы, что могут поместиться в ручке ребенка, и все же мы жадно пожираем их, как будто нет никакой другой еды!

– Вы идеалист, дорогой доктор.[61] Но, может быть, вы правы, – сказал граф и еще раз взглянул на небо, когда мы поворачивали лошадей, чтобы ехать обратно в замок.

За завтраком слуга подал графине телеграмму, она протянула ее графу, который ее прочел, не сказав ни слова.

– Вы, кажется, знакомы с моим кузеном Морисом, – сказала графиня. – Он будет сегодня обедать у нас, если не опоздает на четырехчасовой поезд. Он со своим полком в Туре.

Да, виконт Морис обедал с нами, этого удовольствия мне избежать не удалось. Он был высок и хорошо сложен; узкий срезанный лоб, огромные уши, тяжелый подбородок и усы а-ля генерал Галифе – вот что больше всего бросалось в глаза при взгляде на его лицо.

– Какое неожиданное удовольствие встретить вас здесь, господин швед, я никак не ждал! – На этот раз он снизошел протянуть мне руку, маленькую, дряблую руку, пожатие которой было на редкость неприятно и сразу помогло мне его классифицировать. Оставалось только услышать его смех, и он не замедлил дать мне эту возможность. Его громкое однотонное хихиканье раздавалось во время всего обеда. Он немедленно принялся рассказывать графине не слишком пристойную историю о несчастье, постигшем одного из его товарищей, который нашел свою любовницу в кровати денщика. Аббат совсем смутился, но тут граф резко вмешался в разговор и начал через стол рассказывать жене о нашей утренней прогулке: пшеница взошла превосходно, клевер очень густ, и мы слышали концерт запоздавшего жаворонка.

– Глупости, – сказал виконт. – Они еще поют. Не далее как вчера я застрелил одного – великолепный выстрел, ведь эта маленькая бестия казалась не больше бабочки!

Я покраснел до корней волос, но аббат вовремя остановил меня, положив мне руку на колено.

– Как это жестоко, Морис, застрелить жаворонка! – сказала графиня.

– А почему? Их тут очень много, а лучшей мишени, чтобы практиковаться в стрельбе, не найти. Кроме, конечно, ласточек. Вы знаете, милая Жюльетта, что я – лучший стрелок в полку. Но если я не буду упражняться, то утрачу меткость. К счастью, возле наших казарм всегда летает масса ласточек, сотни их вьют гнезда под крышами конюшен, а сейчас они кормят птенцов и постоянно мелькают перед моим окном. Это очень приятно – я каждое утро могу тренироваться, не выходя из спальни. Вчера я держал пари с Гастоном на тысячу франков, что убью шесть из десяти, – и убил восемь. Я всегда говорю, что стрельбу по ласточкам следует

---

[61] **В.Э.:** Большой пропуск по сравнению с латышским изданием.

сделать обязательной в армии. – Он прервал речь и, старательно отсчитывая капли, влил в рюмку с вином какое-то лекарство. – Не будьте глупенькой, милая Жюльетта, – поезжайте завтра со мной в Париж. Вам нужно развлечься после такого долгого одиночества в этой глуши. Предстоит интереснейшее зрелище – состязание лучших стрелков Франции, и вы увидите, как президент республики вручит вашему кузену золотую медаль, не будь мое имя Морис. А потом мы мило пообедаем в «Кафе Англе», а затем я повезу вас в Пале-Рояль; там дают «Брачную ночь» – очаровательный спектакль, чрезвычайно смешной. Я видел его четыре раза, но буду очень рад посмотреть еще раз с вами. На середине сцены стоит кровать, под которой прячется любовник, а жених, старый...

Граф, не скрывая раздражения, сделал знак жене, и мы все встали из-за стола.

– Я бы не мог убить жаворонка, – сухо сказал граф.

– Разумеется, милый Робер! – захохотал виконт. – Разумеется! Вы бы промахнулись.

Я поднялся к себе в комнату, чуть не плача от душившего меня гнева и стыда, что я не дал волю этому гневу. Я начал укладывать чемодан, но тут ко мне вошел аббат. Я попросил его передать графу, что меня вызвали в Париж и я должен был уехать с ночным поездом.

– Если я еще раз увижу этого проклятого негодяя, я разобью его наглый монокль о его пустую голову!

– Пожалуйста, не делайте ничего подобного, не то он вас убьет на месте. Он действительно прекрасный стрелок и дрался на дуэли, право, не знаю, сколько раз: он вечно затевает ссоры и имеет привычку говорить дерзости. Прошу вас об одном – ближайшие сутки держите себя в руках. Завтра вечером он уедет в Париж на эти свои состязания, и, говоря между нами, его отъезд обрадует меня не меньше, чем вас.

– Почему?

Аббат ничего не ответил.

– Ну так, господин аббат, я вам скажу почему. Потому, что он влюблен в свою кузину, а вы его не выносите и не доверяете ему.

– Раз уж вы чудом отгадали это, то мне следует рассказать вам, что он в свое время делал ей предложение, но она ему отказала. К счастью, он ей не нравится.

– Но она его боится, а это, пожалуй, еще хуже!

– Графу неприятна его дружба с графиней. Вот поэтому он и не хотел оставить ее одну в Париже, где виконт Морис вечно привозит ей приглашения на балы и в театры.

– Не думаю, чтобы он завтра уехал!

– О нет, он уедет – ему слишком хочется получить золотую медаль, а получить ее у него есть все шансы, так как он правда превосходный стрелок.

– Жаль, что я не могу сказать того же о себе! Я застрелил бы этого скота и отомстил бы за ласточек. Вам что-нибудь известно о его родителях? Я полагаю, что там что-то было неблагополучно.

– Его матерью была немецкая графиня, очень красивая женщина, от которой он унаследовал свою внешность. Однако брак, по-видимому, оказался неудачным. Его отец много пил, отличался некоторыми странностями и был крайне раздражителен. Под конец он почти сошел с ума, и поговаривают, будто он покончил с собой.

– Надеюсь, сын последует примеру отца, и чем скорее, тем лучше. От сумасшествия он уже недалек.

– Вы правы: у виконта также есть немалые странности. Например, он, как вы могли заметить, обладает цветущим здоровьем, и всё же он чрезвычайно мнителен и вечно боится чем-нибудь заразиться. В прошлый раз, когда оп был здесь, сын садовника заболел тифом, и он сразу же уехал. Он без конца принимает лекарства, и вы, наверное, видели, что даже за обедом он пил какие-то капли.

– Да. Это был единственный момент, когда он замолчал!

– Он всегда советуется с новыми врачами. Жаль, что он вас недолюбливает, не то вы обзавелись бы новым пациентом. Но почему вы смеетесь?

– Мне пришла в голову забавная мысль. Когда человек сердится, смех лучшее лекарство. Вы видели, в каком настроении я был, когда вы вошли. Наверное, вам будет приятно услышать, что я совсем успокоился и настроение у меня превосходное. Я передумал и сегодня не уеду. Сейчас мы спустимся в курительную. Обещаю вести себя безупречно.

Виконт, весь красный, стоял перед зеркалом и нервно покручивал свои усы а-ля генерал Галифе. Граф читал у окна «Фигаро».

– Какое неожиданное удовольствие видеть вас здесь, господин швед, насмешливо сказал виконт, вставляя монокль в глаз, словно чтобы получше меня рассмотреть. – Надеюсь, тут никто не заболел колитом?

– Пока нет, но как знать, что будет дальше.

– Насколько я слышал, вы специалист по колитам. Жаль, что никто, кроме вас, ничего не знает об этом удивительном заболевании. По-видимому, вы ни с кем не желаете им делиться. Будьте так любезны, объясните мне, что такое колит? Это заразная болезнь?

– Нет. В обычном смысле слова.

– Она опасна?

– Нет, если ее вовремя распознать и лечить правильно.

– И, конечно, сделать это можете только вы?

– Я здесь не как врач. Граф был так любезен, что пригласил меня в качестве гостя.

– Ах, вот как? А что же будет с вашими пациентами в Париже во время вашего отсутствия?

– Вероятно, они поправятся.

– Не сомневаюсь! – захохотал виконт.

Я должен был сесть рядом с аббатом и взять газету, чтобы сохранить спокойствие. Виконт раздраженно посматривал на часы на каминной полке.

– Я пройдусь с Жюльеттой по парку. Жаль сидеть в комнатах в такую чудесную лунную ночь.

– Моя жена легла спать, – сухо сказал граф. – Она не совсем хорошо себя чувствует.

– Почему, черт возьми, вы мне этого не сказали? – сердито пробурчал виконт и налил себе еще стакан коньяку с содовой. Аббат был погружен в «Журналь де деба», но я заметил, что исподтишка он наблюдает за нами.

– Что-нибудь новенькое, господин аббат?

– Я читаю про состязание, объявленное Стрелковым обществом Франции. Оно назначено на послезавтра, и президент вручит победителю золотую медаль.

– Держу пари на тысячу франков, что ее получу я! – крикнул виконт, ударив себя кулаком в широкую грудь. – Если только ночной парижский экспресс не сойдет с рельсов... или я не заболею колитом, – добавил он, насмешливо поглядев на меня.

– Перестаньте пить коньяк, Морис, – сказал граф. – Вы выпили больше, чем следует. Вы совсем пьяны.

– Смотрите веселей, доктор Колит, – захохотал виконт. – Выпейте-ка коньяку с содовой, это разгонит ваше уныние. К сожалению, ничем не могу быть вам полезен, но почему бы вам не взяться за аббата, который постоянно жалуется на печень и пищеварение? Господин аббат, пожалейте доктора Колита, – разве вы не видите, как он жаждет посмотреть ваш язык?

Аббат продолжал молча читать «Журналь де деба».

– Ах, не хотите! А вы, Робер? Вы были так мрачны за обедом! Почему вы не покажете шведу ваш язык? У вас, наверное, колит! Так сделайте одолжение доктору. Не хотите? Что же, доктор Колит, вам не везет. Но чтобы вас развеселить, я покажу вам свой язык и попрошу внимательно его обследовать.

С сатанинской усмешкой он высунул язык и стал похож на химеру собора Нотр-Дам. Я встал и пристально поглядел на его язык.

– У вас скверный язык, – сказал я серьезно, – очень скверный.

Он быстро обернулся к зеркалу и стал рассматривать свой обложенный язык завзятого курильщика. Я взял его руку и пощупал пульс, заметно участившийся после бутылки шампанского и трех стаканов коньяку с содовой.

– Голова болит?

– Нет.

– Завтра утром она у вас, несомненно, будет болеть.

Аббат опустил газету.

– Расстегните брюки, – сказал я строго, и виконт повиновался с кротостью ягненка.

Я постучал пальцами по диафрагме, и он начал икать.

– А! – сказал я и, пристально глядя ему в глаза, добавил: – Благодарю, это всё.

Граф уронил «Фигаро».

Аббат, открыв рот, поднял руки к небу.

Виконт стоял передо мной, онемев.

– Застегните брюки, – приказал я, – и выпейте коньяка, вам это будет полезно.

Он машинально застегнул брюки и одним глотком выпил стакан коньяку с содовой, который я ему протянул.

– За ваше здоровье, господин виконт, – сказал я, поднося к губам свой стакан. – За ваше здоровье.

Он отер пот со лба, снова повернулся к зеркалу, посмотрел на свой язык и сделал отчаянную попытку рассмеяться, но она не удалась.

– Вы хотите сказать... вы думаете, что...

– Я ничего не хочу сказать. Я ничего не сказал. Я не ваш врач...

– Но что я должен делать? – дрожащим голосом произнес он.

– Лечь в постель, и чем раньше – тем лучше, не то вас отнесут в спальню на руках. Я подошел к камину и позвонил.

– Проводите виконта в его комнату, – сказал я лакею. – И пусть его слуга сразу уложит его в постель.

Опершись на руку лакея, виконт, шатаясь, направился к двери.

На заре я поехал кататься верхом и вновь услышал, как жаворонок высоко в небе поет свой утренний гимн солнцу.

– Я отомстил за убийство твоих братьев, – сказал я ему. – А за ласточек рассчитаюсь с ним позже.

Я сидел у себя в спальне и завтракал с Лео. В дверь постучали, вошел робкий человек, невысокий и щуплый. Он поклонился мне очень почтительно. Это был сельский врач, который, как он сказал, хотел представиться своему парижскому коллеге. Я был очень польщен, попросил его сесть и предложил ему папиросу. Он рассказал о нескольких интересных случаях из своей практики, но эта тема скоро иссякла, и он встал, собираясь уйти.

– Кстати, вчера ночью меня позвали к виконту Морису, и сейчас я как раз от него.

Я выразил свое сожаление по поводу болезни виконта, однако предположил, что она вряд ли серьезна, так как вечером он был совсем здоров и в прекрасном настроении.

– Не знаю, – сказал доктор. – Симптомы неясны, и я думаю, что с диагнозом торопиться не следует.

– Вы разумны, дорогой коллега! И, несомненно, вы велели ему не вставать с постели?

– Конечно. Неприятно, что виконту надо было ехать в Париж, но об этом, разумеется, не может быть и речи.[62] По правде говоря, сначала я решил, что это просто засорение желудка, но он проснулся с ужасающей головной болью, а сейчас у него непрерывная икота. Он убежден, что у него колит. Я, признаюсь, никогда не лечил колита. Я хотел дать ему касторки – язык у него совсем обложен, но если колит похож на аппендицит, то с касторкой надо быть осторожным. Как вы думаете? Он всё время проверяет свой пульс и осматривает язык. Но как ни странно, он очень голоден и рассердился, когда я не позволил ему позавтракать.

– Вы поступили совершенно правильно. Не надо рисковать. Продержите его двое суток на одной воде.

– Конечно.

– Я не возьму на себя смелость давать вам советы. Они вам ни к чему, но ваше предубеждение против касторки я не разделяю. На вашем месте я дал бы ему хорошую дозу – малые дозы не имеют смысла. Три столовые ложки будут ему весьма полезны.

– Три полные столовые ложки?

– Да, по меньшей мере, а главное – ничего, кроме воды!

– О да!

Сельский врач мне очень понравился, и мы расстались большими друзьями.

Днем графиня повезла меня к маркизе. Мы ехали по тенистым дорогам под птичий щебет и жужжание пчел.

Графине надоело меня поддразнивать, но она была в прекрасном настроении, и болезнь кузена, казалось, ее вовсе не тревожила. Маркиза, рассказала она мне, превосходно себя чувствует, но неделю назад была страшно взволнована внезапным исчезновением Лулу, и ночью весь дом был поставлен на ноги, чтобы его искать.

---

[62] **В.Э.:** Большой пропуск по сравнению с латышским изданием.

Маркиза не сомкнула глаз и лежала в полной прострации, когда днем «Лулу вернулся с разорванным ухом и поврежденным глазом. Его хозяйка тотчас вызвала телеграммой ветеринара из Тура, и теперь Лулу уже поправился. Маркиза торжественно представила нас с Лулу друг другу. Видел ли я когда-нибудь такую чудесную собаку? Нет, никогда!

– Как же так? – укоризненно просопел Лулу. – Вы утверждаете, что любите собак, а меня не узнаете? Разве вы забыли, как купили меня в этой ужасной собачьей лавке...

Чтобы перевести разговор на другую тему, я предложил Лулу обнюхать мою руку, и, умолкнув, он принялся тщательно обнюхивать один палец за другим.

– Да, конечно, это ваш особый запах. Я запомнил его с того дня, когда познакомился с ним в собачьей лавке, и он мне очень нравится. Ах! Клянусь святым Рохом, покровителем собак, я чую кость, большую кость. Где она? Почему вы мне ее не дали? Эти глупые люди не дают мне костей! Они считают, что кости вредны маленьким собакам. Какие дураки, не правда ли? Кому вы отдали кость? – Он вспрыгнул ко мне на колени, продолжая меня обнюхивать. – Подумать только – другая собака! Одна ее голова! Большая собака! Громадная собака, у которой изо рта капает слюна! Может быть, сенбернар! Я маленькая собака и страдаю астмой, но сердце у меня на месте, я ничего не боюсь, и вы можете сказать этому своему слону, чтобы он не вздумал подходить ко мне или к моей хозяйке, не то я его проглочу живьем! – Он презрительно фыркнул. – Собачьи галеты! Вот что ты вчера ел, большой вульгарный зверь. От одного запаха этих твердых отвратительных галет, которыми меня угощали в собачьем магазине, меня тошнит! Нет уж! Я предпочитаю сухое печенье, пряники или ломтик вон того миндального торта. Собачьи галеты!

И он переполз обратно на колени своей хозяйки со всей поспешностью, которую позволяли его толстые, короткие лапки.

– Навестите меня еще раз перед вашим возвращением в Париж, – любезно сказала маркиза. – Да, зайдите еще раз, – просопел Лулу, – вы не так уж плохи! Послушайте-ка, – окликнул меня Лулу, когда я встал, собираясь откланяться, – завтра полнолуние, и меня тянет повеселиться. Не знаете, тут поблизости нет дамы моей породы? Только ни слова моей хозяйке, она этого не понимает. Впрочем, неважно, какая порода. Сойдет любая.

Да, Лулу не ошибся, было полнолуние. Я не люблю луны. Таинственная ночная странница слишком часто отгоняла сон от моих глаз и нашептывала мне слишком много грез. Солнце не окутано тайной, – сияющий дневной бог, который принес жизнь и свет в наш темный мир и всё еще хранит нас, хотя все остальные боги, царившие некогда на берегах Нила, на Олимпе и в Валгалле, ушли в мрак небытия. Но никто ничего не знает о бледной страннице луне, чье холодное недремлющее око насмешливо блестит над нами в неизмеримой высоте.

Графу луна не мешала, лишь бы ему позволили спокойно сидеть в курительной за послеобеденной сигарой и Фигаро. Графиня любила луну. Ей нравился ее таинственный свет, ее обманчивые грезы. Ей нравилось молча лежать в лодке и смотреть вверх на звезды, пока я медленно погружал весла в серебристые воды озера. Ей нравилось бродить под старыми липами, где серебристый свет мешался с черной тенью, такой глубокой, что графине приходилось опираться на мою руку, чтобы найти дорогу. Ей нравилось сидеть на уединенной скамье, устремляя свои большие глаза в безмолвную ночь. Порой она роняла несколько слов, но редко, а мне ее молчание нравилось не меньше ее речей.

– Почему вы не любите луны?

– Не знаю. Кажется, я ее боюсь.

– Но чего же?

– Не знаю. Сейчас так светло, что я вижу ваши глаза – две сияющие звезды, и всё же так темно, что я боюсь сбиться с пути. Я новичок в этой стране грез.

– Дайте мне руку, я покажу вам дорогу. Ваша рука казалась мне такой сильной, почему же она дрожит? Да, вы правы, это только сновидение, и надо молчать, – или оно рассеется. Слышите! Это соловей.

– Нет, это дрозд!

– Это, несомненно, соловей. Не говорите, слушайте, слушайте!

Жюльетта запела нежным голосом, ласковым, как ночной ветерок в листве:

Non, non, ce n'est pas le jour,
Ce n'est pas l'alouette,
Dont les chants ont frappe ton oreille inquiète,
C'est le rossignol

Messager de l'amour.[63]

– Молчите, молчите!

С дерева над нами раздался крик совы, зловещий, предостерегающий. Графиня испуганно вскочила. Мы молча пошли обратно.

– Спокойной ночи, – сказала графиня. – Завтра полнолуние. До завтра!

Лео ночевал в моей комнате – без спросу, и мы оба чувствовали себя виноватыми.

– Где ты был и почему ты так бледен? – спросил меня Лео, когда мы тихонько проскользнули в мою спальню. – Все огни погашены, и все собаки в деревне молчат. Должно быть, очень поздно!

– Я был очень далеко, в краю сновидений и тайн, и чуть-чуть не заблудился.

– Я уже засыпал в конуре, но тут меня вовремя разбудила сова, и я как раз успел проскочить за тобой в замок.

– Она и меня тоже разбудила вовремя, милый Лео!

– А ты любишь сов?

– Нет, – сказал Лео, – предпочитаю молодых фазанов. Я как раз такого съел. Он пробегал в лунном свете перед самым моим носом. Я знаю, что это запрещено, но я не мог противостоять искушению. Ты меня не выдашь лесничему, правда?

– Нет, мой друг! А ты не скажешь дворецкому, что мы так поздно вернулись домой?

– Конечно, нет.

– Лео, но тебе хоть совестно, что ты украл этого молодого фазана?

– Я уговариваю себя, что совестно!

– Но это не легко! – сказал я.

– Нет! – пробормотал Лео, облизываясь.

– Лео, ты вор, и не единственный здесь, а кроме того, ты – плохой сторож. Тебя держат в замке для того, чтобы отгонять воров; почему же ты не будишь громовым лаем своего хозяина, а сидишь здесь и смотришь на меня ласковыми глазами?

– Что поделаешь! Ты мне нравишься.

– Лео, мой друг, во всем виноват сонливый ночной сторож там, в небесах. Вместо того чтобы освещать своим фонарем все темные уголки парка, где под липами стоят уединенные скамейки, он нахлобучил на лысую голову ночной колпак из туч и мирно спал, препоручив свои обязанности сове! Или он только представлялся спящим, а сам всё время подглядывал за нами, хитрый старый греховодник, дряхлый донжуан, гуляющий среди звезд, подобно старому фланеру, который слишком изношен, чтобы любить, но рад поглядеть, как делают глупости другие.

– Некоторые утверждают, что луна – юная красавица, – сказал Лео.

– Не верь этому, мой друг. – Луна – высохшая старая дева, которая злобно подглядывает за бессмертной трагедией смертной любви.

– Луна – это призрак, – заявил Лео.

– Призрак? Кто тебе сказал?

– Один из моих предков в незапамятные времена слышал это от старого медведя на перевале Сен-Бернар. Тот узнал это от Атта Троля, который слышал это от Большой Медведицы, царящей над всеми медведями. Там на небе они все боятся луны. Не удивительно, что и мы, собаки, ее боимся и на нее лаем, раз даже блистательный Сириус, Небесный Пес, царящий над всеми собаками, бледнеет, едва она покидает свою могилу и из сумрака показывается ее зловещее лицо. Что же, по-твоему, на земле только ты один не можешь спать, когда встает луна? Все дикие звери, все твари, которые ползают и копошатся в лесу и в поле, – все они покидают свои убежища и мечутся в страхе под ее злокозненными лучами. Сегодня вечером в парке ты, наверное, не отрывал глаз от кого-то другого, не то ты заметил бы, что она – призрак и следит за тобой. Она любит проникать под липы старых парков, в развалины замков и церквей, любит бродить по старым кладбищам, склоняясь над каждой могилой, чтобы прочитать имя покойника. Она любит созерцать серо-стальными глазами унылую снежную пелену, саваном окутывающую мертвую землю, любит заглядывать в спальни, чтобы пугать спящих кошмарами.

---

[63] Нет, нет, это не заря и не песня жаворонка тревожит твой слух, это соловей, вестник любви (франц.).

– Довольно, Лео! Не будем больше говорить про луну, или мы всю ночь не сомкнем глаз. У меня и так уже мороз по коже пробегает. Пожелай мне спокойной ночи, дружок, и пойдем спать.

– Но ведь ты закроешь ставни? – спросил Лео.

– Да. Я всегда закрываю их в полнолуние.

Утром за завтраком я сказал Лео, что должен немедленно вернуться в Париж: так будет безопаснее, ведь сегодня полнолуние, а мне двадцать шесть лет, а его хозяйке двадцать пять – или двадцать девять? Лео видел, как я укладываю чемодан, а каждая собака знает, что это означает. Я заглянул к аббату и прибегнул к обычной лжи: меня пригласили на консилиум, и я должен уехать с утренним же поездом. Он сказал, что очень об этом сожалеет. Граф, уже садившийся на лошадь, также выразил сожаление, ну, а о том, чтобы тревожить графиню в столь ранний час, не могло быть и речи. К тому же я обещал вернуться в самом скором времени.

По дороге на станцию я встретил моего друга сельского врача, который возвращался в своей тележке от виконта. Больной чувствовал большую слабость и требовал, чтобы ему подали завтрак, но доктор наотрез отказался взять на себя ответственность и разрешить ему что-нибудь, кроме воды. Может быть, я порекомендую другое лечение.

О нет, зачем же! Больной в надежных руках, я в этом не сомневаюсь. Конечно, если состояние больного не изменится, можно положить горячую припарку на голову и пузырь со льдом на живот.

А сколько времени, по моему мнению, следует держать больного и постели, если дело обойдется без осложнений?

– По крайней мере, неделю, а лучше – до новолуния.

День тянулся долго. Я был рад снова очутиться на авеню Вилье. Я сразу лег спать. Мне было не по себе, пожалуй, меня лихорадило, ведь врачи никогда не знают, есть у них жар или нет. Я сейчас же уснул, так велика была моя усталость. Не знаю, долго ли я спал, но вдруг я почувствовал, что в комнате я не один. Открыв глаза, я увидел в окне свинцово-бледное лицо, глядящее на меня белыми, пустыми глазами – на этот раз я забыл закрыть ставни. В комнату незаметно и бесшумно прокралось что-то, и по полу к кровати протянулась белая рука, как щупальца громадного осьминога.

– Так, значит, ты хочешь вернуться в замок? – насмехался надо мной беззубый рот с бескровными губами. – Как мило и уютно было вчера под липами, когда я служил вам шафером, а кругом пели соловьи, не так ли? Соловьи в августе! Право, вы оба унеслись в какой-то очень дальний край. А теперь ты хотел бы снова очутиться там? Что же, одевайся, садись на этот белый луч, который ты так любезно назвал щупальцем осьминога, и менее чем за минуту я отнесу тебя назад под липы, ибо мой свет летит так же быстро, как и твои грезы.

– Я уже не грежу. Я очнулся от сновидений и не хочу туда возвращаться, призрак Мефистофеля!

– О, так тебе снится, что ты проснулся? И твой запас нелепой брани еще не исчерпан? Призрак Мефистофеля! Ты уже называл меня старым фланером, донжуаном и шпионящей старой девой. Да, я действительно подсматривал за вами вчера вечером в парке и хотел бы знать, кто из нас двоих был донжуаном, или ты предпочтешь, чтобы я назвал тебя Ромео? Только ты на него совсем не похож! Слепой дурак – вот кто ты. Дурак, который не понимает даже того, что было ясно твоему псу – что у меня нет возраста, нет пола, нет жизни, что я призрак.

– Чей призрак?

– Призрак мертвого мира. Бойся призраков! И перестань оскорблять меня, не то я ослеплю тебя лучом моего холодного света, который гораздо более смертоносен для человеческих глаз, чем золотая стрела бога-солнца. Больше я ничего не скажу тебе, кощунствующий сновидец. На востоке занимается заря, и мне пора возвращаться в мою могилу, иначе я не найду дороги. Я стар, и я устал. Ты думаешь, легко всю ночь блуждать, когда все отдыхают? Ты вот называешь меня зловещим и угрюмым, а разве легко быть веселым, когда живешь в могиле – хотя жизнью это называете только вы, смертные. Ты тоже умрешь когда-нибудь, и земля, на которой ты живешь, как и ты, обречена смерти.

Я поглядел на призрака и в первый раз заметил, какой у него старый и усталый вид, но жалость во мне сменилась гневом, когда я услышал угрозу ослепить меня.

– Прочь отсюда, могильщик! – закричал я. – Тебе нечего здесь делать! Я полон жизни!

– А знаешь ли ты, – захихикал он, взбираясь на кровать и положив длинную белую руку мне на плечо, а знаешь ли ты, зачем ты уложил дурака виконта в постель с пузырем льда на животе? Чтобы отомстить за ласточек? Как бы не так! Ты лицемер, Отелло! Ты не хотел, чтобы он прогуливался по парку при лунном свете с...

– Убери свою лапу, ядовитый паук, не то я вскочу с постели и разделаюсь с тобой.

Я сделал отчаянное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, и проснулся весь в поту. Комната была полна серебристого света. Внезапно пелена спала с моих глаз, и в открытом окне я увидел в безоблачном небе полную луну – прекрасную и безмятежную.

Девственная богиня Луна! Ты слышишь меня в ночной тиши? Ты кажешься такой кроткой и вместе с тем такой печальной. Можешь ли ты понять скорбь? Можешь ли ты простить? Можешь ли ты залечить раны бальзамом своего чистого света? Можешь ли ты научить забвению? Приди, нежная сестра, побудь со мной, я так устал! Положи свою прохладную руку на мой горячий лоб, успокой мои беспорядочные мысли. Шепни мне на ухо, что я должен сделать, куда я должен уйти, чтобы забыть песню сирен.

Я долго стоял у окна и смотрел, как царица ночи свершает свой путь среди звезд. Я хорошо их знал по бессонным ночам и стал называть их имена: пламенный Сириус, Кастор и Поллукс, которых так любили моряки древности, Арктур, Альдебаран, Капелла, Вега, Кассиопея.

А как называется эта звезда надо мной, манящая меня ровным, надежным светом? О, я ее хорошо знаю! Не раз ночью я направлял по ней свою лодку среди бурного моря, часто она указывала мне дорогу в заснеженных полях и лесах моей родины – Stella Polaris, Полярная звезда!

Вот путь! Следуй за моим светом, и ты спасен.

Доктор уехал на месяц.
Обращаться к доктору Норстрему,
Бульвар Осман, 66

Глава VII. Лапландия

Солнце уже закатилось за Вассоярви, но было еще светло от пламенеющего сияния, которое медленно сгущалось в золотые и рубиновые тона. Розоватый туман спускался на синие горы, на которых сверкали лиловые пятна снега и желто-серебристые березы в первом инее.

Трудовой день закончился. Мужчины возвращались на стойбище с арканами на плечах, женщины – с большими березовыми мисками, полными свежего молока. Большое стадо оленей уже вернулось к стойбищу, и вокруг него расположились бдительные псы, готовые поднять тревогу при появлении волков или рысей. Постепенно замерло мычание телят и постукивание копыт, и тишину нарушал лишь редкий лай собак, крик козодоя да далекое уханье филина где-то в горах.

Я сидел в дымном чуме на почетном месте рядом с Тури. Эллекаре, его жена, бросила кусок оленьего сыра в висящий над огнем котел и раздала по очереди – сначала нам, мужчинам, а потом женщинам и детям – миски с густым супом, который мы съели молча. То, что осталось в котле, было разделено между собаками, не сторожившими стадо, – они, одна за другой, вползали в чум и ложились у огня. Потом мы по очереди пили прекрасный кофе (две чашки ходили по кругу), а затем все вынули из кожаных кисетов короткие трубки и с большим удовольствием закурили. Мужчины сняли сапоги из оленьих шкур и разложили перед огнем связки осоки для просушки – лапландцы не носят носков. И вновь я пришел в восхищение при виде их маленьких ног с упругим подъемом и сильно выступающей пяткой. Некоторые женщины вынули спящих младенцев из подвешенных к шестам берестовых люлек и дали им грудь, другие взяли на колени малышей постарше и принялись искать у них в голове.

– Я жалею, что ты так скоро нас покинешь, – сказал старый Тури. – Ты был желанным гостем. Ты мне нравишься.

Тури хорошо говорил по-шведски и когда-то даже ездил в Лулеа, чтобы от имени лапландцев подать жалобу на новых поселенцев губернатору провинции, который был стойким защитником их безнадежного дела и, кстати, приходился мне дядей. Тури был могучим человеком, единовластным хозяином стойбища из пяти чумов, в которых жили его пять взрослых сыновей,

их жены и дети, – все они с утра до вечера трудились, ухаживая за его оленьим стадом из тысячи голов.

– Мы и сами, наверное, скоро сменим место стоянки, – продолжал Тури. Зима обещает быть ранней. Снег под березами скоро затвердеет, и олени не смогут выкапывать из-под него мох, так что до конца месяца нам придется спуститься в сосновые леса. По лаю собак я слышу, что они чуют волка. А ты говорил, что видел вчера в ущелье Сульме след большого медведя, верно? – спросил он у молодого лапландца, который только что вошел в чум и скорчился у огня.

Да, юноша видел этот след и еще много волчьих следов.

Я сказал, что радуюсь тому, что в округе еще встречаются медведи, – я слышал, их уже почти не осталось. Тури ответил, что так оно и есть. А это старый медведь, который живет здесь уже много лет, – его часто видят в ущелье. Три раза зимой его берлогу облагали охотники, но он всякий раз уходил – он очень стар и хитер. Тури даже один раз стрелял в него, а он только покачал головой и посмотрел хитрыми, маленькими глазками, так как знал, что обыкновенная пуля его не убьет. Убить его может только серебряная пуля, отлитая в ночь под воскресенье возле кладбища. Это потому, что его любят ульдры.

– Ульдры?

Разве я не знаю ульдров, маленький народец, который живет под землей? Когда медведь зимою спит, ульдры приносят ему ночью пищу – ведь ни один зверь не может проспать всю зиму без еды. И Тури засмеялся. Медвежий закон запрещает убивать людей. Если медведь нарушает этот закон, ульдры перестают его кормить, и он зимой не спит. Медведь не так коварен и вероломен, как волк. У медведя сила двенадцати человек и хитрость одного, у волка же хитрость двенадцати человек, а сила – одного. Медведь любит честный бой. Того, кто с ним встречается и говорит: «Подходи, давай бороться, я тебя не боюсь!» – медведь только сбивает с ног и уходит, не причинив ему вреда. Медведь никогда не нападает на женщину – ей надо только показать ему, что она женщина, а не мужчина.

Я спросил Тури, видел ли он когда-нибудь ульдров.

Нет, он их не видел, а его жена их видела, и дети их часто видят. Зато он слышал, как они ходят под землей. Ходят они ночью, потому что днем спят, так как при дневном свете они ничего не видят. Если лапландцы случайно ставят чум над тем местом, где живут ульдры, те подают им знак, чтобы они шли дальше. Ульдры никому не причиняют зла, пока им не мешают. Если же их потревожат, они рассыпают по мху порошок, от которого олени гибнут десятками. Бывали случаи, когда они утаскивали из люльки лапландского ребенка и клали на его место своего собственного. Лица их детей сплошь покрыты черными волосами, а во рту у них длинные острые зубы. Некоторые говорят, что в таком случае надо стегать их ребенка розгами из горящих березовых прутьев – мать-ульдра не выдержит его крика и вернет твоего ребенка, а своего заберет. Другие говорят, что с ее ребенком следует обходиться так же хорошо, как со своим, и мать-ульдра из благодарности вернет твоего ребенка.

Тут среди женщин поднялся оживленный спор, какой способ лучше, и матери с тревогой крепче прижимали младенцев к груди.

Злейший враг лапландцев – это волк. Он не осмеливается открыто нападать на стадо оленей, а стоит совсем тихо, чтобы ветер донес до них его запах. Почуяв волка, олени в страхе разбегаются, и волк режет их поодиночке, иной раз по десятку в ночь. Бог создал всех животных, кроме волка, порожденного дьяволом. Если у человека на совести кровь другого человека и он не признается и своей вине, дьявол превращает его в волка. Волк может усыпить лапландцев, сторожащих ночью стадо, – для этого ему достаточно посмотреть на них из темноты своими сверкающими глазами. Обыкновенной пулей волка можно убить, только если перед этим сходишь с ней в церковь два воскресенья подряд. А лучше всего – обогнать его на лыжах по мягкому снегу и ударить палкой по носу. Тут он перевернется на спину и сразу сдохнет. Тури сам убил этим способом не один десяток волков, только однажды он промахнулся и волк укусил его за ногу. (Тут он показал мне страшные рубцы.) Прошлой зимой одного лапландца укусил волк, который уже упал на спину и умирал. Человек потерял так много крови, что заснул в снегу, и на следующий день его нашли замерзшим рядом с мертвым волком. А есть еще росомаха, которая вцепляется оленю в горло, как раз у главной жилы, и висит, пока олень, пробежав много миль, не падает от потери крови. Еще есть орел, который утаскивает в когтях новорожденных оленят, если матка отлучится хоть на минуту. Если же олень отобьется от стада, его задерет рысь, которая подкрадывается к добыче тихо, точно кошка.

Тури сказал, что не понимает, как лапландцы умудрялись сохранять свои стада в те времена, когда они еще не заключили союз с собаками. Тогда собаки охотились на оленя вместе с волками. Только собаки умнее всех зверей и поняли, что им выгоднее дружить с лапландцами, а не с волками. И собаки предложили лапландцам свою службу, поставив такие условия: при жизни с ними будут обходиться, как с друзьями, а когда их жизнь будет подходить к концу, то хозяин будет их вешать. Вот почему и по сей день лапландцы вешают собак, когда они состарятся и не могут больше работать, а также и новорожденных щенят, которых приходится убивать из-за недостатка корма. Собаки лишились дара речи, когда его обрел человек, но они понимают каждое твое слово. Прежде все звери могли говорить, как и цветы, деревья, камни, которые созданы тем же богом, что и человек. Поэтому люди должны быть добры к животным, а со всеми неодушевленными предметами следует обходиться так, словно те могут видеть и слышать. В день Страшного суда бог сначала вызовет животных, чтобы они могли свидетельствовать против покойника. А уж после он выслушает людей.

Я спросил у Тури, есть ли в их краях Стало, – я так много слышал о них в детстве, что готов отдать что угодно, лишь бы посмотреть на одного из этих великанов-людоедов.

– Сохрани бог! – сказал Тури со страхом. – Река, через которую ты завтра будешь переправляться, до сих пор называется рекой Стало, потому что там некогда жил старый людоед со своей женой-колдуньей. У них на двоих был лишь один глаз, и они постоянно ссорились, кому он должен принадлежать и кто из них должен видеть. Они всегда съедали своих собственных детей, но ели и лапландских детей, когда им удавалось их поймать. Стало говорил, что лапландские дети вкуснее, так как его отродье слишком пахнет серой. Однажды, когда они ехали по озеру на санках, запряженных двенадцатью волками, они, по обыкновению, затеяли ссору из-за глаза, и Стало впал в такую ярость, что пробил дырку в дне озера, и через нее из озера навсегда ушла вся рыба. Вот почему и называется оно Сива. Завтра ты его будешь переезжать на лодке и сам убедишься в том, что в нем нет ни единой рыбы!

Я спросил у Тури, что бывает, когда лапландцы заболевают, и как они обходятся без врача. Он сказал, что болеют они редко, а зимой и вовсе не болеют – разве что стоят лютые холода, когда иной раз замерзают новорожденные дети. Дважды в год по приказу короля к ним приезжает доктор, по мнению Тури, этого было вполне достаточно. Доктору приходится два дня ехать по болотам, потом еще день переваливать пешком через гору, а при последнем посещении он едва не утонул, переправляясь через реку. К счастью, среди лапландцев есть много врачевателей, которые большинство болезней лечат гораздо лучше, чем королевский доктор. Врачеватели пользуются покровительством ульдров, которые учат их мудрости. Некоторые врачеватели умеют утишить боль одним прикосновением руки к больному месту. При большинстве болезней помогают кровопускание и втирания. Ртуть и сера также очень полезны, как и чайная ложка нюхательного табаку в чашке кофе. Две лягушки, варенные в течение двух часов в молоке, хорошо помогают от кашля; правда, крупная жаба еще лучше, только их не всегда можно найти. Жабы появляются из туч. Когда зимой тучи спускаются низко, жабы сотнями сыплются на снег. – Иначе откуда бы они брались на снежных пустырях, где нет никаких следов жизни? Чтобы вылечить желтуху, которой лапландцы часто болеют весной, надо сварить в молоке десять вшей с солью и выпить натощак. Собачьи укусы быстро заживают, если рану потереть кровью этой же собаки. Больное место достаточно потереть шерстью ягненка, и боль тотчас проходит, это потому, что Иисус Христос часто говорил о ягнятах. Перед смертью человек бывает предупрежден: прилетает ворон и садится на шест чума. Тогда не надо громко говорить, чтобы не отпугнуть жизнь, иначе умирающий будет обречен неделю жить между двумя мирами. Если в твоих ноздрях останется запах покойника, то ты сам можешь умереть.

Я спросил Тури, не живет ли кто-нибудь из врачевателей поблизости – я очень хотел бы с ним поговорить.

Нет. Ближайший из них, старый лапландец Мирко, живет по ту сторону горы – он такой старый, что Тури помнит его еще с тех пор, когда был мальчиком. Он удивительный врачеватель, весьма любимый ульдрами. Все звери приближаются к нему без боязни и ни один не сделает ему ничего плохого, потому что звери сразу узнают того, кому покровительствуют ульдры. Он может успокоить боль одним прикосновением руки. Врачевателя всегда можно узнать по форме его руки. Если посадить подстреленную птицу на его ладонь, она будет сидеть совсем спокойно, так как тотчас узнает в нем врачевателя. Я протянул свою руку Тури, который и не подозревал, что я врач. Он молча и внимательно ее осмотрел, бережно загнул один палец за другим, измерил промежуток между большим и указательным пальцами и что-то сказал жене, которая, в свою

очередь, взяла мою руку в свою крошечную коричневую птичью лапку. Я заметил тревогу в ее маленьких миндалевидных глазах.

– Говорила ли тебе твоя мать, что ты родился в сорочке? Почему она не давала тебе грудь? Кто давал тебе грудь? На каком языке говорила твоя кормилица? Подмешивала она тебе в молоко кровь ворона? Вешала она тебе на шею волчий коготь? Давала она тебе потрогать череп мертвеца, когда ты был ребенком? Видел ли ты когда-нибудь ульдру? Слышал ли ты когда-нибудь далеко в лесу колокольчики их белых оленей?

– Он врачеватель, – сказала жена Тури, тревожно поглядев на мое лицо.

– Ему покровительствуют ульдры, – повторили все с испугом. Я сам почти испугался и отдернул руку.

Тури сказал, что пора ложиться спать: день был длинным, а я уйду на рассвете. Мы улеглись вокруг тлеющего костра, и вскоре в дымном чуме наступила тишина. Я ничего не видел, кроме Полярной звезды, которая смотрела на меня через дымоход. Во сне я чувствовал теплую тяжесть собаки на моей груди и ее мягкую морду у меня в руке.

На рассвете мы все были уже на ногах. Жители стойбища сошлись проводить меня. Я раздал моим новым друзьям скромные, но ценные для них подарки: табак и сладости, и они пожелали мне счастливого пути. Если всё пройдет благополучно, то на следующий день я буду в Форстугане, ближайшем селении среди диких болот, водопадов, озер и лесов, – родины бездомных лапландцев. Ристин, шестнадцатилетняя внучка Тури, должна была служить мне проводницей. Она знала несколько слов по-шведски и уже бывала в Форстугане, откуда ей предстояло идти дальше, до ближайшего приходского села, где она училась в лапландской школе.

Ристин шла передо мной в длинной белой куртке из оленьей шкуры и красной шерстяной шапке. Талию ее охватывал широкий кожаный кушак, расшитый синими и желтыми нитками и украшенный пряжками и пластинками из чистого серебра. На поясе висели нож, кисет и кружка. А за пояс она засунула небольшой топор. На ней были гетры из мягкой оленьей кожи, прикрепленные к широким кожаным штанам. Ее маленькие ноги были обуты в изящные сапожки из оленьей кожи, искусно расшитые синими нитками. На спине она несла лаукос, ранец из бересты, в котором лежали ее пожитки и наша провизия. Ранец был вдвое больше моего рюкзака, но, по-видимому, ничуть ее не стеснял. Она спускалась с отвесных склонов быстрым бесшумным звериным шагом, перепрыгивала с быстротою зайца через поваленные стволы и лужи. Иногда она ловко, как серна, взбиралась на крутую скалу, чтобы осмотреться. У подножья горы мы вышли к широкому ручью. Я не успел еще задуматься над тем, что мы будем делать, как Ристин была уже по пояс в воде, и мне оставалось только спуститься вслед за ней в ледяную воду. Впрочем, я скоро согрелся, когда мы с неимоверной быстротой начали взбираться на крутой склон. Ристин почти всё время молчала, что было и к лучшему, так как я понимал ее лишь с огромным трудом. По-шведски она объяснялась так же скверно, как я по-лапландски.[64] Затем мы расположились на мягком мху и прекрасно пообедали ржаными сухарями, свежим маслом, сыром и копченым оленьим языком, запивая всё это восхитительной водой из горного родника. Мы закурили свои трубки и еще раз попытались понять друг друга.

– Как называется эта птица? – спросил я.

– Лахоль, – улыбнулась Ристин, сразу узнавшая мелодичное посвистывание ржанки, которая разделяет одиночество лапландцев и которую они так любят.

Из ивового куста донеслась чудесная песня синегрудого реполова.

– Яйло! Яйло! – засмеялась Ристин.

Лапландцы говорят, что у реполова в горле колокольчик и что он знает сто песен. Высоко над нами, ввинченный в синее небо, висел черный крест. Это был королевский орел, который, паря на неподвижных крыльях, окидывал взором свои пустынные владения. С горного озера донесся тоскливый крик нырка.

– Ро-ро-райк, – точно повторила Ристин.

Она объяснила, что это предвещает хорошую погоду. Когда нырок говорит «вар-люк, вар-люк-люк-люк» – это значит: снова будет дождь, снова, снова дождь, сообщила мне Ристин.

Я лежал, растянувшись на мягком мху, курил трубку и наблюдал, как она заботливо перекладывает вещи в лаукосе: синий шерстяной платок, запасную пару оленьих сапожков, пару прекрасно вышитых красных рукавичек для выхода в церковь и Библию. Снова меня поразила

---

[64] **В.Э.:** Должно быть – по-лапски или по-саамски.

благородная форма ее маленьких рук, свойственная всем лапландцам. Я спросил, что хранится в коробочке из березового корня. Так как я ничего не понял из ее долгого объяснения на смешанном шведско-финско-лапландском наречии, то встал и открыл коробочку. Там лежала горсть обыкновенной земли. Для чего она ей нужна?

Снова Ристин попыталась ответить мне, и снова я ничего не понял. Она нетерпеливо покачала головой, несомненно считая, что я очень глуп. Вдруг она растянулась на мху и некоторое время лежала неподвижно с закрытыми глазами. Потом поднялась, наскребла под мхом пригоршню земли и, с особо серьезным выражением лица, протянула ее мне. Тогда я понял, что было в коробочке из березового корня. Это была земля с могилы какого-нибудь лапландца, погребенного прошлой зимой в лесной глуши. Ристин несла ее священнику, чтобы он прочитал над ней заупокойную молитву и рассыпал ее по кладбищу.

Мы вскинули на спину свои рюкзаки и пошли дальше. По мере того как мы спускались по склону, ландшафт менялся всё больше. Сначала мы шли по нескончаемой тундре, заросшей осокой и морошкой, ярко-желтые ягоды которой мы на ходу срывали и ели. Потом одинокие карликовые березки сменились рощицами серебристой березы, осин и ольхи, зарослями ивняка, дикой вишни и смородины. Вскоре мы вошли в дремучий еловый лес, а через два часа уже шагали по глубокому ущелью между отвесными, заросшими мхом утесами. Небо над нами было еще светло от лучей заходящего солнца, но в ущелье уже совсем смерклось. Ристин тревожно оглядывалась по сторонам: конечно, ей хотелось выбраться на плато до наступления ночи. Вдруг она остановилась как вкопанная. Я услышал треск веток и увидел шагах в пятидесяти от себя что-то темное и громадное.

– Беги, – прошептала Ристин, побелев, и ее маленькая рука схватилась за топор.

Я охотно побежал бы. Однако ногу мне свела судорога, и я был не в состоянии сделать ни шагу. Теперь я хорошо его рассмотрел. Он был по колено скрыт зарослями черники, и из его громадной пасти торчал кустик, усыпанный его любимыми ягодами, – мы, несомненно, оторвали его от ужина. Он был на редкость велик и, судя по облезлой шкуре, очень стар. Конечно, это был тот самый медведь, о котором мне рассказывал Тури.

– Беги, – в свою очередь шепнул я Ристин, с рыцарским намерением прикрыть ее отступление. Впрочем, героизм мой немногого стоил, так как я всё равно не мог сдвинуться с места. Ристин не побежала. И ради сцены, которая последовала затем, стоило приехать из Парижа в Лапландию. Вы можете не поверить тому, что я расскажу дальше, – мне всё равно. Ристин, держа руку на топоре, приблизилась к медведю. Другой рукой она приподняла рубаху и показала медведю свои широкие кожаные штаны, которые носят лапландские женщины. Медведь выпустил изо рта веточку черники, несколько раз громко фыркнул и скрылся в еловой чаще.

– Черника ему больше по вкусу, чем я, – сказала Ристин, когда мы пошли дальше, как могли быстрее.

Ристин рассказала мне, что весной, когда мать забрала ее из школы, они здесь в ущелье встретили этого же старого медведя, и он убежал, как только ее мать показала ему, что она женщина.

Вскоре ущелье осталось позади, и мы зашагали через сумрачный лес по бархатистому ковру серебристо-серого мха, поросшего линнеей и грушанкой. День угасал, но его сменил не мрак, а чудесный полусвет летних северных ночей. Каким образом Ристнн находила дорогу в девственной чаще, остается загадкой для моего тупого мозга. Вдруг мы снова вышли к нашему приятелю-ручью, и я второпях наклонился и коснулся губами его прохладного ночного лика. Ристин объявила, что пора ужинать. С невероятной быстротой она нарубила дров и развела костер между двумя валунами. Мы поели, покурили и, подложив под голову рюкзаки, погрузились в глубокий сон. Ристин разбудила меня и протянула мне свою красную шапку, полную черники. Не удивительно, что старый медведь так любил эту ягоду – я редко едал завтрак вкуснее. Затем мы тронулись в путь. И опять нам повстречался наш приятель ручей: весело танцуя по камням и уступам, он журчал, чтобы мы пошли с ним к горному озеру. Так мы и сделали, опасаясь, как бы он не сбился с пути в предрассветной мгле. Иногда мы теряли его из виду, но продолжали слышать его песню. Иногда он поджидал нас у отвесной скалы или у поваленного дерева, но потом быстро мчался вперед, нагоняя потерянное время. Вскоре уже нечего было опасаться, что он заблудится в полутьме: ночь быстрыми колдовскими шагами отступала в глубь леса. Золотой свет горел на вершинах елей.

– Пиави! – сказала Ристин. – Солнце встает.

В тумане у наших ног открыло глаза горное озеро.

Я спустился к воде, с тревогой предчувствуя новое ледяное купание. К счастью, я ошибся. Ристин остановилась около маленькой эки – плоскодонки, укрытой под упавшей елью. Лодочка эта не принадлежала никому, а, вернее, принадлежала всем. Лапландцы пользовались ею, когда изредка отправлялись в село, чтобы выменять оленьи шкуры на кофе, сахар и табак – единственную роскошь в их скудной жизни.

Вода в озере была кобальтово-синей, и цвет ее был прекраснее сапфировой синевы Голубого Грота на Капри. Она была такой прозрачной, что мне казалось, я вот-вот увижу дыру, пробитую страшным Стало в дне водоема.

На полпути через озеро нам встретились два величавых путешественника, которые плыли рядом, высоко держа над водой свои великолепные рога. К счастью, они приняли меня за лапландца, и мы смогли подойти к ним так близко, что я хорошо разглядел их прекрасные кроткие глаза, без страха устремленные на нас. Глаза лосей, как и северных оленей, обладают одним странным свойством: они кажутся устремленными прямо на тебя, под каким бы углом ты ни смотрел на них.

Мы быстро взобрались на крутой берег и снова пошли по бескрайней болотистой равнине, ориентируясь лишь по солнцу. Моя попытка объяснить Ристин назначение моего карманного компаса успеха не имела, и я сам перестал смотреть на него, полагаясь на инстинкт моей проводницы. Но она заметно спешила, и вскоре у меня создалось впечатление, что она не уверена в избранном пути: она быстро шла в одном направлении, останавливалась, втягивая ветер трепещущими ноздрями, а потом бросалась в сторону и всё повторялось сначала; порой она наклонялась и нюхала землю, как собака.

– Рог! – сказала она внезапно, указывая на низкую тучу, которая с невероятной скоростью надвигалась на нас.

Да, это правда был туман – и какой! Через минуту нас окутала плотная белая пелена, столь же непроницаемая, как лондонский ноябрьский туман. Нам пришлось взяться за руки, чтобы не потерять друг друга. Так мы брели вперед часа два по колено в ледяной воде. Наконец Ристин сказала, что сбилась с дороги и надо подождать, пока туман не рассеется. А когда это будет? Она не знает. Может быть, пройдет день и еще ночь, а может быть, через час – всё зависит от ветра. Это было одно из самых неприятных приключений в моей жизни. Я хорошо знал, что при нашей жалкой экипировке туман на бескрайних болотах гораздо опаснее, чем встреча с медведем в лесу. Я знал также, что сделать мы ничего не можем и остается только ждать. Несколько часов мы просидели на рюкзаках, и туман прилипал к нашей коже, как холодная мокрая простыня. Мои страдания достигли кульминации, когда я, желая закурить трубку, обнаружил, что карман моего жилета полон воды. Я еще печально смотрел на мокрый коробок со спичками, а Ристин уже высекла огонь и закурила трубку. Цивилизация потерпела еще одно поражение, когда я решил надеть сухие носки и обнаружил, что мой водонепроницаемый рюкзак лучшей лондонской фирмы промок насквозь, в то время как пожитки Ристин в самодельном берестовом лаукосе остались совершенно сухими. Мы с нетерпением ждали, когда закипит вода для столь желанной чашки кофе, но тут порыв ветра задул мою спиртовку. Ристин быстро метнулась навстречу ветру и, вернувшись, приказала мне скорее надеть рюкзак. Через минуту сильный ветер уже дул нам в лицо и туманная завеса поднялась высоко над нашими головами. Глубоко внизу в долине у наших ног, точно меч, блестела на солнце большая река. На другом ее берегу темнел сосновый бор, уходя к горизонту. Ристин подняла руку и указала на струйку дыма, курившуюся над вершинами деревьев.

– Форстуган! – сказала Ристин.

Она сбежала с обрыва и, ни минуты не раздумывая, вошла в реку – вода доставала ей до плеч. Я последовал за ней. Вскоре мы потеряли дно и поплыли, как лоси, по лесному озеру. После получасовой ходьбы по лесу мы пришли к просеке, несомненно проложенной человеком. С громким лаем бросилась на нас лапландская собака. После обстоятельного обнюхивания она страшно обрадовалась и всё время бежала впереди, показывая нам дорогу.

* * *

Перед своим красным домом стоял Ларс Апдерс, форстуганец, в длинной овечьей шубе и деревянных башмаках – великан двухметрового роста.

– Добрый день! – сказал Ларс Андерс. – Откуда ты идешь? Почему ты не послал эту лапландскую девчонку вперед за моей лодкой? Положи-ка в очаг полено потолще, Керстин! –

крикнул он в дверь жене. – Он переплыл реку с лапландской девчонкой. Им нужно высушить одежду.

Мы с Ристин уселись перед огнем на низкой скамейке.

– Он мокрый, как выдра, – сказала матушка Керстин, которая помогла мне стащить чулки, панталоны, фуфайку и фланелевую рубашку и развесила их на воровки под потолком.

С моего тела капала вода. Ристин уже сняла оленью куртку, гетры, кожаные штаны и шерстяную безрукавку – рубашки на ней не было вообще. А потом мы сели рядом на деревянной скамейке перед пылающим огнем, совсем нагие, какими нас и создал творец. Старики не видели в этом ничего особенного, да так оно, в сущности, и было.

Час спустя я уже осматривал свое новое жилище, облаченный в черный праздничный сюртук дядюшки Ларса из домотканого сукна и его деревянные башмаки. Ристин сидела у печи на кухне, где матушка Керстин спешно пекла хлеб. Иностранец, который приходил накануне с лапландцем из Финляндии, съел весь хлеб, который был в доме. Сына стариков не было дома – он рубил дрова на другом берегу реки, – и мне предстояло ночевать в его каморке над коровником. Они надеялись, что коровий запах мне не помешает. Нисколько! Он мне даже нравится. Дядя Ларс сказал, что сходит в амбар за овчиной для моей постели – ведь ночи уже холодные. Амбар стоял на четырех столбах в человеческий рост вышиной – для защиты от четвероногих гостей и зимних заносов. В нем было полно одежды и мехов, аккуратно развешанных но стенам на оленьих рогах: волчья доха дядюшки Ларса, шубы его жены и с полдюжины волчьих шкур. На полу лежала великолепная медвежья полость. На колышке висел свадебный наряд матушки Керстин: яркая шелковая кофта, чудесно расшитая серебром, длинная зеленая шерстяная юбка и головной убор, отделанный старинными кружевами, воротник из беличьего меха, красный кожаный пояс с пряжками из чистого серебра. Когда мы спускались по лестнице из кладовой, я напомнил дядюшке Ларсу, что он забыл запереть дверь. Но он объяснил, что это не страшно – волкам, лисам и ласкам одежда не нужна, а съестного в амбаре нет ничего.

После прогулки по лесу я сел у жаркого огня за чудесный ужин: лапландские форели, лучшие в мире, домашний хлеб прямо из печи, свежий сыр и домашнее пиво. Я думал, что буду ужинать с Ристин, но это, по-видимому, противоречило этикету, и она ужинала на кухне с внучатами. Старики сидели рядом со мной и смотрели, как я ем.

– Ты видел короля?

Нет, короля я не видел, так как приехал не из Стокгольма, а прямо из другой страны, из другого города, который гораздо больше Стокгольма. Дядюшка Ларс не знал, что есть город больше Стокгольма.

Я сказал матушке Керстин, что нахожу ее свадебный наряд чрезвычайно красивым. Она улыбнулась и сказала, что в нем венчалась еще ее мать бог знает сколько лет назад.

– Неужели вы и на ночь оставите амбар открытым? – спросил я.

– Почему бы и нет? – удивился дядюшка Ларс. – Я уже говорил тебе, что там нет ничего съестного, а волки и лисицы не утащат нашего платья.

– Но их может унести кто-нибудь другой. Амбар стоит в лесу, в стороне от вашего дома. Одна медвежья полость стоит больших денег, а любой антиквар в Стокгольме охотно даст две сотни риксдалеров за свадебное платье вашей жены.

Старики посмотрели на меня с удивлением.

– Но разве ты не слышал, как я говорил тебе, что медведя я сам застрелил и волков тоже? Разве ты не понял, что свадебный наряд принадлежит моей жене и она получила его от матери? Разве ты не понимаешь, что всё это принадлежит нам, пока мы живы, а когда мы умрем, всё это перейдет нашему сыну? Так кто же унесет эти вещи? О чем ты говоришь?

Дядюшка Ларс и матушка Керстин смотрели так, словно мои слова их рассердили. Вдруг дядюшка Ларс почесал затылок, и его старые глаза хитро заблестели.

– А! Я понял, о ком он ведет речь, – сказал он с усмешкой. – О тех людях, которых называют ворами.

Я спросил дядюшку Ларса про Сива-озеро. Правда ли то, что мне рассказывал Тури, будто великан Стало пробил в его дне дырку, и вся рыба уплыла!

Да, это так. В озере нет ни единой рыбешки, хотя другие горные озера так и кишат рыбой, но повинен ли в этом Стало, он сказать не может. Лапландцы суеверны и невежественны. Они даже не христиане, и никто не знает, откуда они пришли сюда, а их язык не похож ни на один другой язык на свете.

– А есть ли великаны и тролли на этом берегу реки?

– В прежние времена они тут жили, это верно, – сказал дядюшка Ларс.

Мальчиком он много наслышался о большом тролле, который жил на соседней горе. Тролль этот был очень богат, и сотни безобразных карликов сторожили его золото под горой, и у него было большое стадо белоснежных оленей с серебряными бубенчиками на шее. Но с тех пор, как король начал добывать в горах руду и строить тут железную дорогу, о троллях больше ничего не слышно. Ну конечно, Скогсра, лесная ведьма, никуда не делась и по-прежнему старается заманить людей в чащу, чтобы они сбились с дороги. Иногда она кричит по-птичьи, а иногда зовет нежным женским голосом. Многие говорят, что она настоящая женщина, очень злая и очень красивая. Если повстречаешь ее в лесу, то надо сразу бежать оттуда, а если хоть раз оглянешься на нее, то пропадешь. И не следует сидеть в лесу под деревом в полнолуние. Она подойдет, сядет рядом и станет обнимать тебя, как женщина, когда она хочет, чтобы мужчина полюбил ее. На самом же деле она замышляет высосать кровь из твоего сердца.

– А глаза у нее большие и темные? – спросил я с тревогой.

Этого дядюшка Ларс не знал – сам он ее никогда не видел, но вот брат его жены встретил ее в лесу лунной ночью. С тех пор он перестал спать и повредился в рассудке.

А гномы в их краях есть? Да, в сумерках здесь шныряет всякая мелкая нечисть. В коровнике живет маленький гном, и внучата частенько его видят. Вреда от него нет никакого, если ему не докучать и ставить для него в угол миску с овсяной кашей. А вот смеяться над ним нельзя. Как-то железнодорожный инженер, который должен был строить мост через реку, переночевал в Форстугане. Он напился, плюнул в миску с кашей и сказал: «Будь я проклят, если гномы существуют!» Когда вечером он возвращался по льду через озеро, его лошадь поскользнулась, упала и была разорвана волками. Наутро люди, возвращаясь из церкви, нашли его замерзшим в санях. Двух волков он застрелил из ружья. Не будь ружья, они бы и его съели.

– А далеко ли от Форстугана до соседнего селения?

– Восемь часов езды по лесу на хорошей лошади.

– Когда я час назад шел через лес, я слышал коровьи колокольчики. Наверное, в ваших местах много скота?

Ларс Андерс выплюнул табачную жвачку и сказал только, что я ошибся, ближе чем в ста милях в лесах нет ни одного стада, а его собственные четыре коровы стоят в коровнике.

Я повторил, что совершенно отчетливо слышал в чаще колокольчики – я еще подумал, не серебряные ли они, так мелодичен был их звон. Ларс Андерс и матушка Керстин тревожно переглянулись, но ничего не сказали. Я пожелал им спокойной ночи и отправился в свою каморку над коровником. За окном чернел безмолвный лес. Я зажег сальную свечку на столе и улегся на овчину, усталый и сонный от долгой ходьбы. Некоторое время я слушал, как коровы жуют свою жвачку, потом где-то далеко в лесу заухала сова; я глядел на мерцающий огонек огарка, его тусклый свет нежил мои глаза – ведь я не видел сальных свечей с тех пор, как кончилось мое детство. Мои веки смыкались, но мне казалось, что я вижу, как маленький мальчик темным зимним утром идет по глубокому снегу в школу: за спиной у него ранец с книгами, а в руке точно такой же сальный огарок. Ученикам полагалось приносить из дому свечу, чтобы освещать свою парту. Некоторые мальчики приносили толстые свечи, другие тонкие, вроде той, которая сейчас горела на столе. Я был богатым учеником, и на моей парте горела толстая свеча. На соседней парте горела самая тонкая свечка в классе, так как мать моего соседа была очень бедна. Но на рождественских экзаменах я провалился, а он выдержал лучше всех в классе, потому что у него было больше света в голове.

Мне почудилось на столе какое-то шуршание. Вероятно, я задремал, так как свеча уже догорала. Тем не менее я отчетливо разглядел человечка ростом с мою ладонь; он сидел на столе, скрестив ноги, осторожно трогал цепочку моих часов с репетиром и, склонив набок старую, седую голову, прислушивался к их тиканью. Он был так поглощен этим занятием, что не заметил, как я приподнялся на постели. Вдруг он меня увидел, бросил часовую цепочку, с ловкостью матроса соскользнул по ножке стола на пол и побежал к двери со всей быстротой, на какую были способны его крохотные ножки.

– Не бойся, маленький гном! – сказал я. – Ведь это только я! Не убегай, и я покажу тебе, что находится в золотой коробочке, которая так тебя интересует. Она может звонить, как звонят в церкви по воскресеньям.

Он остановился и посмотрел на меня добрыми глазками.

– Не понимаю! – сказал гном. – По запаху я решил, что тут ребенок, а то бы я не пришел сюда, но у тебя вид взрослого мужчины... Подумать только! – вдруг воскликнул он и

вскарабкался на стул, который стоял у постели. – Подумать только, какая удача! Встретить тебя тут, в этой глуши! Ты остался таким же ребенком, каким был, когда я видел тебя в последний раз в детской вашего старого дома, – иначе ты не увидел бы меня сегодня вечером, когда я залез на стол. Разве ты меня не узнаешь? Ведь это я, когда в доме все засыпали, приходил каждую ночь в твою детскую, чтобы всё уладить и разогнать дневные горести. А ты всегда приносил мне кусок сладкого пирога в день твоего рождения, и еще орехи, изюм и всякие сладости с елки; и ты никогда не забывал поставить мне миску с кашей. Почему ты покинул свой старый дом в глубине большого леса? Тогда ты всё время смеялся. Почему теперь ты так печален?

– Потому что мои мысли не дают мне покоя, я нигде не могу долго оставаться, я не могу забыть, я не могу спать.

– Совсем как твой отец. Я столько раз видел, как он всю ночь напролет ходил взад и вперед по спальне.

– Расскажи мне про моего отца, я почти его не помню.

– Твой отец был странный человек, мрачный и молчаливый. Он был добр к беднякам и животным, но сурово обходился со своими близкими. Тебя он часто бил, но, правда, ты был трудным ребенком. Ты никого не слушался, и казалось, что ты никого не любишь – ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру. Правда, по-моему, ты любил свою кормилицу. Ты еще помнишь Лену? Больше ее никто не любил, и все ее боялись. Взяли ее только потому, что твоя мать не могла тебя кормить. Никто не знал, откуда она. Кожа у нее была смуглая, как у лапландки, которая привела тебя сюда, но только она была гораздо выше. Давая тебе грудь, она пела на каком-то неизвестном языке, а кормила она тебя до двухлетнего возраста. Никто, даже твоя мать, не смел к тебе подходить, потому что кормилица рычала, как волчица, если кто-нибудь хотел взять тебя из ее рук. В конце концов ее рассчитали, но она вернулась ночью и попыталась тебя украсть. Твоя мать так испугалась, что снова приняла ее в дом. Она приносила тебе всяких зверей, чтобы ты с ними играл: летучих мышей, ежей, белок, крыс, змей, сов и ворон. Я своими глазами видел, как она надрезала шею ворона и добавила несколько капель его крови тебе в молоко. Однажды, когда тебе было четыре года, пришел начальник полиции с двумя полицейскими, и они увели ее, надев на нее наручники. Говорили, что она что-то сделала со своим собственным ребенком. Весь дом обрадовался, а ты тяжело заболел. Больше всего тебе доставалось из-за твоих зверей. Твоя комната просто кишела ими, и они спали в твоей постели. Разве ты не помнишь, как жестоко тебя пороли за то, что ты прятал в постели яйца? Стоило тебе найти птичье яйцо, и ты тащил его в кровать, надеясь высидеть птенца. Но маленький ребенок, конечно, не мог не заснуть ночью, и каждое утро твоя постель была полна раздавленных яиц, и каждое утро тебя секли, но ничто не помогало. А помнишь тот вечер, когда твои родители вернулись из гостей и увидели, что твоя сестра сидит под зонтиком на столе и кричит от ужаса? Твои питомцы сбежали из твоей комнаты, летучая мышь вцепилась ей в волосы, крысы, жабы и змеи ползали по полу, а в твоей кровати нашли целый выводок мышей. Отец жестоко тебя высек, а ты бросился на него и укусил собственного отца за руку. На другой день на рассвете ты удрал из дому, взломав ночью кладовую, чтобы взять на дорогу еды, и, разбив копилку сестры, ты забрал все ее сбережения, потому что сам никогда не копил денег. Весь день и всю ночь слуги тщетно тебя искали. Наконец твой отец, поскакавший в город, чтобы заявить в полицию, нашел тебя – ты спокойно спал в снегу у дороги, но твоя собака залаяла, когда он проезжал мимо. Я слышал, как лошадь твоего отца рассказывала в конюшне другим лошадям, что отец молча поднял тебя в седло, отвез домой и запер в темной комнате, где ты провел на хлебе и воде двое суток. На третий день тебя привели к отцу. Он спросил, почему ты убежал из дому. Ты сказал, что никто здесь тебя не понимает, и ты хотел уехать в Америку. Он спросил, сожалеешь ли ты, что укусил его руку. Ты сказал, что нет. На следующее утро тебя отправили в город в школу и домой взяли только на рождественские каникулы. В день рождества вы в четыре часа все поехали к заутрене. Когда вы переезжали через замерзшее озеро, за вами погналась волчья стая – зима стояла очень суровая, и волки совсем изголодались. Церковь сияла свечами, а по сторонам главного алтаря зеленели две рождественские елки. Прихожане стоя пели: «Приветствуем тебя, счастливейшее утро». Когда псалом кончился, ты попросил у отца прощения за то, что укусил его, и он погладил тебя по голове. На обратном пути ты пытался выпрыгнуть из саней и объяснил, что хочешь пойти по волчьим следам посмотреть, куда делись волки. К вечеру ты снова исчез, и тебя безуспешно искали всю ночь. Утром лесник нашел тебя под большой елкой, – ты сладко спал. Вокруг дерева было множество волчьих следов, и лесник сказал, что просто чудо, как волки тебя не разорвали. Но самое скверное случилось во время летних каникул, когда служанка нашла под твоей

кроватью человеческий череп с прядью рыжих волос на затылке. Твоя мать упала в обморок, а отец выпорол тебя так, как еще никогда не порол, и снова запер в темной комнате. Оказалось, что ночью ты поехал на своей лошадке на деревенское кладбище, проник в склеп и унес череп, лежавший на груде костей. Священник, который раньше был директором школы для мальчиков, сказал твоему отцу, что ему не приходилось слышать, чтобы десятилетний мальчик совершал столь ужасный грех, противный и богу и людям. На твою мать, женщину очень набожную, это произвело страшное и неизгладимое впечатление. Она, казалось, начала тебя бояться – и не только она. Она говорила, что не понимает, как она могла дать жизнь такому чудовищу. Твой отец говорил, что ты не его сын, а дьявольское отродье. Старая экономка считала, что во всем виновата кормилица, которая заколдовала тебя, подмешав тебе что-то в молоко и повесив тебе на шею волчий коготь.

– Неужели всё, что ты рассказываешь о моем детстве, – правда? Да, пожалуй, я был очень странным ребенком!

– Всё, что я тебе рассказал, – чистейшая правда, – ответил гном. – За то, что ты рассказываешь другим, я не отвечаю. Действительность и мечта сливаются для тебя воедино, как у всех детей.

– Но ведь я не ребенок. В следующем месяце мне исполнится двадцать семь лет.

– Нет, большой ребенок, иначе ты не увидел бы меня. Только дети могут видеть нас, гномов.

– А сколько тебе лет, человечек?

– Шестьсот. Я знаю это потому, что я родился в один год со старой елью перед окном твоей детской, на которой свила гнездо большая сова. Твой отец всегда говорил, что это самое старое дерево во всем лесу. Разве ты не помнишь большую сову, не помнишь, как она сидела у самого окна и смотрела на тебя круглыми глазами?

– А ты женат?

– Нет, я еще холостой, – сказал гном, – а ты?

– Пока нет, но...

– И не женись! Мой отец часто повторял нам, что женитьба – дело рискованное, и недаром есть присловье, что тещу надо выбирать осторожно!

– Шестьсот лет! Неужели? А по виду никак не дашь тебе столько. Я бы ни за что об этом не догадался, глядя, как ты соскользнул по ножке стола и побежал по полу, когда заметил, что я проснулся.

– Ну, ноги мне служат еще хорошо, только вот глаза стали что-то уставать, и днем я почти ничего не вижу. А еще у меня бывает какой-то странный шум в ушах – это началось с тех пор, как вы, люди, принялись устраивать эти ужасные взрывы в наших горах. Некоторые гномы говорят, что вы задумали отнять у троллей их золото и железо. Другие утверждают, будто вы готовите нору для этой огромной желтой змеи с двумя черными полосками на спине, которая, извиваясь, ползет через поля, леса и потоки, изрыгая дым и огонь. Мы все боимся ее, все звери в лесах и полях, все птицы в небе, все рыбы в реках и озерах, и даже тролли в недрах гор в ужасе бегут на север при ее приближении. А что будет с нами, бедными гномами? А что станется с детьми, когда не будет нас, чтобы нашептывать нм во сне наши сказки и охранять их мечты? А кто будет заботиться о лошадях в конюшнях и присматривать, чтобы они не падали на льду и не ломали ног? Кто станет будить коров и помогать им ухаживать за новорожденными телятами? Видишь ли, наступили тяжелые времена – что-то в нашем мире не так, и нигде нет покоя. Этот постоянный шум и грохот действуют мне на нервы! Но я не могу дольше с тобой оставаться. Совы уже засыпают, все ночные звери уходят в свои логовища, белки уже грызут еловые шишки, скоро запоет петух и за озером опять загремят ужасные взрывы. Больше я не в силах этого терпеть. Я ухожу отсюда, и нам настало время прощаться. До восхода солнца я должен добраться до Кебнекайзе.

– Кебнекайзе? Но до Кебнекайзе отсюда не одна сотня миль, так как же ты, скажи на милость, доберешься туда на своих коротких ножках?

– Какой-нибудь журавль или дикий гусь подвезет меня туда. Они сейчас собираются там, готовясь к перелету в страны, где нет зимы. На худой конец, я доеду на спине медведя или волка – все они в дружбе с нами, гномами. Ну, мне пора.

– Не уходи! Побудь со мной еще немножко, и я покажу тебе, что находится и золотой коробочке, которая тебя так заинтересовала.

– А что у тебя в золотой коробочке? Какой-нибудь зверь? Мне показалось, что я слышал, как бьется его сердце.

– Ты слышал, как бьется сердце Времени.

– А что такое Время?

– Этого я не могу тебе объяснить, да и никто другой не смог бы. Говорят, Время слагается из трех разных вещей: прошлого, настоящего и будущего.

– И ты всегда носишь его с собой в этой золотой коробочке?

– Да, оно никогда не отдыхает, никогда не спит и никогда не устает повторять мне одно и то же слово.

– И ты понимаешь, что оно говорит?

– Увы, да! Каждую секунду, каждую минуту, каждый час и днем и ночью оно мне говорит, что я становлюсь старше, что я должен умереть. Скажи мне, человечек, пока ты еще не ушел, – ты боишься смерти?

– Боюсь чего?

– Того дня, когда твое сердце перестанет биться, винтики и колесики всего механизма рассыплются, твои мысли остановятся и твоя жизнь погаснет, как огонек этого огарка на столе.

– Кто забил тебе голову такими глупостями? Не слушай голоса в золотой коробочке. «Прошлое, настоящее, будущее», – какая нелепость. Разве ты не понимаешь, что всё это одно и то же? Разве ты не понимаешь, что в этой золотой коробочке кто-то смеется над тобой? На твоем месте я бы бросил ее в реку, чтобы утопить сидящего в ней злого духа. Не верь тому, что он говорит, – он лжец! Ты навсегда останешься ребенком, ты никогда не состаришься, никогда не умрешь. Приляг и поспи немного. А потом над верхушками елей взойдет солнце, в окно заглянет новый день, и при его свете ты будешь видеть всё гораздо яснее, чем при свете сальной свечки. А теперь мне пора. Прощай, мечтатель! Рад был повидать тебя.

– А я – тебя, маленький гном!

Он соскользнул со стула у моей постели и, топоча деревянными башмаками, побежал к двери. Пока он искал в кармане ключ, он вдруг разразился таким громким смехом, что должен был схватиться обеими руками за живот.

– Смерть! – заливался он. – Подумать только! Ничего подобного в жизни не слышал! Какие же они близорукие дураки, эти большие обезьяны, по сравнению с нами, маленькими гномами. Смерть! Ну, и глупость же, клянусь повелителем гномов!

Когда я, проснувшись, посмотрел в окно, земля побелела от снега. В вышине слышалось хлопанье крыльев и крики диких гусей. Счастливого пути, маленький гном!

Пока я завтракал овсяной кашей с парным молоком и пил чудесный кофе, дядюшка Ларс рассказал мне, что ночью он два раза поднимался с постели: собака всё время беспокойно рычала, как будто она что-то видела или слышала. Ему самому показалось, что он видит около дома крадущийся темный силуэт, похожий на волка. Ему послышались голоса в коровнике, но он понял, что это я разговариваю во сне, и успокоился. Куры кудахтали всю ночь.

– Видишь? – сказал дядюшка Ларс, указывая на след, ведущий по свежему снегу прямо к моему окну. – Их было не меньше трех. Я живу здесь более тридцати лет и никогда не видел следов волчьей стаи так близко от дома. А вон там, видишь? – Он указал на другие следы, величиною с человеческие. – Я сначала не поверил своим глазам. Не будь я Ларс Андерс, если здесь сегодня не побывал медведь. Последний раз я убил медведя в этом лесу десять лет назад. А слышишь стрекотание на большой ели у коровника? Их там десятка два, не меньше. Мне еще не приходилось видеть столько белок на одном дереве! А ты слышал, как всю ночь ухала сова в лесу, а на озере кричал нырок? И как на рассвете вокруг дома кружил козодой? Я ничего не понимаю – обычно ночью в лесу тихо, как в могиле. Зачем приходили сюда все эти звери? Ни Керстин, ни я не сомкнули глаз всю ночь. Керстин думает, что лапландка околдовала дом, но та уверяет, что прошлым летом крестилась в Рюкне. Только с лапландцами надо держать ухо востро – они все колдуны и знаются со всякой чертовщиной. Ну, да на рассвете я ее проводил: ходит она быстро и до заката будет в лапландской школе в Рюкне. А ты когда отправляешься?

Я сказал, что никуда не спешу и с удовольствием пробуду тут еще дня два – мне очень нравится Форстуган. Дядюшка Ларс сказал, что вечером вернется его сын и мне негде будет ночевать. Я ответил, что могу спать в сарае – я люблю запах сена. Ни дядюшке Ларсу, ни матушке Керстин этот план не понравился. Я почувствовал, что они хотят от меня отделаться – они не разговаривали со мной, и казалось даже, что они меня боятся.

Я спросил дядюшку Ларса про незнакомца, который ночевал у них за два дня до меня и съел весь хлеб. Он не знал ни слова по-шведски, сказал Лари Андерс.

Лапландец из Финляндии, который нес его рыболовные снасти, объяснил, что они заблудились. Они совсем изголодались и съели всё, что было в доме. Дядюшка Ларс показал мне монету, которую незнакомец подарил их внучатам, как они ни отказывались, – неужели это и вправду золото?

Это был английский соверен. На полу у окна лежал номер «Таймс», адресованный сэру Джону Скотту. Я развернул газету и прочел гигантский заголовок:

«Страшная эпидемия холеры в Неаполе! Свыше тысячи случаев ежедневно».

Час спустя у дверей стоял Пелле, внук дядюшки Ларса, с мохнатой норвежской лошадкой. Дядюшка Ларс был поражен, когда я предложил ему заплатить хотя бы за провизию, которой он наполнил мой рюкзак, и сказал, что это неслыханная вещь. Он сказал, что мне нечего опасаться: Пелле прекрасно знает дорогу. В это время года поездка будет легкой и приятной: восемь часов езды лесом до Рюкне, три часа вниз по реке в лодке Лисса Иокума, шесть часов пешком через гору до села, два часа по озеру до Лоссоярви, оттуда восемь часов по хорошей дороге к новой железнодорожной станции. Пассажирские поезда еще не ходят, но машинист, конечно, позволит мне проехать, стоя на паровозе, двести миль, а там я сяду на товарный поезд.

Дядюшка Ларс был прав: поездка оказалась легкой и приятной – во всяком случае, так считал я в ту пору. Но знаю, как понравилась бы она мне теперь! Столь же легка и приятна была поездка через Центральную Европу в скверных поездах того времени, когда я почти не смыкал глаз. Из Лапландии – в Неаполь, взгляните на карту!

Глава VIII. Неаполь

Если кого-нибудь заинтересует мое пребывание в Неаполе,[65] ему следует обратиться к «Письмам из скорбного города» – только вряд ли их удастся найти, так как эта книжечка давно не переиздавалась и всеми забыта. Сам я только что с большим интересом перечитал «Письма из Неаполя», как назывался шведский оригинал. Теперь я даже ради спасения жизни не сумел бы написать такую книгу. В этих письмах много мальчишеского задора и еще больше самодовольства, чтобы не сказать – чванства. Я, очевидно, гордился тем, что бросился из Лапландии в Неаполь, когда все оттуда бежали. Я весьма хвастливо рассказываю, как все дни напролет провожу в зараженных трущобах, покрытый вшами, питаюсь гнилыми фруктами, а ночую в грязном трактире. Но всё это чистая правда, и мне нечего взять назад: я описал холерный Неаполь таким, каким видел его тогда глазами энтузиаста.

Но себя я изобразил далеко не столь верно. У меня хватило наглости написать, будто я не боялся холеры, не боялся смерти. Я солгал. С начала и до конца я боялся их – боялся отчаянно. В первом письме я описал, как я, измученный тошнотворным запахом карболки, поздно вечером вышел из пустого поезда на пустынную площадь, как я увидел на улицах вереницы набитых трупами повозок и омнибусов, которые везли их на холерное кладбище, как я провел всю ночь среди умирающих в жалких трущобных харчевнях. Но я ничего не сказал о том, как через два часа после приезда вернулся на вокзал и нетерпеливо справлялся, когда будет поезд – в Рим, в Калабрию, в Абруццы, куда угодно, лишь бы подальше от этого ада! Если бы поезд отходил скоро, то «Письма из скорбного города» не были бы написаны. Однако до полудня следующего дня никаких поездов не было, так как сообщение с зараженным городом почти прекратилось. Мне оставалось только искупаться на рассвете около Санта-Лючии вернуться в трущобы, несколько освежившись, но всё еще дрожа от страха. Днем я предложил свои услуги холерной больнице Санта-Маддалена. Через два дня я ушел из больницы, так как понял, что мое место не среди умирающих в больнице, а среди умирающих в трущобах.

Насколько легче было бы и им и мне, если бы их агония не была такой долгой и ужасной! Час за часом, день за днем они лежали холодные, словно трупы, с остекленевшими глазами и открытым ртом – как будто мертвые, но еще живые. Сохраняли ли они еще способность чувствовать и понимать? Счастливы были те, кто мог проглотить чайную ложку опия, которую торопливо вливал им в рот какой-нибудь доброволец Белого Креста. Во всяком случае, у них был шанс уснуть последним сном до прихода солдат и полупьяной похоронной команды, являвшейся

[65] **В.Э.:** Эпидемия холеры в Неаполе, на которую поехал 26-летний Мунте, вспыхнула в 1884 году.

ночью, чтобы сбросить их в огромную яму на Холерном поле. Скольких сбросили туда еще живыми? Я полагаю – сотни и сотни. Умирающие и покойники с виду были совершенно одинаковы, и даже я не всегда мог различить их. А времени терять было нельзя, трупы валялись в домах десятками, и строжайший приказ запрещал откладывать погребение до утра.

Когда эпидемия достигла наивысшей точки, мне уже не приходилось жаловаться на то, что агония длится слишком долго. Люди стали падать на улице, точно сраженные молнией, – их подбирали полицейские, везли в больницу, и через несколько часов они умирали там. Извозчик, который утром бойко отвез меня в тюрьму Гранателло около Портичи с тем, чтобы вечером доставить обратно в Неаполь, лежал мертвым в пролетке, когда я вышел к нему. В Портичи никто не захотел помочь мне вынести его из пролетки, все отказывались даже прикоснуться к нему. Мне пришлось сесть на козлы и отвезти его в Неаполь. Там повторилась та же история, и в конце концов я должен был сам доставить его на холерное кладбище.

Иногда к вечеру я так уставал, что бросался на кровать не раздеваясь и даже не умывшись. Да какой смысл был мыться этой грязной водой, какой толк был дезинфицироваться, когда всё кругом было заражено: пища, которую я ел, вода, которую я пил, кровать, на которой я спал, воздух, которым я дышал! Часто меня охватывал такой ужас, что я не решался ложиться спать, страшась одиночества. Тогда я выбегал на улицу и проводил остаток ночи в какой-нибудь церкви.

Любимым моим ночным убежищем была старинная церковь Санта-Мария-дель-Кармине, и нигде я не спал так сладко, как на скамье в левом ее приделе, когда я боялся вернуться домой. Я мог выбрать для ночлега любой неаполитанский храм. В сотнях церквей и часовен всю ночь пылали вотивные свечи, всю ночь их заполняли молящиеся. Статуи мадонн и святых не знали покоя ни днем, ни ночью, обходя заболевших своего прихода. Но им приходилось плохо, если они отваживались появиться в чужом приходе. Даже весьма почитаемая Мадонна Холерная, которая спасла город от холеры в 1834 году, была беспощадно освистана в Бьянки-Нуови.

Но я боялся не только холеры. С начала и до конца я жил в смертельном страхе перед крысами. В трущобах крысы чувствовали себя куда уютнее и вольготнее, чем обитавшие там бедняки. Надо отдать им справедливость: в общем это были безобидные и мирные крысы, не слишком досаждавшие живым и усердно выполнявшие обязанности мусорщиков, возложенные исключительно на них еще со времен Римской империи. Они были ручные, как кошки, и почти такого же размера.

Однажды в подвале, больше похожем на подземную пещеру, я увидел на тюфяке из гнилой соломы полуголую древнюю старуху, тощую как скелет. Ослепшая, разбитая параличом, она пролежала на этом тюфяке много лет. На замусоренном полу кружком расположился десяток гигантских крыс, пожиравших какие-то гнусные отбросы. Они невозмутимо взглянули на меня и продолжали завтракать. Старуха протянула костлявую руку и просипела: «Хлеба, хлеба!»

Однако когда санитарная служба сделала бесполезную попытку дезинфицировать клоаки, положение изменилось – и мой страх превратился в ужас. Миллионы крыс, которые спокойно жили в клоаках со времени римлян, хлынули в город. Обезумевшие от серных паров и карболовой кислоты, они метались по трущобам как бешеные. Никогда я не видел таких крыс: лысые, с удивительно длинными красными хвостами, налитыми кровью глазами и острыми, черными зубами, длинными, как у хорька. Если такую крысу ударяли палкой, она в ярости вцеплялась в палку мертвой бульдожьей хваткой. Ни одного животного я в жизни не боялся так, как этих бешеных крыс. Они терроризировали весь Бассо-Порто. В первый же день их вторжения в больницу Пеллегрини привели более ста искусанных мужчин, женщин и детей. Несколько младенцев были съедены в буквальном смысле слова. Я никогда не забуду одну ночь в трущобах Виколо-делла-Дукесса. Темный подвал освещала только крохотная лампада перед статуей мадонны. Отец семьи умер за два дня до этого, но его труп всё еще лежал в каморке, укрытый лохмотьями, – близкие сумели спрятать его от похоронной команды, как это часто делалось в трущобах. Я сидел на полу рядом с больной девочкой и палкой отгонял крыс. Она уже совсем похолодела, но оставалась в сознании. И всё время я слышал, как крысы грызут труп ее отца. Это так действовало мне на нервы, что я поставил мертвеца стоймя в углу, как часы. Крысы тут же принялись грызть его ноги. Я был не в состоянии вынести этого и вне себя от ужаса бросился бежать.

Аптека Сан-Дженнаро также была моим любимым прибежищем, когда я не мог оставаться один. Она была открыта днем и ночью. Дон Бартоло был всегда на ногах и без отдыха составлял разнообразные микстуры и чудотворные снадобья из порошков, хранившихся в фаянсовых

байках XVII века с латинскими названиями, большинство которых было мне неизвестно. На низком шкафчике красовались две–три большие стеклянные колбы с заспиртованными змеями и человеческим эмбрионом. Перед изображением святого Януария, покровителя Неаполя, горела лампада, а с потолка среди паутины свисала набальзамированная двухголовая кошка. Специальностью аптеки была знаменитая противохолерная микстура дона Бартоло. На одной стороне бутыли был изображен святой Януарий, а на другой – череп с надписью: «Смерть холере!» Рецепт был семейным секретом, передававшимся от отца к сыну со времени эпидемии 1834 года, когда это средство при содействии святого Януария спасло город. Другое специальное средство хранилось в таинственной бутыли с этикеткой в виде сердца, пронзенного стрелой амура. Это был любовный напиток, тоже семейный секрет, пользовавшийся, как я слышал, большим спросом. Клиентами дона Бартоло были главным образом обитатели соседних монастырей. У прилавка всегда сидели священники и монахи, оживленно обсуждали события дня и новые чудеса того или иного святого, а также сравнивали чудотворную силу различных мадонн. Бог упоминался очень редко, а сын божий – никогда. Однажды я отважился сказать старому монашку, с которым был особенно дружен, что меня удивляет, почему в их спорах не слышно имя Христа. Старичок охотно сообщил мне, что, по его мнению, не будь Христос сыном мадонны, его и не почитали бы вовсе. Насколько ему было известно, Христос никогда никого не спасал от холеры. Его пресвятая матерь все глаза из-за него выплакала, а как он ей отплатил? «Жено, – сказал он ей, – что мне до тебя?»

– Perciò ha finito male, – вот почему он так плохо кончил!

С приближением субботы имена святых и мадонн упоминались в разговорах всё реже. Вечером в пятницу посетители аптеки, отчаянно жестикулируя, обсуждали завтрашнюю лотерею.

– Тридцать четыре, шестьдесят девять, сорок три, семнадцать! – звучало со всех сторон.

Дону Антонио приснилось, что его тетушка вдруг скончалась и оставила ему пять тысяч лир. Внезапная смерть – 49; деньги – 70. Дон Онорато советовался с горбуном на виа Форчелла и твердо знал свои счастливые номера – 9, 39, 20. Кошка дона Бартоло родила ночью семерых котят – номера 7, 16, 64. Дон Дионизно только что прочел в газете, что разбойник пырнул ножом цирюльника. Цирюльник – 21, нож – 41. Дон Паскуале узнал счастливый номер от кладбищенского сторожа, которому назвал его голос из могилы – 48.

В аптеке Сан-Дженнаро я познакомился с доктором Виллари. Дон Бартоло рассказал мне, что он приехал в Неаполь два года назад и был помощником старого доктора Риспу, известного врача, услугами которого пользовались все монастыри этой части города. После смерти патрона молодой помощник унаследовал его практику.

Мне были приятны наши встречи, так как я сразу почувствовал к нему большое расположение. Он был удивительно красив, любезен, сдержан и совсем не похож на неаполитанца. Он был родом из Абруццы. От него я впервые услышал о монастыре Сепольте-Вяве – Заживо Погребенных, мрачном старом здании на углу улицы с маленькими готическими окнами и тяжелыми чугунными воротами, тихом и угрюмом, как могила.

Правда ли, что монахинь вносили в эти ворота в гробу и в саване и до смерти они уже не переступали порога монастыря?

Да, совершенно верно, – монахиням запрещено всякое общение с внешним миром. Когда его вызывают туда, что случается очень редко, впереди него по коридору идет старая монахиня и звонит в колокольчик, чтобы сестры успели затвориться в кельях.

А правда ли то, что я слышал от их духовника падре Ансельмо: будто в монастырском саду есть много античных произведений искусства?

Да, он там видел много мраморных обломков и слышал, что монастырь стоит на развалинах греческого храма.

Казалось, моему коллеге нравится беседовать со мной. Он объяснил, что в Неаполе у него нет друзей – как все его земляки, он ненавидел и презирал неаполитанцев. Теперь же всё то, чему он стал свидетелем после начала эпидемии, еще усилило его отвращение к ним. Наверное, бог покарал их погрязший в пороках город. Содом и Гоморра не шли ни в какое сравнение с Неаполем. Разве я не видел, что происходит в кварталах бедноты, на улицах, в зараженных домах и даже в церквях, пока неаполитанцы молятся одному святому и проклинают другого? Лихорадка похоти охватила город – безнравственность и разврат даже перед лицом смерти! Ни одна приличная женщина не решается выходить из дому, чтобы не подвергнуться нападению.

Он, по-видимому, не боялся холеры и сказал, что мадонна его защитит. Как я завидовал его вере! Он показал мне два образка, которые жена ему повесила на шею в день вспышки эпидемии, – на одном была изображена Мадонна-дель-Кармине, а на другом святая Лючия, небесная заступница его жены, которую зовут Лючия. Она носила этот образок с самого детства. Я сказал, что хорошо знаю святую Лючию, знаю, что она исцеляет болезни глаз. Я не раз собирался поставить ей свечку, потому что уже много лет боюсь ослепнуть.

Он сказал, что попросит жену помянуть меня, когда она будет молиться святой, которая сама лишилась зрения, но потом стольким его возвратила! Его жена, рассказывал он мне, весь день сидит у окна и ждет его возвращения. У нее на свете есть только он, так как она вышла за него против воли родителей. Он отослал бы ее из зараженного города, но она отказывается покинуть его. Я спросил, не боится ли он смерти. Только из-за жены, ответил он. Ведь смерть от холеры так ужасна! И лучше, чтобы твое тело сразу свезли на кладбище, так чтобы его не увидели любящие глаза.

– Ну, с вами ничего не случится, – сказал я. – За вас кто-то молится, а у меня нет никого!

Его красивое лицо омрачилось.

– Обещайте мне, если...

– Не будем говорить о смерти, – вздрогнув, прервал я его.

Маленькая остерия «Дель-Аллегрия» за площадью Меркато была моим любимым местом отдыха. Кормили там скверно, но вино было прекрасное, по шесть сольди за литр, и я пил его в большом количестве. Когда у меня не хватало духу пойти домой, я нередко засиживался там почти до утра. Чезаре, ночной официант, вскоре стал большим моим приятелем, и после третьего случая холеры в моем трактире я переехал в пустую комнату в доме, где он жил. Моя новая квартира оказалась не чище прежней, но в одном Чезаре не ошибся: куда приятнее было «иметь общество». Его жена умерла, но Мариучча, его дочь, была жива, и даже очень. Она считала, что ей пятнадцать лет, но она была уже в полном расцвете – черноглазая, с сочными красными губами, она походила на маленькую Венеру из Капитолийского музея. Она стирала мое белье, готовила мне макароны и стелила постель, когда не забывала об этом. До того времени она не видела ни одного иностранца. Она постоянно появлялась у меня в комнате то с гроздью винограда, то с ломтем арбуза или с тарелкой винных ягод. А когда ей нечего было мне предложить, она вынимала розу из своих темных кудрей и протягивала ее мне с обворожительной улыбкой сирены и лукавым взглядом, который, казалось, спрашивал, не предпочел бы я цветку ее алые губки. Целый день в кухне звенел ее громкий голос:

– Amore! Amore![66] – пела она.

Всю ночь я слышал, как она ворочается на своей кровати за перегородкой. Она объясняла, что ей не спится, что ей страшно оставаться одной по ночам страшно dormire sola.[67] А мне не страшно dormire solo?

– Вы спите, синьорино? – шепотом спрашивала она из-за перегородки.

Нет, я не спал, я не мог сомкнуть глаз – как и ей, мне не нравилось dormire solo.

Какой новый страх заставлял биться мое сердце с такой силой и с лихорадочной быстротой гнал по жилам мою кровь? Почему, когда я дремал в боковом приделе церкви Санта-Мария-дель-Кармине, я прежде никогда не замечал всех этих красивых девушек в черных мантильях, которые, стоя на коленях на мраморном полу, молились и пели, и исподтишка мне улыбались? Как мог я ежедневно проходить мимо торговки фруктами на углу и не останавливаться, чтобы поболтать с ее дочкой Нанниной, чьи щечки походили на персики, которые она продавала? Почему я раньше не заметил, что цветочница на площади Меркато улыбается так же чарующе, как Весна Боттичелли? Каким образом я умудрился провести столько вечеров в остерии «Дель-Аллегро» и не заметить, что в голову мне ударяет вовсе не вино, а лукавый блеск в глазах Кармелы? Как случилось, что я слышал лишь стоны умирающих и похоронный звон колоколов, когда на всех улицах раздавался смех и любовные песни, а на каждом крыльце девушки шептались со своими возлюбленными.

O Mari', o Mari', quanto sonno ho perso per te.
Fammi dormire
Abbracciato un pococonte,[68]

---

[66] Любовь! Любовь! (итал.).

[67] Спать одной (итал.).

пел юноша под окном Мариуччи.

– О, Карме! О, Карме, – пел другой под окошком остерии.

– Vorrei baciare i tuoi capelli neri,[69] – доносилось с площади Меркато.

– Vorrei baciare i tuoi capelli neri, – звучало в мои ушах, когда я лежал на своей кровати, прислушиваясь к дыханию Мариуччи, спящей по ту сторону перегородки.

Что случилось со мной? Не околдовала ли меня ведьма? Или кто-нибудь из этих девушек подлил мне в вино несколько капель любовного напитка дона Бартоло? Что случилось со всеми окружающими меня людьми? Опьянели они от молодого вина или обезумели от похоти перед лицом смерти?

Morto la colera, evviva la gioia![70]

Я сидел в остерии за своим обычным столиком и дремал над стаканом вина. Было уже далеко за полночь, я решил дождаться, когда Чезаре кончит работать, чтобы пойти домой вместе с ним. Ко мне подбежал какой-то мальчишка и протянул мне записку. «Придите», – было нацарапано неразборчивыми каракулями.

Пять минут спустя мы уже были перед чугунным воротами монастыря Сепольте-Виве. Меня впустила старуха монахиня и повела через монастырский сад, звоня в колокольчик. Мы прошли по пустому бесконечному коридору, затем другая монахиня поднесла фонарь к моему лицу и открыла дверь тускло освещенной кельи. Там на полу на соломенном тюфяке лежал доктор Виллари. Я едва его узнал. Падре Ансельмо давал ему последнее причастие. Он уже совсем похолодел, но по его глазам понял, что он в сознании. Я взглянул на его лицо и вздрогнул от ужаса – это был уже не мой приятель, сама Смерть, жуткая, отвратительная Смерть. Раза два он приподнял руку, пытаясь указать на меня, его страшное лицо подергивалось от отчаянных усилий, и наконец искаженные губы внятно произнесли specchio.[71] После некоторой задержки монахиня принесла маленькое зеркальце, которое я поднес к его полузакрытым глазам. Он покачал головой и больше уже не подавал никаких признаков жизни. Через час его сердце остановилось.

У ворот стояла повозка, приехавшая за телами двух умерших в тот день монахинь. Я знал, что от меня зависит, увезут ли его вместе с ними или оставят до следующего вечера. Мне поверили бы, скажи я, что он еще жив, – он выглядел таким же, каким был, когда я пришел. Я ничего не сказал. Через два часа его труп был сброшен с сотнями других в общую могилу на холерном кладбище, ибо я понял, почему он указал на меня и почему покачал головой, когда я подержал зеркало перед его глазами. Он не хотел, чтобы его жена увидела то, что увидел в зеркале он. И он хотел, чтобы я пошел к ней, когда всё будет кончено.

Подходя к его дому, я увидел в окне бледное лицо женщины, почти девочки. Когда я отворил дверь, она попятилась с ужасом в глазах.

– Ты иностранный доктор, о котором он мне так часто рассказывал. Он не приходил – я всю ночь простояла у окна. Где он?

Накидывая на плечи мантилью, она бросилась к дверям.

– Отведи меня к нему, я должна его сейчас же увидеть!

Я удержал ее, сказал, что сначала должен поговорить с ней. Я сказал, что он заболел в монастыре Сепольто-Виве, что весь монастырь заражен и ей нельзя пойти туда; она обязана думать о ребенке, которому должна дать жизнь.

– Помоги мне спуститься по лестнице! Я должна сейчас же идти к нему. Почему ты не хочешь мне помочь? – рыдала она и вдруг, испустив пронзительный вопль, почти без чувств упала на стул.

– Это не правда, он не умер! Почему ты молчишь? Ты лжец! Он не мог умереть, не повидав меня!

Она снова кинулась к двери.

– Я должна его увидеть! Должна!

Я снова ее удержал.

– Вы его не увидите. Его там нет, он...

Она прыгнула на меня как раненый зверь.

---

[68] О Мари, Мари, сколько сна ты у меня отняла, дай мне уснуть в твоих объятиях (итал.).

[69] Хотел бы я целовать твои черные волосы (итал.).

[70] Смерть холере, да здравствует радость! (итал.).

[71] Зеркало (итал.).

– Ты не имел права увозить его, пока я не посмотрела на него! – кричала она в ярости. – Он был свет моих очей, и ты отнял у меня свет! Лжец! Убийца! Святая Лючия, отними у него свет, как он отнял у меня свет моих очей! Выколи ему глаза, как ты их выколола себе самой!

В комнату вбежала старуха и кинулась на меня поднятыми руками, словно собираясь исцарапать мое лицо.

– Святая Лючия, отними у него зрение, ослепи его! – кричала она пронзительно. – Potess' essere cieca to, potess' essere ciecato, – неслось мне вслед, когда шатаясь, бежал вниз по лестнице.

Страшное проклятие, самое страшное, какое можно было только измыслить против меня, всю ночь раздавалось у меня в ушах. Я не пошел домой, я страшился темноты. Я провел остаток ночи в Санта-Мария-дель-Кармине и думал, что день никогда не наступит.

Когда я рано утром добрел до аптеки Сан-Дженнаро чтобы, по обыкновению, выпить глоток жизненного эликсира дона Бартоло – еще одного семейного снадобья, весьма эффективного, – оказалось, что туда заходил падре Ансельмо и просил передать мне, чтобы я немедленно побывал в монастыре.

В обители царило смятение: еще три монахини заболели холерой. Падре Ансельмо сказал, что после долгого совещания они с настоятельницей решили просить меня занять место моего умершего коллеги, так как другого врача нельзя было найти. По коридорам метались перепуганные монахини, другие молились и пели в часовне. Больные лежали в своих кельях на соломенных тюфяках. Одна из них к вечеру умерла. Утром заболела помогавшая мне старая монахиня. Ее заменила молодая монахиня, которую я уже заметил при моем первом посещении – да и не удивительно, так как это была юная девушка редкой красоты. Со мной она совсем не разговаривала и даже не ответила, когда я спросил, как ее зовут. Падре Ансельмо сказал, что это сестра Урсула. Вечером я объявил, что мне нужно поговорить с настоятельницей, и сестра Урсула проводила меня к ее келье. Старая настоятельница оглядела меня холодными, проницательными глазами, строго и испытующе, как судья. Ее лицо было неподвижно и безжизненно, как мраморное, а тонкие губы, казалось, никогда не улыбались. Я объяснил ей, что весь монастырь заражен, что санитарные условия из рук вон плохи, вода в садовом колодце вредоносна и они должны немедленно перебраться в другое место, иначе им всем грозит смерть.

Она ответила, что об этом не может быть и речи: таков устав их ордена, и еще ни одна монахиня не покидала монастыря иначе, чем в гробу. Им всем придется остаться в его стенах и уповать на мадонну и святого Януария.

Если не считать кратких посещений аптеки ради всё возрастающих доз жизненного эликсира дона Бартоло, я безвыходно провел в монастыре несколько страшных, незабываемых дней. Я должен был сказать падре Ансельмо, что мне нужно вино, и вина у меня было много, может быть, даже слишком много. Я почти не спал и, казалось, не нуждался в сне. Не думаю, что я сумел бы уснуть, даже будь у меня на то время – страх и бесчисленные чашки черного кофе привели мою нервную систему в возбуждение, исключавшее всякую усталость. Отдыхал я только в тех редких случаях, когда мне удавалось уйти в монастырский сад, где, сидя на старой мраморной скамье под кипарисами, я выкуривал одну папиросу за другой. Обломки античных статуй валялись по всему саду, и над колодцем был вкопан древний римский жертвенник. Теперь, он стоит во дворе Сан-Микеле. У самых моих ног лежал разбитый розовый фавн, а из-под ветвей кипариса выглядывал маленький Эрот, по-прежнему стоявший на колонне из африканского мрамора. Раза два я заставал на скамье сестру Урсулу, объяснившую мне, что она выходит подышать свежим воздухом, так как ей становится дурно от ужасного запаха, пропитавшего весь монастырь. Однажды она принесла мне чашку кофе и осталась ждать, чтобы унести чашку обратно, а я пил кофе как мог медленнее, чтобы удержать ее в саду подольше. Мне казалось, что она перестает дичиться и даже рада, что я медлю с возвращением чашки. Мои усталые глаза словно отдыхали, когда я смотрел на нее. А скоро это стало радостью, потому что она была прекрасна. Понимала ли она то, что говорили ей мои глаза – то, что не смели произнести мои губы: «Я молод, а ты красива!»? Иногда мне казалось, что она понимает всё.

Я спросил, почему она решила схоронить свою юность в монастыре. Неужели она не знает, что за этими стенами, где царят ужас и смерть, мир всё еще прекрасен, жизнь полна радости, а не только страданий?

– А знаете ли вы, кто этот мальчик? – сказал я, указывая на маленького Эрота под кипарисами.

Она всегда думала, что это ангел.

О нет, это был бог, самый великий из всех богов и может быть, самый древний. Он властвовал над Олимпом и всё еще властвует над нашим миром.

– Ваш монастырь построен на развалинах древнего храма, стены которого рассыпались в прах под воздействием времени и человеческих рук. Только этот мальчик стоит там, где стоял всегда с колчаном стрел в руке, готовый натянуть лук. Его нельзя разбить, потому что он бессмертен. Древние называли его Эротом, он – бог любви.

Не успел я произнести это кощунственное слово, как колокол часовни зазвонил к вечерне. Сестра Урсула перекрестилась и поспешила уйти из сада.

Вскоре за мной прибежала другая монахиня: настоятельница упала без чувств в часовне, и ее перенесли в келью. Настоятельница посмотрела на меня своими страшными глазами. Она подняла руку и указала на распятие, висевшее над кроватью, и ей принесли святые дары. Силы к ней не вернулись, она не произнесла ни единого слова, ее сердце билось всё слабее, и было ясно, что конец близок. Весь день она лежала так с закрытыми глазами, с распятием на груди и четками в постепенно холодеющих руках. Раза два мне казалось, что ее сердце еще бьется, но потом я не мог уже различить ничего. Я смотрел на неподвижное жестокое лицо старой настоятельницы, которое и смерть не могла смягчить. Я даже чувствовал какое-то облегчение при мысли, что ее глаза закрылись навсегда. Что-то в этих глазах меня пугало. Я взглянул на стоявшую рядом со мной сестру Урсулу.

– Я не могу здесь дольше оставаться, – сказал я, – я не спал с тех пор, как я здесь, у меня кружится голова, я сам не свой. Я больше не знаю, что я делаю, боюсь самого себя, боюсь тебя... боюсь...

Я не успел договорить, она не успела уклониться, как мои руки уже обняли ее, и я почувствовал бурное биение ее сердца рядом с моим.

– Pietà![72] – прошептала она.

Вдруг она указала рукой на кровать и с криком ужаса выбежала из комнаты. Прямо на меня смотрели глаз настоятельницы – широко открытые, грозные, страшные. Я наклонился, и мне показалось, что я слышу слабое трепетание сердца. Умерла она или еще жива? Могли эти ужасные глаза видеть, видели ли они? Заговорят ли вновь эти уста? Я не осмелился еще раз взглянуть на нее и, прикрыв ее лицо простыней, выбежал из кельи и покинул монастырь Сепольте-Виве, чтобы никогда больше туда не возвращаться.

На следующий день я упал в обморок на Страда-Пильеро. Когда я пришел в себя, я лежал в повозке, а на заднем сидении сидел перепуганный полицейский. Мы ехали в Санта-Маддалена, холерную больницу.

В другом месте я рассказал о том, как закончилась эта поездка, как три недели спустя мое пребывание в Неаполе завершилось чудесной прогулкой по заливу на лучшей парусной лодке во всем Сорренто в обществе десяти каприйских рыбаков и как мы целый день простояли на рейде у берегов Капри и не могли высадиться из-за карантина.

В «Письмах из скорбного города» я, разумеется, ни словом не упомянул о том, что произошло в монастыре Сепольте-Виве. Я не посмел рассказать об этом кому бы то ни было – даже моему старому другу доктору Норстрему, летописцу большинства грехов моей юности. Воспоминание о моем постыдном поведении преследовало меня долгие годы. И чем чаще я о нем думал, тем более непостижимым оно мне казалось. Что со мной случилось? Какая неведомая сила заставила меня потерять власть над моими чувствами, хотя и сильными, но обычно менее сильными, чем рассудок. Я не был в Неаполе новичком и не раз уже смеялся и болтал с пламенными девушками юга. На Капри летними вечерами я танцевал с ними тарантеллу. В худшем случае я мог сорвать у них поцелуй-другой, но я всегда оставался капитаном корабля, который легко подавляет любую попытку мятежа. В студенческие годы, проведенные в Латинском квартале, я едва не влюбился в сестру Филомену, прекрасную молодую монахиню в палате Святой Клары, но осмелился только протянуть ей руку в тот день, когда покидал больницу навсегда, и она даже не пожала моей руки. А здесь, в Неаполе, я готов был обнять первую встречную девушку, и несомненно сделал бы это, если бы не упал в обморок на Страда-Пильеро в тот самый день, когда поцеловал монахиню у смертного одра ее настоятельницы.

---

[72] Сжальтесь! (итал.).

Когда я теперь, через столько лет, оглядываюсь на эти неаполитанские дни, мое поведение по-прежнему представляется мне непростительным, но, быть может, теперь я сумею до известной степени объяснить его.

Столько лет наблюдая за битвой между Жизнью и Смертью, я не мог не узнать кое-чего об этих бойцах. Когда я впервые увидел Смерть в больничных палатах – это была лишь учебная схватка, детская игра по сравнению с тем, что я увидел потом. В Неаполе Смерть на моих глазах уносила более тысячи человек в день. В Мессине я видел, как она за одну минуту погребла под развалинами домов более ста тысяч мужчин, женщин и детей. Позднее я видел ее под Верденом, видел, как она руками по локоть в крови уничтожила четыреста тысяч человек, как косила цвет армии на полях Фландрии и на Сомме. И только когда я увидел, как Смерть работает с подобным размахом, мне стала понятна ее тактика. Захватывающее исследование, полное тайн и противоречий! Сначала всё кажется ужасающим хаосом, бессмысленной бойней, путаницей, слепым случаем. Не успеет Жизнь победоносно продвинуться вперед, размахивая новым оружием, как в следующее же мгновение ей приходится отступать перед торжествующей Смертью. На самом деле всё обстоит иначе. Эта битва даже в самых малейших деталях регулируется непреложным законом равновесия между Смертью и Жизнью. Там, где какая-то случайная причина нарушает это равновесие – будь то чума, землетрясение или войны, – бдительная Природа тотчас же начинает выравнивать чаши весов и создавать новые существа, которые заменили бы павших.

Подчиняясь необоримой силе Природы, мужчины и женщины падают в объятия друг друга, ослепленные сладострастием, и даже не подозревают, что рядом с ними стоит Смерть, держа в одной руке любовный напиток, а в другой – чашу вечного сна. Смерть – податель Жизни, губитель Жизни, начало и конец.

Глава IX. Снова в Париже

Вместо одного месяца я отсутствовал три. Я не сомневался, что многие из моих пациентов останутся у моего друга доктора Норстрема, который лечил их, пока меня не было. Однако я ошибся: они все вернулись ко мне – и те, кому стало лучше, и те, кому стало хуже, – вернулись, отзываясь с большой похвалой о моем коллеге, но и с не меньшей – обо мне. Я не имел бы ничего против, если бы они предпочли его: я и так был очень занят, а его практика, как я знал, всё сокращалась, и он даже вынужден был переехать с бульвара Осман в скромную квартирку на улице Пигаль. Норстрем неизменно был верным моим другом, много раз выручал меня в начале моей карьеры, когда я пробовал свои силы в хирургии, и всегда был готов взять на себя долю ответственности за мои частые ошибки. На память мне приходит история барона Б. Пожалуй, я расскажу ее, чтобы вы поняли, каким человеком был мой друг. Барон Б., старейший член шведской колонии, часто недомогал, и его лечил Норстрем. Однажды Норстрем, поддавшись своей злополучной робости, настоял, чтобы на консилиум пригласили меня. Барону я очень понравился – нового врача всегда считают хорошим, пока он не докажет обратного. Норстрем рекомендовал немедленную операцию, я был против. Барон написал мне, что ему надоел мрачный вид Норстрема, и просил меня стать его врачом. Я, конечно, отказался, но Норстрем сам пожелал передать мне этого пациента. Здоровье барона, казалось, улучшалось на глазах, и все меня поздравляли. Через месяц мне стало ясно, что Норстрем был прав в своем диагнозе, но что теперь уже поздно думать об операции; больной был обречен. Я написал его племяннику в Стокгольм, чтобы он приехал и отвез дядю умирать на родину. С большим трудом мне удалось уговорить старика – он не хотел со мной расставаться, утверждая, что я – единственный врач, который понял его болезнь. Через несколько месяцев племянник написал мне, что дядя завещал мне ценные золотые часы с репетиром на память о том, что я для него сделал. Я часто нажимаю кнопку репетира, чтобы звон часов напоминал мне, из чего слагается слава врача.

В последнее время отношения между Норстремом и мною несколько изменились. Всё чаще и чаще его больные обращались ко мне – чересчур часто! В тот день, о котором пойдет речь, один из них умер у меня на глазах; смерть тем более неприятная для Норстрема, что больной принадлежал к самым известным людям шведской колонии. Норстрем был чрезвычайно расстроен, и я повез его обедать в кафе «Режанс», чтобы он немного рассеялся.

– Объяснил бы ты мне секрет твоего успеха и моих неудач, – сказал Норстрем, мрачно уставившись на меня поверх бутылки сен-жюльена.

– Прежде всего это дело счастья, – сказал я. – Однако играет роль и разница в характере: я хватаю фортуну за волосы, а ты, засунув руки в карманы, смотришь, как она пролетает мимо. Я убежден, что ты гораздо лучше меня знаешь особенности человеческого организма и его болезни, зато я, пожалуй, лучше тебя знаю человеческую душу, хотя ты и вдвое меня старше. Ну для чего ты сказал русскому профессору, которого я послал к тебе, что у него грудная жаба, и описал ему все симптомы этой неизлечимой болезни?

– Он требовал, чтобы ему сказали правду, и я должен был ее сказать, иначе он не стал бы меня слушаться.

– Я ему ничего подобного не говорил, а он все-таки слушался меня беспрекословно. Он лгал, когда говорил, что хочет знать всё и не боится смерти. Никому не хочется знать, что его болезнь неизлечима, и любой человек боится смерти, что вполне понятно. Теперь он чувствует себя гораздо хуже. Его жизнь отравлена страхом, и это твоя вина!

– Ты постоянно говоришь о нервах и психике, как будто наш организм состоит только из них. Причина грудной жабы – атеросклероз коронарных сосудов.

– Спроси у профессора Юшара, что произошло на прошлой неделе в его клинике, когда он демонстрировал нам случай грудной жабы. У пациентки внезапно начался сильный приступ, который сам профессор счел за смертельный. Я попросил у него разрешения попробовать прекратить приступ с помощью внушения. Он заметил, что это бесполезно, но согласился. Я положил больной руку на лоб, сказав ей, что сейчас всё пройдет, и вскоре выражение ужаса исчезло из ее глаз, она глубоко вздохнула и объявила, что чувствует себя здоровой. Ты, конечно, скажешь, что это был случай ложной грудной жабы, но я могу доказать противное. Четыре дня спустя приступ повторился, и через пять минут она умерла. Ты всегда стараешься объяснить твоим пациентам то, что ты подчас сам себе объяснить не можешь. Ты забываешь, что главное тут вера, а не знания, – совсем как в религии. Католическая церковь никогда ничего не объясняет и остается одной из самых мощных сил мира; протестантская церковь пытается всё объяснить – и разваливается. Чем меньше правды знают твои пациенты, тем лучше для них. Работа органов нашего тела вовсе не руководится рассудком, и, заставляя своих пациентов задумываться над их болезнями, ты нарушаешь законы природы. Говори, что они должны делать то-то и то-то, принимать то или иное лекарство, чтобы выздороветь, а если они не намерены тебя слушаться, пусть обращаются к другому врачу. Не посещай их без крайней необходимости и разговаривай с ними поменьше, не то они тебя быстро раскусят и поймут, как мало мы знаем. Врачи, подобно высочайшим особам, должны сохранять определенную дистанцию между собой и остальными людьми – мы все выглядим лучше в пригашенном свете. Вспомни, что близкие врача всегда предпочитают лечиться у кого-нибудь другого. Как раз теперь я тайно лечу жену знаменитого парижского врача – всего два дня назад она показала мне его последнее назначение и спросила, будет ли ей полезно это лекарство.

– Ты всё время окружен женщинами. Если бы только я нравился им, как ты! Даже моя старая кухарка влюблена в тебя с тех пор, как ты ее вылечил от прострела.

– От всей души я хотел бы меньше им нравиться и с радостью передал бы тебе всех этих нервных дам. Я знаю, что моей репутацией так называемого «модного врача» я больше всего обязан им, но, поверь, иметь с ними дело очень неприятно, а иногда даже и опасно. Ты сказал, что хотел бы нравиться женщинам, – в таком случае никогда им этого не говори, не благоговей перед ними, не позволяй им тобой командовать. Женщины, хотя они, по-видимому, этого не сознают, больше любят подчиняться, чем подчинять себе. Они делают вид, будто равны нам, и при этом чертовски хорошо знают, что ничего подобного нет – к счастью для них: будь это так, они нравились бы нам гораздо меньше. Сам я ставлю женщин намного выше мужчин, но им я этого не говорю. Они более храбры, они страдают и умирают более стойко, чем мы, в них больше сострадания и меньше тщеславия. Их интуиция в конечном счете более надежный вожатый, чем наш разум, и они не так часто делают глупости, как мы. Любовь для женщины значит гораздо больше, чем для мужчины, она для нее всё. И чувственность тут не играет почти никакой роли. Женщина может полюбить урода или старика, если ему удастся воспламенить ее воображение. Мужчина может влюбиться в женщину, только если его влечет к ней, а в наши дни, вопреки предначертаниям природы, влечение это не проходит даже со старостью. Вот почему для влюбленности нет возрастного предела. Ришелье был неотразим в восемьдесят лет, когда он уже еле держался на ногах, а Гете было семьдесят, когда он потерял голову из-за Ульрики фон Леветцов.

Сама любовь живет не долее цветка. У мужчины она умирает естественной смертью в браке, у женщины она нередко живет до самого конца, преобразившись в материнскую нежность к развенчанному герою ее мечты. Женщины не способны понять, что мужчина по природе полигамен. Он может принудить себя подчиниться современному кодексу общественной морали, но его необоримый инстинкт только спит. Он остается всё тем же животным, каким был создан, и готов отправлять назначенные ему функции.

Женщины не менее умны, чем мужчины, может быть, они в среднем даже умнее, но их ум иного рода. Факт остается фактом: мозг мужчины тяжелее мозга женщины. Даже у новорожденных различаются извилины мозга в зависимости от пола. Анатомические различия становятся еще более наглядными при сравнении затылочной доли мозга обоих полов: именно из-за псевдоатрофии этой доли в женском мозгу Гуше и приписывает ей такое большое значение для психики. Закон различия полов – незыблемый закон природы, который проходит через весь живой мир и становится тем более выраженным, чем выше биологический вид. Утверждается, будто всё можно объяснить тем, что мужчины сделали все области культуры своей монополией, а для женщин они были закрыты. Так ли это? Даже в Афинах женщина была поставлена ничуть не ниже мужчины, и все области культуры были ей открыты! Ионические и дорические племена всегда признавали женскую свободу – у лакедемонян эта свобода была даже слишком велика. Во времена римского владычества, то есть четырехсот лет высочайшей культуры, женщины пользовались большой свободой. Достаточно вспомнить, что они полновластно распоряжались своим имуществом. В средние века образованность женщины была выше образованности мужчин. Рыцари лучше владели мечом, чем пером; учеными были монахи, но ведь существовало много женских монастырей, обитательницы которых равно могли совершенствовать свои знания. Возьмем хотя бы нашу профессию, в которой женщины отнюдь не новички. В салернской школе преподавали женщины. Луиза Буржуа, докторша Марии Медичи, жены Генриха IV, написала плохую книгу о родовспоможении. Маргарита Ламарш была главной акушеркой больницы «Отель Дье» в 1677 году, мадам ла Шапель и мадам Буавен написали множество книг о женских болезнях, и все очень скверные. В XVII и XVIII веках в знаменитых итальянских университетах Болоньи, Павии, Феррары и Неаполя преподавало немало женщин. Но ни одна из них не сделала сколько-либо заметного вклада в свою отрасль науки. Именно потому, что акушерство и гинекология так долго оставались в женских руках, они и пребывали в состоянии безнадежного застоя. Прогресс наступил лишь тогда, когда ими занялись мужчины. Даже теперь ни одна женщина, если ее жизнь или жизнь ее ребенка в опасности, не обращается к доктору своего пола.

А в музыке! Все дамы Возрождения играли на лютне, а позднее на арфе, клавикордах и клавесине. В течение ста лет девушки высших классов усердно барабанили по клавишам, но мне не известно ни одного первоклассного музыкального произведения, созданного женщиной, и я еще не встречал женщины, которая могла бы по-настоящему хорошо сыграть «Адажио Состенуто» Бетховена опус 106. Все барышни немножко рисуют, но насколько я знаю, ни в одной галерее Европы не найдется картины, подписанной женщиной, не считая, пожалуй, Розы Бонер, которая брилась и носила мужскую одежду.

Одним из величайших поэтов древних времен была женщина. Из венка, обрамлявшего чело этой волшебницы, остались лишь несколько розовых лепестков, хранящих аромат вечной весны. Какая бессмертная радость, какая бессмертная печаль звенит в этой дальней песне сирены, прозвучавшей с берегов Эллады! Несравненная Сафо, услышу ли я вновь твой голос? Кто знает, может быть, ты еще поешь в каком-нибудь не найденном свитке, скрытом под лавой Геркуланеума!

– Мне надоело слушать про твою Сафо! – проворчал Норстрем. – Того, что я знаю о ней и ее поклонниках, для меня вполне достаточно! Мне надоело слушать о женщинах. Вино ударило тебе в голову, и ты наговорил кучу глупостей! Пойдем домой!

Когда мы шли по улице, моему приятелю захотелось пива, и мы сели за столик перед кафе.

– Bonsoir, chéri![73] – окликнула Норстрема дама за соседним столиком. – Не угостишь ли кружечкой – я не ужинала!

Норстрем резко попросил ее оставить его в покое.

– Добрый вечер, Хлоя, – сказал я. – Как поживает Флопетт?

– Работает в переулках. На бульварах до полуночи ей нечего делать.

Но тут как раз появилась Флопетт и подсела к своей товарке.

---

[73] Добрый вечер, миленький! (франц.).

– Вы снова напились, Флопетт! – сказал я. – Так вы скорехонько на тот свет отправитесь.

– И пусть, – сказала она хриплым голосом. – Хуже чем здесь, там не будет.

– Ты не очень разборчив в твоих знакомствах, – проворчал Норстрем, в ужасе глядя на проституток.

– У меня бывали знакомства и похуже, – сказал я. – К тому же я их врач. У обеих сифилис, остальное доделает абсент: они долго не протянут, а потом смерть – в Сен-Лазар или просто в канаве. Во всяком случае, они не скрывают, кто они такие. И не забывай, что такими их сделал мужчина и что другой мужчина стоит за углом, чтобы отобрать у них жалкие гроши, которые они от нас получают. И эти проститутки вовсе не так дурны, как ты думаешь: они до конца остаются женщинами, сохраняя все женские недостатки, но также и многие добродетели, которые не может уничтожить никакое падение. Как ни странно, но они способны на самую высокую любовь. Однажды в меня влюбилась проститутка; она стала застенчивой и боязливой, как молодая девушка, и даже краснела под слоем румян. А это жалкое создание за соседним столиком могло бы при других обстоятельствах стать прекрасной женщиной. Дай я расскажу тебе ее историю.

– Помнишь, – начал я, когда мы медленно шли под руку по бульвару, – женский пансион в Пасси, который содержат монахини ордена Святой Терезы, куда ты привозил меня в прошлом году к шведской девочке, умиравшей от тифа? Вскоре заболела еще одна девочка – хорошенькая пятнадцатилетняя француженка, и меня позвали к ней. Однажды вечером, когда я выходил из пансиона, меня вдруг окликнула уличная женщина, ходившая взад и вперед по тротуару. Я резко отвернулся, но она робко попросила разрешения сказать мне два слова. Она уже целую неделю поджидала меня здесь, но не решалась заговорить со мной, пока было светло. Она называла меня «господин доктор» и дрожащим голосом расспрашивала, как чувствует себя девочка, у которой тиф, и опасно ли это? «Я должна ее увидеть до того, как она умрет! – рыдала она, и слезы катились по ее накрашенным щекам. – Я должна ее увидеть, я ее мать!» Монахини ничего об этом не знали. Девочку отдали под их опеку, когда ей было три года, а деньги переводились через банк. Мать видела свою дочь лишь издали по четвергам, когда воспитанницы выходили на прогулку.

Я сказал, что состояние девочки мне очень не нравится и что я извещу ее, если наступит ухудшение. Она не захотела дать мне своего адреса и попросила позволения каждый вечер ждать меня на улице. И в течение недели я ее встречал на том же месте, где она с тревогой ожидала новостей. Я должен был сказать ей, что ее дочери становится всё хуже, но, конечно, о том, чтобы привести эту несчастную к постели умирающей, не могло быть и речи. Однако я обещал дать ей знать, когда конец будет близок. Тогда она все-таки согласилась дать мне свой адрес. На следующий вечер, отправившись по этому адресу, я оказался на улочке позади Комической оперы – улочке с очень дурной репутацией. Извозчик многозначительно мне улыбнулся и предложил заехать за мной через час. Я сказал, что достаточно будет пятнадцати минут. Хозяйка заведения окинула меня проницательным взглядом, и затем меня проводили в зал, где сидели полуголые девицы в коротеньких муслиновых туниках, красных, желтых и зеленых. Кого я выберу? Я сказал, что я уже сделал выбор – мне нужна мадемуазель Флопетт. Мадам выразила сожаление: мадемуазель Флопетт еще одевается у себя в спальне – последнее время она относится к своим обязанностям очень небрежно. Я попросил, чтобы меня сейчас же провели наверх. В таком случае я должен уплатить вперед двадцать франков, не считая того, что мне благоугодно будет дать мадемуазель Флопетт, если я останусь доволен, как оно, конечно, и будет – это очаровательная девушка, и очень веселая. Может быть, я пожелаю, чтобы наверх подали шампанское?

Флопетт сидела перед зеркалом и усердно румянилась. Она вскочила, схватила шаль, чтобы прикрыть свой профессиональный наряд, – а вернее, его полное отсутствие, и повернула ко мне лицо клоуна – пятно румян на щеках, один глаз подведен углем, другой красный от слез – Нет, она не умерла, но ей очень плохо. Монахиня которая дежурит ночью, переутомлена, и я обещал, что привезу на ночь свою сиделку. Смойте с вашего лица эту отвратительную краску, пригладьте волосы помадой, вазелином или чем хотите и наденьте вместо своего гнусного муслина форму больничной сиделки – она в этом пакете. Я взял ее у одной из моих сиделок, которая примерно одного с вами роста. Через полчаса я за вами заеду.

Она, онемев, смотрела мне вслед, пока я спускался по лестнице.

– Вы уже уходите? – спросила с удивлением хозяйка заведения. Я сказал, что хочу увезти мадемуазель Флопетт на всю ночь и иду за извозчиком. Когда я вернулся через полчаса, Флопетт вышла ко мне, закутанная в длинный плащ, ее провожали девицы в муслиновых туниках.

– Ну, и повезло же тебе, милочка! – смеялись они. – Едешь на маскарад в последний день масленицы. И вид у тебя очень элегантный, совсем как у порядочной. Жалко, что твой друг не пригласил нас всех!

– Веселитесь, дети мои, – улыбнулась хозяйка, провожая Флопетт до экипажа. – Попрошу вас пятьдесят франков вперед!

Сиделка была уже не нужна. Девочка умирала. Она была без сознания, и жизнь в ней еле теплилась. Мать всю ночь провела у кровати дочери и сквозь слезы смотрела на умирающую.

– Поцелуйте ее, – сказал я, когда началась агония. – Она без сознания.

Флопетт склонилась над девочкой, но тут же отпрянула.

– Я не должна ее целовать, – сказала она, зарыдав. – Вы ведь знаете, какая я!

Когда я снова увидел Флопетт, она была мертвецки пьяна. Через неделю она бросилась в Сену. Ее вытащили, и я попробовал устроить ее в больницу Сен-Лазар, но там не было свободных коек. Через месяц она выпила пузырек опия и уже умирала, когда я пришел. Не могу себе простить, что выкачал яд из ее желудка. В руке она сжимала детский башмачок, в котором лежала прядь волос. Теперь она пьет абсент – тоже надежный яд, хотя и не столь быстро убивающий! И теперь ее ждет какая-нибудь канава, где утонуть легче, чем в Сене.

Мы подошли к дому Норстрема на улице Пигаль.

– Спокойной ночи, – сказал мой друг. – Спасибо за приятный вечер!

– И тебе тоже, – сказал я.

Глава X. Der Leichenbegleiter

Пожалуй, чем меньше я буду рассказывать о поездке в Швецию, которую я совершил в то лето, тем будет лучше. Норстрем, снисходительный летописец приключений моей молодости, сказал, что ничего хуже он от меня не слышал. Теперь эта история никому, кроме меня самого, не повредит, и потому я могу спокойно изложить ее здесь.

Профессор Бруцелиус, самый знаменитый врач Швеции в те дни, попросил меня поехать в Сан-Ремо, чтобы привезти на родину одного из его пациентов – молодого человека в последней стадии чахотки, который провел там зиму. За последнее время у него несколько раз шла горлом кровь. Состояние его было настолько тяжелым, что я согласился его сопровождать лишь при условии, что с нами поедет кто-нибудь из родственников или, по крайней мере, надежная шведская сиделка, – приходилось считаться с тем, что он мог умереть в пути. Четыре дня спустя в Сан-Ремо приехала его мать. Мы предполагали сделать остановки в Базеле и Гейдельберге, а в Любеке сесть на шведский пароход в Стокгольм. В Базель мы приехали вечером, после очень тяжелого дня. Ночью у матери сделался сердечный припадок, чуть было не оказавшийся роковым. Утром приглашенный мною специалист согласился со мной: отправиться дальше она сможет не раньше, чем через две недели. Я оказался перед альтернативой оставить юношу умирать в Базеле или продолжать поездку с ним вдвоем. Как все умирающие, он стремился вернуться на родину. Правильно или нет, но я решил ехать. На другой день после нашего приезда в Гейдельберг у него началось сильное легочное кровотечение, и о том, чтобы ехать дальше, уже не могло быть никакой речи. Ему я сказал, что мы проведем тут несколько дней, пока к нам не присоединится его мать. Он же не хотел задерживаться даже на одни сутки. Вечером он усердно изучал расписание поездов. Когда я заглянул к нему в номер после полуночи, он мирно спал. Утром я нашел его в постели мертвым; причиной смерти, без сомнения, было внутреннее кровотечение. Я телеграфировал своему коллеге в Базель, прося сообщить о смерти юноши его матери и получить ее распоряжения. Профессор ответил, что состояние его пациентки настолько серьезно, что он не решается передать ей печальное известие. Я не сомневался, что она пожелала бы похоронить сына в Швеции, и обратился за советом к гробовщику. От него я узнал, что труп полагается бальзамировать – стоило это две тысячи марок. Я знал, что семья не богата, и решил бальзамировать сам. Времени терять было нельзя – был конец июля, и стояла сильная жара. С помощью служителя анатомического театра я в ту же ночь произвел полное бальзамирование, что обошлось в двести марок. Это был мой первый опыт, и, должен признаться, отнюдь не

удачный. Свинцовый гроб был запаян в моем присутствии. Внешний дубовый гроб, согласно железнодорожным правилам, был заколочен в обыкновенный ящик. Обо всем дальнейшем должен был позаботиться гробовщик – отправить гроб поездом в Любек, а оттуда пароходом в Стокгольм. Суммы, которую я получил от матери на дорогу, едва хватило, чтобы заплатить по счету в гостинице. Как я ни спорил, мне пришлось уплатить бешеные деньги за постельные принадлежности и ковер в номере, где умер юноша. Оставшихся денег мне едва хватило бы на билет до Парижа. Со времени моего приезда в Гейдельберг я не выходил из гостиницы и не видел ничего, кроме сада под ее окнами. Я решил посмотреть хотя бы знаменитые руины замка, прежде чем покинуть Гейдельберг – как я надеялся – навсегда. Пока я стоял у парапета и глядел на долину Неккара у моих ног, ко мне подбежал щенок таксы, быстро семеня кривыми лапками, и тотчас облизал мне всё лицо. Проницательные глаза собачки сразу разгадали мою тайну: тайна же моя заключалась в том, что я давно и пламенно желал иметь такого вот маленького вальдмана, как называют этих очаровательных собак у них на родине. Как ни мало у меня было денег, я тут же купил таксу за пятьдесят марок, и мы торжественно отправились в гостиницу. Такса бежала позади меня без поводка, твердо зная, что ее хозяин – я, и только я. Утром мне был подан счет из-за некой неприятности, которая приключилась с ковром в моем номере. Мое терпение лопнуло – я уже истратил восемьсот марок на ковры в этой гостинице. Два часа спустя я презентовал ковер из номера скончавшегося юноши старому сапожнику, который чинил сапоги перед своим убогим домиком, полным оборванных детей. Директор гостиницы онемел от ярости, зато сапожник обзавелся ковром. Мои дела в Гейдельберге были закончены, и я намеревался с утренним поездом уехать в Париж. Ночью я передумал и решил все-таки поехать в Швецию. Ведь в Париже меня ждали не раньше, чем через две недели, своих больных я поручил Норстрему и уже телеграфировал брату, что несколько дней погощу у него в нашем старом доме. Я понимал, что, откажись я от этой поездки сейчас – и мне, быть может, не скоро представится случай побывать в Швеции. Мне не терпелось как можно скорее покинуть эту злополучную гостиницу, но на пассажирский берлинский поезд я уже опоздал, и поэтому решил поехать в Любек с вечерним поездом, с которым должны были отправить гроб, а потом на том же пароходе добраться до Стокгольма. Едва я сел поужинать в станционном буфете, как официант предупредил меня, что водить собак в зал verboten.[74] Я сунул пять марок ему в руку, а таксу под столик и начал есть, но тут у дверей раздался громовой голос:

– Der Leichenbegleiter![75]

Все ужинающие подняли глаза от своих тарелок и посмотрели друг на друга, но никто не встал.

– Der Leichenbegleiter!

Звавший исчез за дверью, но тотчас опять появился с человеком, в котором я узнал помощника гробовщика. Владелец мощного голоса подошел ко мне и рявкнул:

– Der Leichenbegleiter!

Все с интересом посмотрели на меня. Я сердито сказал крикуну, чтобы он оставил меня в покое – я хочу спокойно поужинать. Нет, я должен немедленно пойти с ним, со мной по крайне срочному делу хочет поговорить начальник станции. Какой-то великан, в очках с золотой оправой, топорща моржовые усы, вручил мне кипу бумаг и закричал мне в ухо, что вагон пора пломбировать и я должен занять свое место сейчас же. На лучшем своем немецком языке я объяснил, что у меня билет второго класса. Он ответил, что это verboten, а меня сейчас же запрут в товарном вагоне с гробом.

– Что это значит, черт возьми!

– Разве вы не der Leichenbegleiter? Разве вы не знаете, что в Германпи verboten перевозить покойников без сопровождающего лица и что их запирают в одном вагоне?

Я показал ему билет второго класса до Любека и сказал, что я обыкновенный пассажир, еду в Швецию по своим делам и к гробу никакого отношения не имею.

– Вы Leichenbegleiter или нет? – грозно рявкнул он.

– Разумеется, нет. Я готов взяться за любую работу, но быть Leichenbegleiter отказываюсь наотрез. Это слово мне не нравится.

Начальник станции посмотрел на кипу документов и заявил, что если в течение пяти минут Leichenbegleiter не появится, то вагон с гробом будет отцеплен и останется в Гейдельберге на

---

[74] Запрещено (нем.).

[75] Человек, сопровождающий покойника (нем.).

запасном пути. Не успел он договорить, как к его столу подскочил невысокий рябой горбун с бегающими глазками и протянул ему пачку документов.

– Ich bin der Leichenbegleiter, – объявил он с большим достоинством.

Я чуть не расцеловал его – я всегда питал тайную симпатию к горбунам. Я сказал, что я необычайно рад с ним познакомиться, что я еду в том же поезде, что и он, до Любека и на том же пароходе до Стокгольма. Мне пришлось ухватиться за край стола начальника станции, когда горбун ответил, что едет вовсе не в Стокгольм, а в Петербург, а оттуда в Нижний Новгород, провожая гроб русского генерала.

Начальник станции поднял голову от своих документов, и его усы изумленно ощетинились.

– Гром и молния! – взревел он. – Значит, с этим поездом в Любек следуют два покойника? Но я принял только один гроб. В один гроб двух покойников не кладут. Verboten! Где другой гроб?

Горбун объяснил, что гроб генерала сейчас погрузят в вагон. Во всем виноват столяр, который доставил второй ящик в самую последнюю минуту. Но кто мог предполагать, что ему в один день закажут два таких громадных ящика!

Русский генерал! Тут я вспомнил, что слышал, будто в один день с моим юношей в соседнем отеле умер от апоплексического удара русский генерал. Я даже припомнил, что из своего окна видел в саду гостиницы сурового старика с длинной седой бородой, которого везли по дорожке в кресле-каталке. Портье сообщил мне, что это знаменитый русский генерал, герой Крымской войны. Мне еще не приходилось видеть столь свирепого на вид человека.

Начальник станции вновь погрузился в свои бумаги, а я отвел горбуна в сторону, дружески похлопал его по плечу, предложил ему пятьдесят марок наличными и еще пятьдесят марок, которые я рассчитывал занять у шведского консула в Любеке, если он согласится взять под свою опеку не только гроб русского генерала, но и моего юноши. Он тотчас же согласился. Однако начальник станции заявил, что это беспрецедентный случай, не предусмотренный законом, и он не сомневается в том, что одному человеку сопровождать два гроба наверное verboten. Он должен запросить Kaiserliche Oberliche Eisenbahn Amt Direction Bureau,[76] и ответ придет не ранее, чем через неделю.

Положение спас вальдман. Несколько раз во время наших переговоров я замечал, что начальник станции из-под своих золотых очков ласково поглядывает на мою таксу и несколько раз он опускал огромную лапу под стол и гладил шелковистые длинные уши щенка. Я решился на последнюю отчаянную попытку тронуть его сердце – и молча положил таксу ему на колени. Тотчас облизав ему всё лицо, щепок принялся дергать его за моржовые усы, и его суровая физиономия постепенно расплылась в широкую добродушную усмешку над нашей с вальдманом беспомощностью.

Пять минут спустя горбун подписал десяток бумаг в качестве Leichenbegleiter двух гробов, а мы с вальдманом и саквояжем вскочили в переполненное купе второго класса, когда поезд уже тронулся. Вальдман сразу принялся заигрывать с сидящей рядом толстой дамой, но она, строго на меня посмотрев, заметила, что возить собак в купе второго класса verboten, но, во всяком случае, эта собака чистоплотна? О, конечно! Она удивительно чистоплотна с самого рождения. Тут вальдман обратил внимание на корзинку, которую дама держала на коленях, и принялся на нее яростно лаять. Он еще лаял, когда поезд остановился на следующей станции. Толстая дама вызвала кондуктора и показала на пол. Кондуктор сказал, что возить собак без намордника verboten. Напрасно я ему показывал раскрытый рот таксы, в котором еще почти не было зубов, напрасно я вложил в его руку мои последние пять марок, он был неумолим: собаку надо немедленно убрать в собачье отделение. Из мести я указал на корзинку толстой дамы и спросил, verboten ли возить кошек, не оплачивая их проезд. Разумеется, verboten. Толстая дама еще пререкалась с кондуктором, когда я спрыгнул на перрон. Отделения для собак в те дни были ужасны – темная дыра над самыми колесами, полная дыма от локомотива. Как я мог засунуть туда вальдмана? Я помчался к товарному вагону и принялся умолять служащего взять таксу к себе. Он ответил, что это verboten. Тут осторожно раздвинулись двери следующего вагона и в щели показалась голова горбуна. С кошачьей ловкостью я вскочил к нему в вагон с саквояжем и вальдманом.

---

[76] Верховное императорское управление железных дорог (нем.).

Пятьдесят марок с выплатой по прибытии, если он нас спрячет в своем вагоне до Любека. Он не успел ответить, как двери были заперты снаружи, паровоз загудел и поезд тронулся. В большом товарном вагоне стояли только два огромных ящика. Было нестерпимо жарко, но места, чтобы расположиться поудобнее, хватало. Такса тотчас, же уснула на моем пальто, горбун достал из своего запаса бутылку теплого пива, мы закурили трубки и, усевшись на полу, начали обсуждать положение. Мы были в безопасности – никто не видел, как я вскочил в вагон, а поездная прислуга в него не заглядывает, уверил меня горбун. Когда час спустя поезд замедлил ход перед следующей станцией, я заявил, что меня разлучат с ним только силой, а так я до Любека отсюда не уйду. Часы проходили в приятной беседе: говорил Leichenbegleiter, а я больше слушал, так как объясняюсь по-немецки плохо, хотя довольно хорошо понимаю этот язык. Мой новый приятель сказал, что много раз совершал это путешествие, и называл все станции, на которых мы останавливались, хотя из нашего вагона-тюрьмы нам ничего не было видно. Он сопровождает покойников уже более десяти лет – работа приятная и спокойная, а он к тому же любит много ездить и знакомиться с новыми странами. В России он уже побывал шесть раз, и русские ему очень нравятся: они всегда просят, чтобы их похоронили на родине. В Гейдельберг приезжает много русских посоветоваться с знаменитыми профессорами. Это его лучшие клиенты. А жена у него – Leichenwäscherin.[77] Без них не обходится почти ни одно бальзамирование. Указав на второй ящик, он добавил, что был очень расстроен, когда их не пригласили к шведскому господину. Он подозревал интригу – конкуренция в их профессии довольно велика, а два его коллеги – люди очень завистливые. Да и вообще в этом деле кроется какая-то тайна: он так и не узнал, кто производил бальзамирование. Не всякий врач владеет этим искусством. Бальзамирование – очень сложная и тонкая вещь, и никогда нельзя знать, что произойдет при такой долгой поездке и в такую жару! А мне приходилось помогать при многих бальзамированиях?

– Только при одном, – ответил я, содрогаясь.

– Жаль, что вы не можете посмотреть на русского генерала, – воскликнул горбун восторженно и указал трубкой на второй ящик. – Он очень хорошо удался, просто не верится, что это покойник – даже глаза открыты. Не понимаю, – продолжал он, – что имел против начальник станции? Вы, правда, несколько молоды для того, чтобы сопровождать покойников, но выглядите вполне прилично. Вам только надо побриться и почиститься, а то ваш костюм весь в собачьей шерсти, и, конечно, вы не можете пойти завтра в шведское консульство с такой щетиной – вы не брились, по крайней мере, неделю и выглядите, как разбойник, а не как почтенный Leichenbegleiter. Жаль, что со мной нет бритвы, иначе я побрил бы вас на следующей остановке.

Я раскрыл свой саквояж и сказал, что буду ему очень благодарен, если он освободит меня от необходимости бриться самому – терпеть не могу этого мучения. Он осмотрел мою бритву с видом знатока и сказал, что шведские бритвы самые лучшие – он сам никогда другими не пользуется. У него легкая рука, он брил сотни людей, и никогда не было ни одной жалобы.

Меня действительно ни разу в жизни не брили лучше, и когда поезд тронулся, я не преминул сказать ему об этом, присовокупив множество похвал.

– Да, ничто не может сравниться с путешествиями по чужим странам, – сказал я, стирая мыло с лица. – Каждый день узнаешь что-нибудь новое и интересное. Чем больше я знакомлюсь с этой страной, тем яснее понимаю, насколько немцы отличаются от других народов. Латинская и англосаксонская расы при бритье сидят прямо, а вы в Германии откидываетесь на спину. Всё дело вкуса. Chacun tue ses puces à sa façon,[78] как говорят в Париже.

– Это дело привычки, – объяснил горбун. – Мертвеца ведь не посадишь, а вы – первый живой человек, которого я брил.

Мой спутник расстелил чистую салфетку на своем ящике и открыл корзину с провизией. Мои ноздри защекотал смешанный запах колбасы, сыра и кислой капусты. Вальдман мгновенно проснулся, и мы принялись следить за горбуном голодными глазами. К моей великой радости, он пригласил меня принять участие в его трапезе. Даже кислая капуста показалась мне вкусной, а когда он протянул вальдману большой кусок колбасы, то полностью завоевал мое сердце. После второй бутылки мозельвейна между мной и моим новым другом уже почти не было тайн. Лишь одну я ревностно сберег – то, что я врач. По опыту, почерпнутому во многих странах, я знал, что

---

[77] Женщина, обмывающая покойников (нем.).

[78] Каждый убивает своих блох своим способом (франц.).

стоит мне хотя бы намекнуть о сословном различии между нами, и я лишусь неповторимой возможности наблюдать жизнь так, как ее видит Leichenbegleiter. Тем немногим, что я знаю о психологии, я обязан врожденной способности ощущать себя на равной ноге с теми, в чьем обществе нахожусь. Когда я обедаю с герцогом, то чувствую себя с ним свободно и просто, а когда моим хозяином оказывается Leichenbegleiter, то и я, насколько это в моих силах, превращаюсь в его коллегу.

– Смотри веселее, Фриц! – воскликнул мой хозяин после третьей бутылки мозельвейна. – Не вешай носа! Я знаю, что ты не при деньгах и что у тебя какие-то неприятности. Ну, ничего, выпей еще винца, и мы обсудим дело. Я уже десять лет вожу покойников и научился разбираться в людях. Ум – это еще не всё, а ты, видно, родился под счастливой звездой, иначе ты не сидел бы здесь со мной. И теперь тебе представляется возможность, которая не повторится. Отвези свой гроб в Швецию, пока я съезжу в Россию, и со следующим поездом возвращайся в Гейдельберг. Будешь моим компаньоном. Пока жив профессор Фридрих, работы хватит на двоих, не будь я Захария Швейнфус! В Швеции тебе надеяться не на что – знаменитых врачей там нет, а в Гейдельберге их полно. Лучше Гейдельберга ты себе места не найдешь!

Я сердечно поблагодарил моего нового друга и сказал, что ответ дам утром, когда наши головы немного прояснятся. Через несколько минут мы уже крепко спали бок о бок на полу вагона. Я отлично выспался, чего нельзя было сказать о моем щенке. Когда поезд остановился у перрона любекского вокзала, было совсем светло. На перроне уже ждал служащий шведского консульства, которому предстояло отвезти гроб на шведский пароход. Дружески распрощавшись с горбуном, я поехал в шведское консульство. Как только консул увидел таксу, он сообщил мне, что ввоз собак в Швецию воспрещен, так как в северной Германии было несколько случаев бешенства. Конечно, я могу поговорить с капитаном, но он уверен, что тот откажет мне наотрез. Капитан был в очень плохом настроении, так как моряки не любят возить покойников. Все мои просьбы были тщетны. Я вспомнил уловку, которая смягчила сердце начальника станции, и решил попробовать ее еще раз. Вальдман облизал ему всё лицо, но не помогло и это. Тогда я прибег к своему последнему козырю и назвал имя своего брата. Да, конечно, он знает коммодора Мунте, они мичманами вместе плавали на «Ванадисе» и были большими друзьями. Неужели у него хватит жестокости оставить любимую таксу моего брата в Любеке на попечение чужих людей?

Нет, на это у него не хватило жестокости, и через пять минут вальдмаи был уже заперт в моей каюте, но с условием, что в Стокгольме я сам тайно сумею пронести его на берег. Я люблю море, пароход был хороший, я обедал за капитанским столом, и все на борту были со мной очень любезны. Стюардесса, правда, насупилась, когда ей утром пришлось убирать мою каюту, но стала нашей союзницей, едва только нарушитель порядка облизал ей лицо – она никогда не видела такого очаровательного щеночка! Когда вальдман тайком удрал на палубу, матросы начали с ним играть, а капитан старательно глядел в другую сторону. Пароход пришвартовался у стокгольмской пристани поздно вечером, и я спрыгнул с носа на землю с вальдманом на руках. Утром я отправился к профессору Бруцелиусу, который показал мне телеграмму из Базеля: мать умершего юноши поправляется, и похороны откладываются на две недели до ее возвращения. Профессор выразил надежду, что я буду еще в Швеции – ведь мать, несомненно, захочет узнать подробности о кончине своего сына, и, разумеется, мне следует присутствовать на похоронах. Я сказал, что собираюсь погостить у брата, а затем должен буду вернуться в Париж к моим пациентам.

Я так и не простил брату то, что он передал мне наше страшное наследство – мамзель Агату. Тогда я написал ему гневное письмо. К счастью, он, казалось, забыл всё это. Он объявил, что очень рад меня видеть – они с женой надеются, что я погощу у них в нашем старом доме не меньше двух недель. Два дня спустя он выразил удивление, что столь занятый врач, как я, покидает своих больных на такой длительный срок – когда я собираюсь уезжать? Моя невестка стала холодна как лед. Людей, которые не любят собак, можно только пожалеть, а потому мне оставалось только взять рюкзак и отправиться со своим щенком в пешее путешествие. Утром, когда я уезжал, у моей невестки разыгралась головная боль, и она не вышла к завтраку. Я хотел зайти к ней попрощаться, но брат посоветовал мне этого не делать. Я не стал настаивать, так как он объяснил, что горничная обнаружила под моей кроватью новую нарядную шляпу своей хозяйки, ее вышитые туфли, боа из перьев, два тома «Британской энциклопедии», разорванные в клочья, останки кролика и ее любимого котенка – с почти отгрызенной головой. Ну, а турецкий

ковер в гостиной, цветочные клумбы в саду и шесть утят... Я посмотрел на часы и сказал брату, что люблю приезжать на станцию загодя.

– Олле! – крикнул брат старому кучеру моего отца, когда коляска покатила. – Ради бога, постарайтесь, чтобы доктор не опоздал на поезд!

Через две недели я снова был в Стокгольме. Профессор Бруцелиус сообщил мне, что утром приехала мать и похороны назначены на следующий день – я, конечно, должен на них присутствовать. Далее, к моему ужасу, он сообщил, что бедная женщина во что бы то ни стало хочет еще раз взглянуть на сына, и на рассвете думают открыть гроб. Разумеется, я не стал бы сам бальзамировать труп, если бы такая возможность могла прийти мне в голову, я знал, что поступил неправильно, хотя намерения у меня были самые лучшие, и если гроб откроют, глазам присутствующих может представиться ужасное зрелище. Первой моей мыслью было бегство. Я мог бы уехать в Париж с вечерним поездом. Затем я решил остаться и доиграть свою роль до конца. Времени терять было нельзя. Благодаря влиятельной поддержке профессора Бруцелиуса, хотя и с большим трудом, мне удалось добиться разрешения вскрыть гроб для произведения общей дезинфекции, в необходимости которой я почти не сомневался. После полуночи я спустился в склеп под церковью в сопровождении кладбищенского сторожа и рабочего, который должен был открыть оба гроба. Когда крышка внутреннего гроба была снята, оба они отступили назад в почтительном страхе перед ликом смерти. Я взял фонарь сторожа и приоткрыл лицо покойника. Фонарь упал на землю, и я, шатаясь, попятился, словно пораженный невидимой рукой.

Я до сих пор не понимаю, как мне удалось сохранить присутствие духа в ту ночь. Наверное, тогда мои нервы было просто стальными.

– Всё в порядке, – сказал я, быстро закрывая лицо покойника. Завинчивайте крышку – дезинфекция не нужна, тело в прекрасном состоянии.

Рано утром я пришел к профессору Бруцелиусу и сказал, что зрелище, которое я увидел ночью, будет преследовать бедную мать всю жизнь – он любой ценой должен воспрепятствовать тому, чтобы гроб открыли.

Я был на похоронах. С тех пор я всегда их избегал. Гроб несли шестеро школьных товарищей покойного. Священник произнес трогательную речь о том, что бог в своей неисповедимой мудрости повелел, чтобы эта молодая жизнь, столь богатая радостями и надеждами, была оборвана жестокой смертью. Но пусть те, кто скорбит сейчас у его безвременной могилы, обретут утешение и мысли о том, что вечный покой он обрел в родной земле. Его близкие будут знать, куда им приносить цветы, где им молиться. Хор студентов из Упсалы по обычаю спел:

Integer vitae scelerisque purus.[79]

С того дня я возненавидел эту прекрасную оду Горация. Мать юноши, которую поддерживал ее престарелый отец, подошла к могиле и возложила на гроб венок из ландышей.

– Это были его любимые цветы, – сказала она с рыданием.

Его друзья по очереди подходили с цветами и сквозь слезы бросали на гроб прощальный взгляд. Хор пропел старинный псалом:

Покойся с миром![80]

Могильщики начали засыпать гроб. Церемония окончилась.

Когда все ушли, я подошел и посмотрел на полузасыпанный гроб.

– Да! Покойся с миром, угрюмый старый воин. Покойся с миром! Пусть не преследуют меня больше твои широко открытые глаза, иначе я сойду с ума. Почему ты так гневно взглянул на меня ночью, когда я открыл твое лицо в склепе под часовней? Неужели ты думаешь, что мне было приятнее увидеть тебя, чем тебе меня? Или ты принял меня за грабителя, который вскрыл твой гроб, чтобы украсть золотую икону, лежащую на твоей груди? Ты подумал, что тебя сюда завез я? Нет, это был не я. Быть может, это сделал сам дьявол в образе пьяного горбуна. Кто же, кроме Мефистофеля, этого вечного насмешника, был способен подстроить тот жестокий фарс, который разыгрался тут? Мне даже казалось, что в звуки псалма вплетается его язвительный смех, и да простит мне бог, но я и сам чуть было не рассмеялся, когда твой гроб опускали в могилу. Но что тебе до того, чья это могила? Ты не можешь прочитать имени на мраморном кресте, и что тебе до него? Ты не слышишь голосов живых над тобой, и что тебе до

---

[79] Для того, кто чист и нетронут жизнью... Гораций, Оды, кн. I, ода 22.

[80] **В.Э.:** Большой пропуск по сравнению с латышским изданием.

того, на каком языке они говорят? Ты спишь не среди чужих, а среди братьев. Как и шведский юноша, который был похоронен в сердце России, где трубачи твоего старого полка протрубили последнее прости над его могилой. Царство мертвых не имеет границ, у могилы нет национальности. Вы принадлежите теперь к одному народу, и скоро приобретете одинаковый вид. Одна и та же судьба ждет вас, где бы вы ни упокоились – быть забытыми и распасться в прах. Таков закон жизни. Покойтесь с миром!

Глава XI. Мадам Рекэн

Недалеко от авеню де Вилье жил один иностранный врач, который, насколько я знал, был акушером и гинекологом. Это был грубый и циничный человек – раза два он приглашал меня на консилиум, но не для того, чтобы воспользоваться моими знаниями, а для того, чтобы переложить часть ответственности на мои плечи. В последний раз он меня вызвал к молодой девушке, умиравшей от перитонита, – обстоятельства были настолько подозрительными, что я не сразу решил поставить свою подпись рядом с его подписью на свидетельстве о смерти. Как-то раз, вернувшись домой довольно поздно, я увидел, что у моего подъезда ждет экипаж – мой коллега настоятельно просил меня тотчас же поехать к нему в его частную лечебницу на улице Гране. Я твердо решил не иметь с ним больше никаких дел, но приглашение было столь настоятельным, что я должен был поехать и посмотреть, в чем дело. Дверь мне открыла толстуха с неприятным лицом, которая сообщила, что она мадам Рекэн, акушерка первого класса, а затем провела меня наверх, в ту же комнату, где умерла девушка, о которой я упоминал ранее. Там всюду валялись запачканные кровью полотенца, простыни и одеяла, красные капли со зловещим звуком падали на пол, стекая с матраца. Доктор горячо благодарил меня за то, что я исполнил его просьбу и приехал, – он был очень взволнован и испуган. Он сказал, что времени терять нельзя. И действительно, роженица была без сознания и походила больше на мертвую, чем на живую. Быстро осмотрев ее, я возмущенно спросил, почему он послал не за хирургом или акушером, а за мной, хотя и знал, что ни ему, ни мне подобный случай не по силам. После введения камфоры и эфира женщине стало несколько лучше. Не без некоторого колебания я решил дать ей немного хлороформа, а сам принялся за дело. Удача, как всегда, была на моей стороне, и, к нашему большому удивлению, даже полузадохнувшийся младенец ожил после того, как ему было сделано искусственное дыхание. Однако и он и мать остались в живых только чудом. Марля и вата кончились, но, к счастью, мы нашли полураскрытый саквояж, полный тонкого дамского белья, которое мы и разорвали на тампоны.

– Какое прекрасное белье! – сказал мой коллега, беря в руки ночную батистовую рубашку. – Посмотрите-ка, – воскликнул он, указывая на коронку, которая была вышита над буквой «М». – Черт побери, любезный коллега, мы вращаемся в высшем свете! К тому же она красавица, хотя сейчас этого и не скажешь, – редкостная красавица, и, если всё обойдется, я был бы рад возобновить знакомство с ней.

– Ах, какая прекрасная брошка! – воскликнул он затем и поднял бриллиантовую брошь, которая, очевидно, упала на пол, пока мы рылись в саквояже. – Черт возьми! Если дело обернется плохо, я смогу взять ее в обеспечение моего счета. С этими иностранками надо держать ухо востро – она возьмет да и исчезнет так же таинственно, как появилась – бог весть откуда!

– Ну, до этого дело еще не дошло, – сказал я и, выхватив брошь из его красных пальцев, положил ее себе в карман. – По французским законам, счет гробовщика оплачивается прежде, чем счет врача, а мы еще не знаем, который из двух будет предъявлен раньше. Что касается ребенка...

– О ребенке можете не думать! – усмехнулся он. – У нас здесь младенцев хватает, и, на худой конец, всегда можно его подменить. Мадам Рекэн каждую неделю отсылает полдюжины ребят с «поездом кормилиц» с Орлеанского вокзала. Но вот мать спасти необходимо: за две недели я подписал здесь уже два свидетельства о смерти и новый смертный случай мне ни к чему.

Когда я на рассвете уходил, роженица находилась в полубессознательном состоянии, но пульс стал ровнее, и я сказал доктору, что, на мой взгляд, она должна поправиться. Наверное, я и сам не вполне сознавал, что я делаю, иначе я отказался бы от чашки черного кофе, которую

предложила мне мадам Рекэн в своей зловещей маленькой приемной, когда я, пошатываясь, спускался с лестницы.

– А, да! Это прелестная брошка! – сказала мадам Рекэн, когда я отдал брошь ей на сохранение. – Как по-вашему, камни настоящие? – Она поднесла брошку к газовому рожку.

Это была прекрасная бриллиантовая брошь с буквой «М» и коронкой из рубинов. Камни заиграли, и ее глаза вспыхнули алчностью.

– Нет! – сказал я. – Они, конечно, фальшивые.

Я сделал большую глупость, отдав ей брошь, и теперь старался поправить дело. Мадам Рекэн выразила надежду, что я ошибся: дама не успела уплатить вперед, как требуют правила лечебницы, – она приехала в последнюю минуту почти без чувств. На ее багаже нет фамилии, но помечен он Лондоном.

– Этого вполне достаточно. Не беспокойтесь, вам заплатят.

Мадам Рекэн сказала, что надеется вскоре вновь меня увидеть, и я ушел, содрогаясь от отвращения.

Несколько недель спустя я получил письмо от моего коллеги: всё кончилось благополучно – дама уехала неизвестно куда, как только немного оправилась, но все счета она оплатила и вручила мадам Рекэн крупную сумму, чтобы ребенок был отдан на воспитание в приличную семью. Я вернул ему деньги с короткой запиской, в которой просил его больше не присылать за мной, когда он в следующий раз будет отправлять кого-нибудь на тот свет.

Я надеялся, что больше никогда не увижу ни его, ни мадам Рекэн. Что касается доктора, то мое желание исполнилось, но о мадам Рекэн мне еще придется рассказать вам.

Глава XII. Великан

Время шло, и я всё яснее замечал, что практика Норстрема сходит на нет: еще немного – и он мог вообще остаться без пациентов. Скоро даже многочисленные члены скандинавской колонии – и бедные и богатые – начали покидать улицу Пигаль ради авеню Вилье. Я пытался воспрепятствовать этому, но тщетно. К счастью, Норстрем не усомнился в моей лояльности, и мы остались друзьями до конца. Бог свидетель, скандинавы вовсе не были такими уж выгодными пациентами! Всё время, пока я оставался в Париже, это был жернов на моей шее, который погубил бы меня, если бы мне не удалось приобрести твердую практику среди проживавших в Париже англичан и американцев, а также среди самих французов. Но даже и так пациенты-скандинавы отнимали у меня очень много времени, навлекали на меня всевозможные неприятности, а в конце концов я угодил из-за них в тюрьму. Это довольно забавная история, и я часто рассказываю ее друзьям, пишущим книги, как разительный пример закона совпадений – этого заезженного боевого коня романистов.

Не считая вечно нуждавшихся во враче скандинавских рабочих в Пантеи и Ла-Вилетт, которых было свыше тысячи, были еще скандинавы Монмартра и Монпарнаса – вечно нуждавшиеся в деньгах художники, скульпторы, авторы ненаписанных шедевров в стихах и в прозе, экзотические персонажи «Жизни богемы» Анри Мюрже. Некоторые стояли уже на пороге успеха – как Эдельфельд, Карл Ларсон, Цорн и Стриндберг, но большинство жило лишь надеждой. Самым большим ростом и самым маленьким кошельком обладал мой приятель – великан скульптор с белокурой бородой викинга и детски простодушными голубыми глазами. Он редко появлялся в кафе «Эрмитаж», где проводило вечера большинство его товарищей. Как он ухитрялся поддерживать силы своего огромного тела, было для всех загадкой. Он жил на Монпарнасе в громадном, холодном сарае, служившем ему мастерской, где он работал, варил себе еду, стирал свою блузу и грезил о будущей славе. Ему нужно было много места и для него самого, и для его статуй, всегда огромных и всегда неоконченных из-за нехватки глины. Однажды он явился на авеню Вилье и попросил меня в следующее воскресенье быть его шафером – бракосочетание должно было состояться в шведской церкви, а свадьбу предполагалось отпраздновать в его новой квартире при мастерской. Избранницей сердца моего приятеля оказалась хрупкая художница-миниатюристка, чуть ли не вдвое ниже его. Я, конечно, с радостью согласился. После обряда шведский пастор обратился с небольшой напутственной речью к новобрачным, которые сидели рядом перед алтарем. Они напомнили мне колоссальное изваяние сидящего Рамзеса II в Луксорском храме – маленькая статуя супруги фараона едва достигает его бедра. Час спустя мы, полные любопытства, постучались у двери мастерской. Нам

открыл сам Великан, который с большой осторожностью провел нас через миниатюрную переднюю из картона в гостиную, где радушно предложил нам угощение и свой единственный стул: сидеть на нем мы могли по очереди. Его приятель Скорнберг (возможно, вы заметили его портрет в Салоне того года – запомнить его было бы не трудно, так как такого крохотного горбуна мне больше не приходилось видеть) произнес тост за здоровье хозяина. Взмахнув в увлечении бокалом, он снес перегородку, и нашим удивленным глазам предстал брачный чертог с ложем, искусно устроенным из ящика от концертного рояля. Пока Скорнберг заканчивал свою речь без дальнейших злоключений, Великан быстро починил стену с помощью двух номеров «Фигаро». После этого он приподнял занавеску и, лукаво посмотрев на краснеющую невесту, показал нам еще одну комнатку со стенами из «Пти журналь» – детскую.

Час спустя мы покинули бумажный домик, чтобы встретиться за ужином в одном из ресторанчиков Монмартра. Мне нужно было навестить нескольких пациентов, и, таким образом, я присоединился к обществу только около полуночи. Посреди просторного зала сидели мои друзья с раскрасневшимися лицами и во всю глотку пели шведский национальный гимн – в этом оглушительном хоре можно было различить громовой бас Великана и пронзительный фальцет маленького горбуна. Я пробирался между столиками, когда кто-то крикнул: «Долой пруссаков! Гнать их отсюда!» – и пивная кружка, пролетев над моей головой, угодила прямо в лицо Великана. Весь в крови, он вскочил, схватил за шиворот не того француза и бросил его, как мяч, через стойку в объятия хозяина ресторана, который закричал во весь голос: «Полиция, полиция!» Вторая кружка попала мне в нос и разбила очки, а третья свалила Скорнберга под стол. «Вон их! Вон!» – вопили все посетители, накидываясь на нас. Великан, держа в каждой руке по стулу, косил своих противников, как спелую рожь; Скорнберг, выскочив из-под стола, кусался и визжал, как разъяренная кошка, пока новая кружка не свалила его на пол без чувств. Великан поднял своего лучшего друга, ласково похлопал по спине и, крепко зажав его под мышкой, по мере сил прикрывал наше отступление к дверям, где полдесятка полицейских тут же арестовали нас и препроводили в участок на улице Дуэ. Мы сообщили наши имена и адреса, и нас заперли в комнате с решетками на окнах. Через два часа нас представили пред очи полицейского сержанта, который грубым голосом спросил меня, действительно ли я доктор Мунте с авеню Вилье, что я подтвердил. Посмотрев на мой распухший нос и разорванный, запачканный кровью костюм, он заметил, что по моему виду этого не скажешь. Затем он потребовал от меня объяснений, указав, что я как будто бы не так пьян, как вся остальная шайка этих немецких дикарей, и к тому же только я среди них, по-видимому, говорю по-французски. Я ответил, что мы шведы и мирно праздновали свадьбу, когда на нас вдруг напали посетители ресторанчика, возможно потому, что приняли нас за немцев. Сержант продолжал задавать мне вопросы, но его голос становился всё менее строгим, и он уже почти с восхищением поглядывал на Великана, который держал на коленях Скорнберга, еще не вполне пришедшего в сознание. Наконец с истинно французской галантностью он объявил, что не годится заставлять новобрачную ждать всю ночь такого великолепного супруга, а поэтому он до расследования намерен отпустить нас. Мы рассыпались в благодарностях и встали, собираясь уйти. Но, к моему ужасу, он вдруг остановил меня:

– А вы, пожалуйста, останьтесь, мне надо с вами поговорить.

Он снова посмотрел в свои бумаги, взглянул в справочную книгу и строго сказал:

– Вы назвались чужим именем, а это, предупреждаю вас, очень серьезный проступок. Но я готов дать вам возможность взять свои показания обратно. Кто вы?

Я сказал, что я доктор Мунте.

– А я могу вам доказать, что это не так, – сказал он строго. Взгляните сюда! – добавил он, указывая на справочник. – Доктор Мунте, проживающий на авеню Вилье, – кавалер ордена Почетного легиона. На вашем костюме много красных пятен, но красной ленточки я что-то не вижу.

Я сказал, что редко ее ношу. Посмотрев на свою пустую петлицу, он сказал со смехом, что ни за что не поверит, будто во Франции есть человек, который не станет носить орденскую ленточку, если она у него есть. Я предложил вызвать мою консьержку, которая подтвердила бы, что я не самозванец, но он отказался сделать это – утром мной займется сам комиссар. Затем он позвонил.

– Обыщите его, – приказал он двум полицейским.

Я с негодованием заявил, что он не имеет права меня обыскивать. Он ответил, что это не только его право, но и обязанность, так как речь идет о моей же пользе. В камерах сидят разные преступники, и он не может гарантировать, что за ночь меня не обкрадут, если у меня с собой

есть ценные вещи. Я сказал, что у меня при себе нет никаких ценных вещей, кроме нескольких франков, которые тут же ему протянул.

– Обыщите его, – повторил он.

В те дни я был очень силен, и меня держали два полицейских, пока третий обшаривал мои карманы. Он извлек из них двое золотых часов с репетиром, два старинных брегета и английские охотничьи часы.

Меня без дальнейших разговоров заперли в зловонную камеру. Я опустился на матрац, думая, что делать дальше. Самое правильное было бы настаивать на том, чтобы мне дали возможность немедленно снестись со шведским посольством, но я решил дождаться утра. Дверь отворилась, чтобы впустить субъекта весьма зловещего вида – полуапаша, полусутенера. Едва взглянув на него, я убедился в мудрости тюремных правил, из-за которых меня обыскивали.

– Смотри веселее, Чарли! – сказал он. – Значит, тебя зацапали? Ну, не вешай носа! Если ты везучий, так не позднее, чем через год, будешь возвращен обществу; а что ты везучий – и сомневаться нечего: не то не слямзил бы пять штук часов за одни день. Пять штук! Черт подери! Снимаю перед тобой шляпу за вами, англичанами, не угонишься.

Я сказал, что я не англичанин, а просто коллекционирую часы. Он ответил, что занимается тем же самым. Растянувшись на другом матраце, он пожелал мне спокойной ночи и приятных сновидений, и тотчас же захрапел. За перегородкой пьяная женщина принялась петь хриплым голосом. Он сердито рявкнул:

– А ну заткнись, Фифина, не то я разобью тебе морду!

Певица сразу умолкла и зашептала:

– Альфонс, мне надо сказать тебе важную вещь. Ты один?

Он ответил, что находится в обществе очаровательного молодого друга, который хотел бы знать, сколько теперь времени, но, к сожалению, забыл завести пять штук часов, которые постоянно носит при себе. Вскоре он снова уснул, возбужденные женские голоса понемногу затихли, и наступила тишина, прерываемая только шагами надзирателя, являвшегося каждый час посмотреть на нас в «глазок». Когда часы церкви Св. Августина пробили семь часов, меня отвели в кабинет комиссара. Он внимательно выслушал рассказ о моем приключении, не спуская с меня проницательного взгляда. Когда я упомянул о моей страсти к часам и сказал, что весь день я собирался зайти к Леруа отдать эти часы в чистку, а когда меня начали обыскивать, совершенно забыл о них, он громко рассмеялся и сказал, что ничего забавнее он в жизни не слышал – чистейший Бальзак! Открыв ящик стола, он вручил мне все мои часы.

– Просидев за этим столом двадцать лет, я научался разбираться в моих посетителях и вижу, что вы говорите правду.

Он вызвал сержанта, арестовавшего меня.

– Вы отстраняетесь от службы на неделю за то, что, вопреки инструкциям, не навели справки у шведского консула. Vous êtes un imbécile.[81]

Глава XIII. Мамзель Агата

Старые часы в передней били половину восьмого, когда я бесшумно, как призрак, проник в свою квартиру на авеню Вилье. Именно в эту минуту в столовой мамзель Агата каждый день принималась начищать бронзу на моем старинном обеденном столе, и я, таким образом, мог незаметно пробраться к себе в спальню, в мое единственное убежище. Весь остальной дом был полностью в руках мамзель Агаты. День-деньской напролет не зная покоя, как мангуст, она с тряпкой в руках бесшумно переходила из комнаты в комнату, выискивая, не осталось ли где-нибудь пыли, не валяется ли на полу разорванное письмо. Я открыл дверь в свою приемную и остолбенел. Склонившись над моим письменным столом, мамзель Агата рылась в моей утренней почте. Она подняла голову и в злобном молчании устремила свои белесые глаза на мою разорванную, испачканную кровью одежду, – ее безгубый рот безмолвствовал, пока она подыскивала наиболее язвящие слова.

– Боже милостивый, где бы он мог быть? – прошипела она наконец. Она всегда называла меня «он», когда сердилась – и, увы, весьма редко называла меня иначе.

[81] Вы болван (франц.).

– Я попал под лошадь, – объяснил я, давно уже привыкнув лгать мамзель Агате; в конце концов это была ложь во спасение.

Она рассматривала мои лохмотья взыскательным взглядом знатока, который только и ждет, что бы залатать, заштопать, починить. Мне даже показалось, что ее голос зазвучал несколько более приветливо, когда она приказала немедленно вручить ей мой костюм.

Я ускользнул к себе в спальню и принял ванну, а Розали принесла мне кофе. (Никто не умел варить кофе, как мамзель Агата!)

– Pauvre Monsieur,[82] – сказала Розали, беря мою одежду, чтобы отнести ее мамзель Агате. – У вас ничего не болит?

– Нет, – сказал я. – Я только боюсь!

Между мной и Розали не было секретов в том, что касалось мамзель Агаты: мы оба жили в смертельном страхе перед ней и были товарищами по оружию в ежедневной неравной борьбе за нашу жизнь. Розали, которая, собственно говоря, была уборщицей, спасла меня в тот день, когда сбежала кухарка, а теперь, после того как ушла и горничная, она осталась моей единственной прислугой. Я был очень огорчен, когда лишился кухарки, но вскоре мне пришлось признать, что ничего равного тем обедам, которыми кормила меня мамзель Агата, завладев кухней, я никогда не едал. Еще более неприятно мне было расстаться с горничной, крепкой бретонкой, которая скрупулезно соблюдала наш договор, обязывавший ее никогда не подходить к моему письменному столу и не касаться старинной мебели. Через неделю после приезда мамзель Агаты здоровье горничной совсем расстроилось. Руки у нее дрожали так, что она уронила мою лучшую фаянсовую вазу, а вскоре после этого она сбежала, второпях даже не захватив свои передники. В тот же день мамзель Агата принялась скоблить и тереть щеткой мои изящные стулья времен Людовика XVI, безжалостно выбивать палкой бесценные персидские ковры, мыть водой с мылом бледный мраморный лик моей флорентийской мадонны, и в конце концов сумела лишить стоявшую на моем письменном столе вазу из Губбио ее чудесного блеска. Если бы мамзель Агата родилась на четыреста лет раньше, ни одно произведение средневекового искусства не дошло бы до нас. Но когда, собственно, она родилась? Ее лицо осталось точно таким же, каким я запомнил его в мои детские годы в родительском доме. Мой старший брат унаследовал ее вместе с домом. Так как он был на редкость храбрым человеком, то сумел от нее избавиться и навязать ее мне. Мамзель Агата как раз то, что мне нужно, писал он. Такой экономки свет еще не видел. В этом он был совершенно прав. И с тех нор я делал всё, что мог, стараясь избавиться от нее. Я начал приглашать к обеду холостых друзей и случайных знакомых. Они все заявляли, что завидуют такой изумительной кухарке. Тогда я рассказывал, что собираюсь в ближайшее время жениться и мамзель Агата ищет новое место. Они тут же выражали желание посмотреть на нее – на чем всё и кончалось: второй раз ее уже никто видеть не хотел. Описать ее я не способен. У нее были жиденькие золотистые локоны, уложенные по ранневикторианской моде, – Розали считала, что это парик, но точно сказать не могу. Необыкновенно высокий и узкий лоб, полное отсутствие бровей, крохотные белесые глаза; лица как будто не существовало вовсе, а был только длинный, крючковатый нос и под ним узкий разрез, который редко раскрывался, показывая ряд длинных зубов, острых, как у хорька. Ее кожа отливала трупной синевой. Улыбка... нет, лучше я не стану ее описывать – мы с Розали больше всего боялись ее улыбки. Мамзель Агата говорила только по-шведски, но бегло бранилась по-французски и по-английски. Наверно, со временем она всё же научилась немного понимать по-французски иначе откуда у нее было столько сведений о моих пациентах? Я часто заставал ее врасплох у двери моей приемной, где она любила подслушивать, особенно когда я принимал дам. У нее было настоящее пристрастие к покойникам – когда кто-нибудь из моих пациентов был близок к смерти, она, казалось, веселела, а когда по авеню Вилье двигалась похоронная процессия, мамзель Агата непременно выходила на балкон. Она ненавидела детей и не могла простить Розали, что та дала кусок рождественского пирога детям консьержки. Она ненавидела мою собаку, вечно посыпала ковры порошком от блох и при виде меня немедленно начинала почесываться в знак протеста. Собака также возненавидела ее с первого взгляда – возможно, из-за чрезвычайно своеобразного запаха, исходившего от ее особы. Он напоминал мне мышиный запах бальзаковского кузена Понса, но в нем имелся какой-то особый, присущий только ей оттенок; мне допелось почувствовать его только еще раз в жизни, когда много лет спустя я вошел в заброшенную гробницу в Долине царей близ Фив, где со стен черными гроздьями свисали огромные летучие мыши.

---

[82] Бедный хозяин! (франц.).

Мамзель Агата выходила из дому лишь по воскресеньям, чтобы восседать в одиночестве на скамье в шведской церкви на бульваре Орвано и молиться богу, не знающему милосердия. На скамью рядом с ней никто никогда не садился – не находилось такого смельчака, а мой друг, шведский пастор, рассказывал, что когда он впервые причащал ее и вложил ей в рот облатку, она бросила на него такой злобный взгляд, что он испугался, как бы она не откусила ему палец.

Розали утратила былую веселость, совсем исхудала и начала поговаривать о своем намерении поселиться у замужней сестры в Турене. Конечно, мне было легче, чем ей, так как я весь день проводил вне дома. Но стоило мне вернуться, как силы покидали меня и смертоносная усталость сковывала мои мысли. А когда я узнал, что мамзель Агата лунатик, я окончательно потерял сон, и мне часто казалось, будто я ощущаю ее запах даже у себя в спальне. В конце концов я откровенно рассказал обо всем шведскому священнику Флигаре, который часто меня навещал и, вероятно, втайне подозревал страшную правду. Почему вы ее не отошлете? – как-то спросил он. – Так дальше продолжаться не может! Право, я начинаю верить, что вы ее боитесь. Если у вас не хватает решимости отказать ей от места, я готов сделать это за вас.

Я обещал пожертвовать его церкви тысячу франков, если только он сумеет избавить меня от мамзель Агаты.

– Я сегодня же поставлю ее в известность обо всем. Не беспокойтесь, зайдите завтра в ризницу после окончания службы, и вы услышите приятную новость.

На следующий день богослужения в шведской церкви не было, так как священник накануне вечером внезапно заболел и найти ему заместителя не успели. Я тотчас же пошел к нему на площадь Терн и услышал от его жены, что она как раз собиралась послать за мной. Накануне священник вернулся домой в полуобморочном состоянии – у него был такой вид, будто он встретил привидение, сказала его жена.

Возможно, так оно и было, подумал я, направляясь к двери его комнаты. Он сказал, что приступил к исполнению своей миссии и ждал, что мамзель Агата придет в ярость, но она только улыбнулась ему. Внезапно он ощутил какой-то очень странный запах, и ему стало дурно. Конечно, всему виной был этот запах.

– Нет, – сказал я, – улыбка!

Я велел ему оставаться в постели, пока я снова его не навещу, а когда он спросил, что с ним в конце концов такое, я сказал, что не знаю, но это была неправда – все симптомы мне были прекрасно известны.

– Да, кстати! – сказал я, собираясь уходить. – Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о Лазаре? Ведь вы пастор и должны знать о нем гораздо больше, чем я. Мне кажется, существует легенда...

– Лазарь, – сказал пастор слабым голосом, – вернулся в свой дом живым из могилы, где он три дня и три ночи покоился во власти смерти. Это чудо не подлежит сомнению – Лазаря видели Мария, Марфа и многие прежние друзья.

– Интересно, как он выглядел?

– Согласно легенде, даже и после чуда на его теле можно было заметить следы, оставленные смертью, – его кожа отливала трупной синевой, его длинные пальцы были холодны как лед, темные ногти на них поражали длиной, а к его одежде всё еще льнул тяжкий запах могилы. Когда Лазарь шел через толпу, которая собралась, чтобы встретить воскресшего, радостные слова приветствия замирали у людей на губах, тягостное оцепенение, как пыль, окутывало их мысли. Один за другим они убегали в страхе.

По мере того как священник рассказывал старую легенду, его голос всё слабел и слабел. Он беспокойно метался на кровати, и его лицо стало белее подушки под его головой.

– А вы уверены, что Лазарь был единственным восставшим из могилы? – спросил я. – Вдруг у него была сестра?

Священник с воплем ужаса закрыл лицо руками.

На лестнице я встретился с полковником Стаффом, шведским военным атташе, который заехал узнать, как себя чувствует пастор. Он попросил меня поехать к нему, так как хотел поговорить со мною по очень важному делу. Полковник достойно служил во французской армии во время войны 1870-го года и был ранен при Гравелоте. Он женился на француженке и был любимцем парижского света.

– Вы знаете, – начал полковник, когда мы сидели за чайным столом, – вы знаете, что я ваш друг и вдвое старше вас, а поэтому выслушайте меня спокойно – это в ваших же интересах. Мы с женой последнее время часто слышали жалобы на то, что вы обходитесь со своими

пациентами тиранически. Никому не нравится постоянное требование дисциплины и послушания. Дамы, особенно француженки, не привыкли к такому обращению, да еще со стороны молодого человека вроде вас, и уже прозвали вас Тиберием. К сожалению, вам, по-видимому, столь же свойственно приказывать, как другим, по вашему мнению, свойственно повиноваться. Вы ошибаетесь, мой юный друг! Никто не любит повиноваться, все хотят приказывать.

– Не согласен. Большинство мужчин и все женщины любят повиноваться.

– Подождите, пока вы женитесь, – сказал бравый полковник, поглядев на дверь, ведущую в гостиную. – Теперь перейдем к гораздо более важному обстоятельству, – продолжал он. – Ходят слухи, что в частной жизни вы не заботитесь о соблюдении приличий, что у вас под видом экономки живет какая-то таинственная женщина. Даже супруга английского консула говорила что-то подобное моей жене, которая вас, конечно, энергично защищала. Что скажут шведский посланник и его супруга, которые относятся к вам, как к сыну, когда они узнают обо всем этом, что рано или поздно, несомненно, произойдет? Послушайте, мой друг, это недопустимо для врача с вашим положением, который лечит так много английских и французских дам, принадлежащих к самому высокому кругу. Недопустимо! Если вам нужна любовница, это ваше дело! Но ради бога, уберите ее из своего дома – даже французы не вынесут такого нарушения приличия.

Я поблагодарил полковника и сказал, что он вполне прав, но я много раз пытался выдворить ее из моего дома, однако у меня недоставало на это сил.

– Да, конечно, это не легко, – согласился полковник. – Я и сам был молод. Если у вас не хватает решимости, я вам помогу. Можете положиться на меня, я не боюсь ни мужчин, ни женщин, я атаковал пруссаков при Гравелоте, я смотрел смерти в глаза в шести знаменитых сражениях.

– Погодите, пока вы не посмотрите в глаза мамзель Агате Свенсон, сказал я.

– Так, значит, она шведка? Тем лучше – в крайнем случае, я через посольство добьюсь ее высылки из Франции. Я зайду к вам завтра утром в десять, так что никуда не уходите.

– Нет, спасибо! Я никогда не остаюсь с ней, если могу этого избежать!

– И все-таки вы с ней спите! – вырвалось у озадаченного полковника.

Меня стошнило бы на его ковер, если бы он вовремя не подал мне виски с содовой, после чего я, пошатываясь, ушел, приняв приглашение отобедать у него завтра, чтобы отпраздновать победу.

На следующий день я обедал вдвоем с госпожой Стафф. Полковник был нездоров и просил меня зайти к нему после ужина. Жена полагала, что старая рана, полученная при Гравелоте, вновь дала себя знать. Бравый полковник лежал в постели с холодным компрессом на лбу. Он казался очень старым и больным, его глаза смотрели в пустоту, чего я никогда раньше за ним не замечал.

– Она улыбнулась? – спросил я.

Он задрожал всем телом и протянул руку за виски с содовой.

– Вы заметили на ее большом пальце длинный черный крючок, как у летучей мыши?

Он побледнел и стер пот со лба.

– Что же мне делать? – спросил я уныло, опуская голову.

– Есть только один выход, – ответил полковник слабым голосом. – Вы должны жениться, иначе вы сопьетесь.

Глава XIV. Виконт Морис

Я не женился и не спился.[83]

Я нашел иной выход – я почти перестал бывать на авеню Вилье. В семь часов утра Розали приносила мне в спальню чай и «Фигаро», и полчаса спустя я исчезал, чтобы вернуться ровно к двум часам, когда начинался прием. С последним пациентом я вновь исчезал и возвращался лишь

[83] **В.Э.:** В этой книге Мунте почему-то не упоминает ни одну из своих жен и вообще делает вид, будто он всю жизнь был холостяком. На самом деле он первый раз женился почти сразу после окончания университета (в 23 года) на шведской художнице Ультиме Хорнберг, с которой в конце своего парижского периода развелся (может быть, потому и покинул Париж, что там жила бывшая жена и ее друзья). В 1907 году (в 50 лет) он женился второй раз на богатой английской аристократке Хильде Пеннингтон-Меллор, с которой у него были два сына: Питер и Мелколм. Хильда пережила мужа и умерла в 1967 году.

ночью, пробираясь к себе в спальню тихо, точно вор. Жалованье Розали было удвоено. Она мужественно оставалась на своем посту и страдала только оттого, что ей нечего было делать – разве что открывать дверь. Всё остальное делала мамзель Агата: выколачивала ковры, чинила мою одежду, чистила мои башмаки, стирала мое белье и стряпала для меня. Понимая, что ей нужно связующее звено с внешним миром, а также какой-нибудь повод для ссор, мамзель Агата мрачно смирилась с присутствием Розали. Она даже один раз ей улыбнулась, дрожащим голосом сообщила Розали. Вскоре и Том начал избегать авеню Внлье из страха перед мамзель Агатой. Весь день он ездил со мной, навещая моих пациентов, почти не ел дома и никогда не заходил на кухню, куда обычно рвутся все собаки. Попав домой, он немедленно забирался в свою корзину в моей спальне, так как чувствовал себя там в относительной безопасности. Моя практика росла, и мне становилось всё труднее выкраивать время для наших воскресных веселых прогулок по Булонскому лесу. Собакам, как и людям, необходимо порой вдохнуть запах Матери Земли для поддержания бодрости духа. Пробежаться среди друзей-деревьев (пусть даже прирученных деревьев Булонского леса), поиграть в прятки со случайным знакомым среди кустов – что может быть лучше этого? Однажды, когда мы прогуливались по боковой аллее и наслаждались обществом друг друга, мы услышали за собой отчаянное фырканье и пыхтение, сопровождаемое приступами кашля и одышки. Я решил, что с кем-то случился припадок астмы, но Том немедленно распознал, что за нами, хрипя и задыхаясь, гонится маленький бульдог или мопс и просит подождать его. Через мгновение к моим ногам прижался полумертвый Лулу – жир мешал ему дышать, а утомление говорить. Его черный язык вывалился изо рта, а налитые кровью глаза вылезали из орбит от радости и волнения.

– Лулу! Лулу! – раздавался отчаянный крик из коляски, проезжавшей по главной аллее.

– Лулу! Лулу! – звал лакей, пробираясь к нам через кусты.

Лакей объяснил, что маркиза с Лулу, по обыкновению, вышла из коляски, чтобы пять минут погулять пешком для моциона, как вдруг Лулу возбужденно понюхал воздух и стремительно исчез в кустах. Горничная помогла готовой упасть в обморок маркизе сесть в коляску, и вот он уже полчаса ищет Лулу, а кучер ездит взад и вперед по аллее, расспрашивая всех встречных, не видели ли они маленького мопса.

Маркиза пролила поток радостных слез, когда я положил ей на колени Лулу, всё еще не обретшего дара речи. У него будет апоплексический удар, повторяла она, всхлипывая. Я прокричал ей в слуховую трубку, что он просто взволнован, однако на самом деле ни один старый, толстый мопс не был так близок к апоплексии, как Лулу в ту минуту. Так как я послужил невольной причиной всего случившегося, то мне оставалось только согласиться, когда его хозяйка пригласила меня поехать к ней выпить чаю. Том прыгнул мне на колени, и Лулу чуть не задохнулся от ярости. Затем он до конца поездки лежал неподвижно на коленях хозяйки, полностью лишившись сил, и только злобно сверкал одним глазом и сторону Тома, а другим нежно взирал на меня.

«Мне в жизни приходилось обнюхивать много вещей, – говорил этот глаз, но твой особый запах я не забыл, и он мне приятнее всех других. Какая радость, что я тебя снова нашел! Пожалуйста, возьми меня на колени вместо этой черной дворняжки. Дайте мне немного отдышаться, и я ей хорошенько задам!»

«Болтай, болтай, курносый уродец! – высокомерно сказал Том. – В жизни я ничего подобного не видел – даже стыдно чувствовать себя собакой. Породистый пудель, вроде меня, не рычит на колбасу, но все-таки придержи свой черный язык, не то как бы тебе вовсе без него не остаться!»

Когда мы допивали вторую чашку чаю, в гостиную вошел аббат, обычно посещавший маркизу в этот час. Добряк аббат пожурил меня за то, что я не сообщил ему о моем возвращении в Париж. Граф постоянно справляется обо мне и будет очень рад меня видеть. Графиня уехала в Монте-Карло, чтобы переменить обстановку. Теперь она совсем здорова и чувствует себя прекрасно. К сожалению, он не может сказать того же о графе, который опять проводит все дни в кресле, выкуривая одну сигару за другой. Аббат счел своим долгом предупредить меня, что виконт Морис страшно зол на шутку, которую я сыграл с ним в Шато-Рамо. Я внушил и ему, и тихому деревенскому доктору, что у него колит, – загипнотизировал его, чтобы помешать ему получить золотую медаль на соревнованиях Общества стрелков Франции. Аббат умолял меня всячески избегать виконта, готового в любую минуту прийти в ярость и затеять ссору – не далее

как месяц назад он вновь дрался на дуэли. Одному богу известно, что может произойти, если мы встретимся.

– Ничего не произойдет! – ответил я. – Мне нечего бояться этого негодяя, так как он боится меня. Прошлой осенью в курительной Шато-Рамо я доказал, что из нас двоих сильнее я, и, судя по вашим словам, он не забыл этого урока. Всё его преимущество передо мной заключается в том, что он может на расстоянии в пятьдесят шагов попасть из револьвера в летящую ласточку или жаворонка, тогда как я, по всей вероятности, промахнусь и по слону. Но вряд ли он когда-нибудь решит воспользоваться этим преимуществом: он никогда меня не вызовет на дуэль, так как, по его мнению, с такими, как я, не дерутся. Вы заговорили про гипноз, – не могу слышать этого слова, оно меня преследует потому, что я был учеником Шарко. Поймите же раз навсегда, что все эти глупости о силе гипноза – давно разоблаченная теория, которую современная наука отвергает. И виной тут был не гипноз, а воображение виконта. Этот болван воображает, будто я загипнотизировал его, но вовсе не я подсказал ему эту нелепую мысль, а он сам, – мы называем это самовнушением. Но тем лучше для меня. В результате он не рискнет причинить мне вред – во всяком случае, в моем присутствии.

– Но вы могли бы его загипнотизировать, если бы захотели?

– Без всякого труда. Он очень легко поддается внушению. Шарко с большим удовольствием демонстрировал бы его на своих еженедельных лекциях в Сальпетриер.

– Раз, по вашим словам, никакой гипнотической силы не существует, значит, и я, например, мог бы заставить его подчиниться моим приказаниям, как он подчиняется вашим?

– Да, если он будет верить, что вы обладаете подобной силой, но он в это не верит.

– Почему же?

– Вся трудность заключается именно в том, что пока ответить на ваш вопрос невозможно. Это еще сравнительно молодая наука, не вышедшая из пеленок.

– Могли бы вы заставить его совершить преступление?

– Только если он вообще на это способен. Но так как я убежден, что у него есть преступные наклонности, то в данном случае на этот вопрос можно ответить утвердительно.

– А могли бы вы заставить его отказаться от графини?

– Только если бы он сам этого хотел и добровольно подвергся гипнотическому внушению. Но даже тогда на это потребовалось бы много времени, потому что половой инстинкт у человека наиболее силен.

– Обещайте мне его избегать, так как он клянется, что при первой встрече изобьет вас хлыстом.

– Пусть попробует. Я знаю, как поступать в подобном случае. Не беспокойтесь, я вполне могу постоять за себя.

– К счастью, он находится со своим полком в Туре и не так скоро появится в Париже.

– Дорогой аббат, вы наивнее, чем я думал, – он сейчас в Монте-Карло с графиней и вернется в Париж, когда вернется она.

Уже на следующий день меня пригласили к графу как врача. Аббат оказался прав, графа я нашел в очень скверном состоянии, и физическом и душевном. Чем можно помочь пожилому человеку, если он весь день сидит в кресле, курит бесконечные сигары и думает только о своей молодой жене, которая уехала в Монте-Карло «переменить обстановку»? Ему не могло помочь и ее возвращение, когда она вновь вернулась к своей роли одной из самых восхитительных женщин парижского общества и все дни проводила у Ворта за примеркой новых платьев, а вечером отправлялась на бал или в театр, пожелав мужу спокойной ночи и холодно поцеловав его в щеку.

Чем больше я видел графа, тем больше он мне нравился, так как это был самый совершенный тип французского аристократа старого режима. Но истинная причина моего к нему расположения, быть может, заключалась в том, что я его жалел. В те дни я еще не подозревал, что могу привязываться только к тем, кого жалею. Наверно, именно поэтому я ощутил неприязнь к графине, снова увидев ее – в первый раз после нашей встречи под липой в парке Шато-Рамо, когда светила полная луна и сова спасла меня от совсем иного чувства к ней. Да, она мне вовсе не нравилась, когда я сидел рядом с аббатом и через стол наблюдал, как весело она смеялась шуткам виконта – в том числе и тем, которые, судя по его наглым взглядам в мою сторону, отпускались в мой адрес. Ни он, ни она не сказали со мной ни одного слова. Графиня рассеянно пожала мне руку и больше не обращала на меня внимания. Виконт вообще игнорировал мое присутствие. Графиня осталась такой же красавицей, но это была совсем другая женщина. Она

выглядела цветущей, и меланхоличное выражение исчезло из ее глаз. Я с первого взгляда понял, что в парке Монте-Карло светила полная луна, но на липе не пряталась благоразумная сова. Виконт Морис сиял самодовольством, и его победительный вид был особенно неприятен.

– Вот так, – сказал я аббату, когда мы сидели в курительной после обеда. – Любовь действительно слепа, если только это можно назвать любовью. Она заслуживала лучшей судьбы, чем оказаться в объятьях этого дегенеративного болвана.

– Вы знаете, всего месяц назад граф заплатил его карточные долги, иначе ему пришлось бы уйти из полка, а к тому же ходят слухи о подложном чеке. Говорят, он тратит бешеные деньги на одну известную кокотку. Подумать только, что такой человек повезет сегодня вечером графиню на бал-маскарад.

– Жаль, что я не умею стрелять.

– Ради бога, не говорите так. И я предпочел бы, чтобы вы ушли. Сейчас он придет сюда пить коньяк с содовой.

– Ему следовало бы пить коньяка поменьше – вы заметили, как дрожали его руки, когда он капал лекарство в стакан с вином? Во всяком случае, это хорошее предзнаменование для ласточек и жаворонков! И не смотрите так озабоченно на дверь – он предпочитает общество графини в гостиной. К тому же мне пора, меня ждет экипаж.

Я пошел наверх, чтобы еще раз взглянуть на графа, – он уже собирался лечь и сказал, что очень хочет спать, счастливец! Когда я с ним прощался, я услышал внизу отчаянный собачий визг. Я знал, что Том ждет меня в вестибюле в своем привычном углу – граф, очень любивший собак, не только дал на это постоянное разрешение, но и приказал постлать там для него особый коврик. Я бросился вниз. Том лежал, прижавшись к входной двери, и изо рта у него лилась кровь. Виконт Морис яростно бил его ногой. Я набросился на негодяя так неожиданно, что он потерял равновесие и упал на пол. Второй удачно рассчитанный удар снова опрокинул его, когда он пытался встать. Схватив шляпу и пальто, я, держа на руках собаку, вскочил в свой экипаж и помчался на авеню Вилье. С самого начала стало ясно, что бедняга Том получил тяжелые внутренние повреждения. Я просидел с ним всю ночь. Но его дыхание становилось всё тяжелее, а кровотечение не прекращалось. Утром я застрелил своего верного друга, чтобы избавить его от дальнейших страданий.

Я почувствовал только облегчение, когда днем получил записку от двух товарищей виконта Мориса, которые просили меня назвать им моих секундантов, так как виконт, после некоторых колебаний, всё же решил оказать мне честь и т.д.

Я с трудом уговорил шведского военного атташе полковника Стаффа помочь мне в этом деле. Вторым моим секундантом согласился стать мой друг Эдельфельд, известный финский художник. Норстрема я попросил присутствовать на дуэли как врача.

– Никогда в жизни мне так не везло, как за эти последние сутки, сказал я Норстрему, когда мы с ним обедали за нашим обычным столиком в кафе «Режанс». – Говоря откровенно, я страшно боялся, что буду бояться. Однако мне было так любопытно узнать, как я буду держаться в этой истории, что ни о чем другом я просто не думал. Ты ведь знаешь, как я интересуюсь психологией!

Норстрем в этот вечер, по-видимому, нисколько не интересовался психологией, как, впрочем, и всегда. Он был необычайно молчалив и торжествен, и я заметил в его тусклых глазах такую нежность, что мне стало стыдно.

– Послушай, Аксель, – сказал он слегка охрипшим голосом, – послушай...

– Не смотри на меня так, а главное – не предавайся сентиментальности, она не идет к твоему типу красоты. Поскреби свой глупый затылок и попытайся понять ситуацию. Неужели ты хоть на минуту поверил, будто я так глуп, что был бы способен подставить себя завтра в лесу Сен-Клу под пулю этого дикаря, если бы думал, что он может меня убить? Это слишком нелепое предположение, чтобы о нем говорить серьезно. Кроме того, эти французские дуэли – чистейшей воды фарс, как тебе отлично известно. Мы с тобой не раз, как врачи, участвовали в этих комедиях, когда актеры порой попадают в дерево, но только не друг в друга. Давай разопьем бутылочку шамбертена и ляжем спать – от бургундского меня всегда клонит ко сну, а после смерти моей бедной собаки я почти не смыкал глаз, но сегодня я во что бы то ни стало должен уснуть.

Утро было холодное и туманное. Мой пульс бился ровно и не учащенно, но я заметил какое-то странное подергивание в икрах, а кроме того, мне трудно было говорить, и как я ни старался, мне не удалось отхлебнуть коньяка из фляжки Норстрема, которую он протянул мне,

когда мы выходили из экипажа. Бесконечные предварительные формальности раздражали меня тем больше, что я ни слова в них не понимал. Как это всё глупо, какая напрасная трата времени, думал я. Насколько проще было бы отхлестать его на английский манер – и дело с концом. Кто-то сказал, что туман рассеялся настолько, что уже не помешает целиться. Это меня удивило, так как мне казалось, что туман, наоборот, сгустился. Тем не менее я отлично видел виконта Мориса, стоявшего напротив меня в обычной нагло-небрежной позе, с папиросой в зубах – он, по-видимому, совсем спокоен, пришло мне в голову. В кустах позади меня запела малиновка, и я принялся размышлять о том, почему эта крошка так задержалась в лесу Сен-Клу, но полковник Стафф вложил мне в руку длинноствольный пистолет.

– Цельтесь ниже, – прошептал он.

– Огонь! – скомандовал резкий голос.

Я услышал выстрел. Я увидел, что виконт выронил папиросу изо рта и к нему бежит профессор Лаббе. Секунду спустя я обнаружил, что сижу в карете полковника Стаффа, а напротив сидит Норстрем и широко улыбается. Полковник похлопал меня по плечу, но все молчали.

– Что случилось? Почему он не стрелял? Я не желаю никакой милости от этой скотины, я сам его вызову, я...

– Ничего подобного вы не сделаете. Благодарите бога за свое чудесное спасение, – прервал меня полковник. – Он очень старался вас убить и, конечно, убил бы, дай вы ему время для второго выстрела. К счастью, вы выстрелили одновременно: опоздай вы хоть на долю секунды, вы не сидели бы сейчас здесь. Разве вы не слышали, как просвистела пуля над вашей головой? Взгляните-ка!

Я посмотрел на свою шляпу – и внезапно занавес задернулся и я перестал играть героя. Неумелый грим храбреца стерся, и из-под него выглянуло лицо подлинного человека – человека, боящегося смерти. Дрожа от страха, я забился в угол экипажа.

– Я горжусь вами, мой юный друг, – продолжал полковник. – Мое солдатское сердце радовалось, глядя на вас, – я и сам бы не мог держаться лучше! Когда мы при Гравелоте поскакали на пруссаков...

Мои зубы стучали так, что конца его фразы я не расслышал. Мной овладели слабость и тошнота, и, когда я хотел попросить Норстрема опустить окно, чтобы вдохнуть воздуха, язык мне не повиновался. Мне хотелось распахнуть дверцу и броситься наутек, но я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

– Он потерял много крови, – усмехнулся Норстрем. – Профессор Лаббе сказал, что пуля прошла сквозь основание правого легкого. Ему повезет, если он пролежит в постели не больше двух месяцев.

Мои зубы сразу перестали стучать, и я начал внимательно слушать то, что говорили мои спутники.

– Я и не подозревал, что вы такой блестящий стрелок! – объявил бравый полковник. – Почему вы сказали, что никогда прежде не держали в руках пистолета?

Я вдруг расхохотался без всякой причины.

– Тут нет ничего смешного, – строго сказал полковник. – Ваш противник тяжело ранен. У Лаббе был очень озабоченный вид, и еще неизвестно, чем это кончится.

– Тем хуже для него! – сказал я, чудом обретая дар речи. – Он убил мою беззащитную собаку, в часы досуга он стреляет ласточек и жаворонков, – он это заслужил! Вам известно, что афинский ареопаг приговорил к смерти мальчика, который выколол глаза птице?

– Но ведь вы не афинский ареопаг!

– Нет. Но если виконт умрет, в его смерти я также не буду виноват. Я ведь даже не успел прицелиться – пистолет выстрелил сам собою. Легкое ему прострелил не я, это сделал кто-то другой. Кроме того, раз уж вам так жаль этого негодяя, то позвольте задать вам вопрос – вы рекомендовали мне целиться ниже для того, чтобы я промахнулся?

– Я рад, что вы вновь обрели красноречие, милейший хвастун, – улыбнулся полковник. – Когда я вел вас к карете, вы бормотали что-то несуразное про малиновок.

Когда мы проехали Порт-Майо, я уже обрел полную власть над своими нелепыми нервами и был очень доволен собой. Когда я подъезжал к авеню Вилье, мне почудилось, что из утреннего тумана, точно голова медузы, возникло лицо мамзель Агаты и ее белесые глаза грозно уставились на меня. Я посмотрел на часы и ободрился – была половина восьмого.

«Она трет бронзу на обеденном столе, – подумал я, – и, если удача от меня не отвернется, я сумею незаметно проскользнуть к себе в спальню, подав Розали знак принести мне чаю».

Розали вошла на цыпочках с завтраком и «Фигаро».

– Розали! Вы прелесть! Ради бога, не допускайте ее в переднюю: я хочу через полчаса улизнуть. И еще – почистите меня немного щеткой, это крайне необходимо.

– Но господин доктор не может навещать пациентов в этой старой шляпе! Поглядите-ка – спереди круглая дырочка и сзади такая же. Чудно! Моль ее прогрызть не могла – весь дом пропах нафталином с тех пор, как мамзель Агата поселилась тут. Может быть, крыса? Комната мамзель Агаты кишит крысами. Мамзель Агата любит крыс.

– Нет, Розали, это червь смерти – его зубы тверды, как сталь, и он может прогрызть такую дырочку не только в шляпе, но и во лбу человека, если тому не повезет.

– Почему бы господину доктору не подарить эту шляпу старику Гаэтано, шарманщику? Как раз сегодня день, когда он приходит играть под балконом.

– Можете подарить ему любую из моих шляп, но только не эту; ее я хочу сохранить, чтобы иногда смотреть на эти две дырочки, ибо они знаменуют удачу.

– А почему господин доктор не носит цилиндр, как другие доктора, – это куда элегантнее?

– Дело не в шляпе, а в голове. А моя голова совсем неплоха, особенно когда мне с вашей помощью удается ускользнуть от мамзель Агаты.

Глава XV. Джон

Я сидел за завтраком и читал «Фигаро». Ничего особенно интересного. Вдруг мой взгляд упал на заметку под кричащим заголовком «Гнусное занятие»:

> «Мадам Рекэн, дипломированная акушерка первого класса, практиковавшая на улице Гране, была арестована вчера в связи со смертью молодой девушки, наступившей при подозрительных обстоятельствах. Выдан ордер на арест одного иностранного врача, который, как опасаются, уже успел покинуть Францию. Мадам Рекэн обвиняется еще и в том, что порученные ее попечению новорожденные исчезали бесследно».

Газета выпала у меня из рук. Мадам Рекэн, дипломированная акушерка, улица Гране! За последние годы я видел столько страданий, столько трагедий разыгралось у меня на глазах, что я совсем забыл эту историю. Но стоило мне увидеть заметку, как всё ожило, – казалось, что вчера, а не три года назад была та страшная ночь, когда я познакомился с мадам Рекэн. Прихлебывая чай, я перечитывал заметку и радовался, что эта гнусная женщина в конце концов попалась. Радовало меня и воспоминание, что в ту незабываемую ночь мне было дано вырвать из ее рук и рук ее подлого сообщника две жизни – матери и ребенка. Но тут же мне в голову пришла другая мысль: а что я сделал для тех, кого тогда спас? Чем я помог матери, которую уже покинул другой мужчина в час, когда она больше всего в нем нуждалась?

«Джон, Джон! – с отчаянием позвала она, вдыхая хлороформ. – Джон, Джон!»

А я? Разве я поступил лучше, чем он? Ведь и я покинул ее в час, когда она нуждалась во мне? Какие муки она должна была перенести перед тем, как попасть и руки этой страшной женщины и моего бессердечного коллеги, которые, несомненно, убили бы ее, если бы не я! А какие муки ждали ее, когда, очнувшись, она вернулась к жестокой действительности!

А полузадохнувшийся ребенок, который взглянул на меня голубыми глазками, когда впервые вдохнул живительный воздух, который я вдувал в его легкие, прикасаясь губами к его губам? Чем я помог этому ребенку? Я вырвал его из рук милостивой смерти, чтобы отдать мадам Рекэн! Что она сделала с голубоглазым мальчиком? Оказался ли он в числе тех восьмидесяти процентов беспомощных пассажиров «поезда кормилиц», которые, согласно официальной статистике, умирали на первом году жизни, или в числе остальных двадцати процентов, которых ожидала, может быть, даже худшая судьба?

Час спустя я уже получил от тюремных властей разрешение посетить мадам Рекэн. Она меня тотчас же узнала, и так радостно со мной поздоровалась, что мне стало неловко перед провожавшим меня надзирателем.

Мальчик был отослан в Нормандию, и ему прекрасно живется – она только что получила о нем самые лучшие известия от его приемных родителей, которые его нежно любят. К

сожалению, она не может сообщить их адреса – в ее список закралась неточность. Возможно, хотя и маловероятно, что ее муж запомнил адрес.

Я был убежден, что ребенок умер, но, чтобы не оставить неиспользованной ни одной возможности, пригрозил, что предъявлю ей обвинение в детоубийстве, а также в присвоении оставленной ей на хранение ценной бриллиантовой броши, если через сорок восемь часов у меня не будет адреса приемных родителей мальчика. Она выдавила две–три слезы из своих холодных глаз и поклялась, что брошку не украла, а сохранила на память о прелестной молодой даме, за которой нежно ухаживала, как за родной дочерью.

– В вашем распоряжении сорок восемь часов, – сказал я и оставил мадам Рекэн ее мыслям.

Утром на второй день меня посетил достойный супруг мадам Рекэн, отдал мне квитанцию на заложенную брошь и сообщил название трех нормандских деревень, куда мадам Рекэн в тот год отправляла порученных ей младенцев. Я тотчас же послал мэрам указанных деревень просьбу выяснить, нет ли среди местных приемышей голубоглазого мальчика примерно трех лет. После долгого ожидания два мэра ответили отрицательно, а третий вообще не ответил. Тогда я написал трем кюре этих деревень, и через несколько месяцев кюре Вильруа сообщил мне, что у жены сапожника живет мальчик, отвечающий моему описанию. Его прислали из Парижа три года назад, а глаза у него несомненно голубые.

Мне еще не приходилось бывать в Нормандии; близилось рождество, и я решил, что могу позволить себе маленький отпуск. В сочельник я постучал в дверь сапожника. Не получив ответа, я без приглашения вошел в темную каморку, где у окна стоял низкий рабочий стол; на полу валялись рваные, грязные сапоги и башмаки всех размеров, а на веревке под потолком сушились рубашки и нижние юбки. Простыни и одеяла неоправленной кровати были неописуемо грязны. На каменном полу зловонной кухни сидел полуголый мальчик и ел сырую картофелину. Его голубые глаза испуганно взглянули на меня, он уронил картошку, инстинктивно поднял худые ручонки, словно защищаясь от удара, и быстро пополз в соседнюю комнату. Я поймал его в ту минуту, когда он уже забирался под кровать, и посадил на стол, чтобы посмотреть его зубы. Да, мальчику было около трех с половиной лет. Это был маленький скелет с худыми руками и ногами, впалой грудью и вздутым животом. Он неподвижно сидел у меня на коленях и не издал никакого звука, даже когда я открывал ему рот, чтобы осмотреть зубы. Его усталые безрадостные глаза были такими же голубыми, как у меня. Дверь распахнулась, и со страшными ругательствами в комнату ввалился сапожник, мертвецки пьяный. Позади него на пороге, оцепенело глядя на меня, стояла женщина с младенцем в руках; за ее юбку цеплялось еще двое малышей. Сапожник, подкрепляя свои слова бранью, заявил, что будет рад отделаться от мальчишки, но пусть сначала заплатят причитающиеся ему деньги. Он много раз писал мадам Рекэн, но так и не получил ответа. Не воображает же она, что он будет кормить этого крысенка на свой тяжкий заработок? Его жена сказала, что теперь у нее есть собственный ребенок и еще двое на воспитании и она охотно отдаст мальчика. Она что-то шепнула сапожнику, и оба стали внимательно изучать мое лицо и лицо ребенка. Едва они вошли, как в глазах мальчика вновь появился испуг и ручонка, которую я держал, задрожала. К счастью, я вовремя вспомнил, что приеду сюда в сочельник – теперь я вытащил из кармана деревянную лошадку и протянул ее малышу. Он взял ее молча, с недетским безразличием.

– Посмотри, – сказала жена сапожника, – какую красивую лошадку привез тебе из Парижа твой папа. Посмотри же, Жюль!

– Его зовут Джон, – сказал я.

– Он всегда куксится, – объяснила женщина. – Он ничего не говорит. Даже «мама» не говорит и никогда не улыбается.

Я завернул его в мой плед и пошел к кюре, который был так любезен, что послал свою экономку купить шерстяную рубашку и теплый платок для нашего путешествия.

Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Как пастырь, я должен бичевать и наказывать безнравственность и порок, но не могу не сказать вам, мой юный друг, что вы поступаете достойно, стараясь хотя бы искупить свой грех – грех тем более отвратительный, что кара за него падает на невинных детей. Его давно следовало бы забрать отсюда. Я схоронил здесь десятки этих бедных, брошенных детей, и скоро мне пришлось бы похоронить и вашего сына. Вы поступили хорошо, и я благодарю вас! – закончил старик, похлопав меня по плечу.

Мы опаздывали к парижскому ночному экспрессу, и времени для объяснений не было. Джон спокойно проспал всю ночь, укутанный в теплый платок, а я сидел рядом, размышляя, что мне с ним делать дальше? Если бы не мамзель Агата, я с вокзала наверное отвез бы его прямо на авеню Вилье. Вместо этого я отправился на улицу Сены в приют Святого Иосифа к монахиням, которых я хорошо знал. Они обещали взять мальчика на сутки, пока не удастся подыскать для него что-нибудь подходящее. Они могли рекомендовать мне очень приличную семью – муж работает на норвежском маргариновом заводе в Пантене, и они только что потеряли единственного ребенка. Это предложение мне понравилось, я тотчас же туда поехал, и на следующий день мальчик был уже устроен в своем новом доме. Жена рабочего показалась мне неглупой и хозяйственной женщиной; судя по выражению ее лица, она была довольно вспыльчива, однако монахини заверили меня, что о своем ребенке она заботилась с истинной самоотверженностью. Она получила деньги для экипировки мальчика и вперед за три месяца – сумму меньшую, чем я тратил на папиросы. Я решил не давать ей моего адреса – одному богу было известно, что могло произойти, проведай мамзель Агата о существовании Джона. В случае необходимости – например, если бы мальчик заболел – Жозефина должна была сообщить об этом монахиням. К сожалению, такой случай представился очень скоро. Джон заболел скарлатиной и чуть не умер. Скарлатина свирепствовала в квартале Пантен среди детей скандинавских рабочих, и мне приходилось бывать там постоянно. Детям, больным скарлатиной, нужны не лекарства, а лишь заботливый уход и игрушки, так как выздоровление тянется долго. У Джона было и то и другое – его приемная мать, казалось, была очень добра к нему, а я уже давно включил куклы и лошадки в мою фармакопею.

– Он какой-то странный! – жаловалась Жозефина. – Он не говорит «мама», никогда не улыбается, – он не улыбнулся, даже когда вы прислали ему Санта-Клауса.

Дело в том, что уже вновь наступило рождество – мальчик провел у своей новой приемной матери целый год, для меня полный забот и труда, для него сравнительно счастливый. Жозефина действительно оказалась очень вспыльчивой и нередко дерзила мне, когда я делал ей выговор за то, что мальчик ходит грязный или за то, что она никогда не открывает окна. Но я ни разу не слышал, чтобы она сказала грубое слово ребенку, и хотя вряд ли он к ней привязался, но по его глазам я видел, что он ее не боится. Он оставался непонятно равнодушным ко всем и ко всему. Постепенно я начал всё больше тревожиться из-за него и совсем утратил доверие к его приемной матери. Взгляд Джона снова стал испуганным, и было легко заметить, что Жозефина заботится о нем всё меньше и меньше. У меня с ней происходили частые стычки, которые обычно кончались тем, что она сердито требовала, чтобы я забрал его, если я чем-то недоволен, а ей он давно надоел! Я без труда догадался о причине этой перемены: Жозефина готовилась стать матерью. После рождения ее собственного ребенка дела пошли еще хуже, и в конце концов я заявил ей, что заберу мальчика, как только найду для него что-нибудь подходящее. Наученный горьким опытом, я не хотел ошибиться еще раз.

Несколько дней спустя я вернулся домой перед началом приема и, открыв дверь, услышал гневный женский голос. В приемной с обычным терпением меня ждали многочисленные пациенты. Джон сидел, съежившись, в углу дивана рядом с женой английского священника. Посреди комнаты стояла Жозефина, что-то выкрикивала и отчаянно жестикулировала. Увидев меня в дверях, она бросилась к дивану, схватила Джона и буквально бросила его мне. Я едва успел подхватить мальчика на руки.

– Где уж мне ходить за барчонком, вроде вас, господин Джон! – завопила она. – Поживи теперь у доктора, а мне надоели его попреки и вранье, будто ты сирота. Стоит посмотреть на твои глаза, и сразу видно, кто твой отец!

Она откинула портьеру, чтобы выбежать вон, и чуть не споткнулась о мамзель Агату, которая так посмотрела на меня своими белесыми глазами, что я прирос к полу. Жена священника поднялась с дивана и выплыла из комнаты, не забыв подобрать юбки, когда проходила мимо меня.

– Возьмите, пожалуйста, мальчика в столовую и побудьте с ним, пока я не приду! – сказал я мамзель Агате.

Она возмущенно вытянула руки, как будто отстраняя что-то нечистое, щель под ее крючковатым носом растянулась в ужасной улыбке, и она исчезла вслед за супругой священника.

Я сел за завтрак, дал Джону яблоко и позвонил Розали.

– Розали, – сказал я, – возьмите деньги, купите себе бумазеевое платье, два белых передника и вообще всё, что нужно, чтобы иметь приличный вид. С нынешнего дня вы получаете

повышение и будете нянькой этого мальчика. Сегодня он переночует у меня в спальне, а с завтрашнего дня вы с ним будете спать в комнате мамзель Агаты.

– А как же мамзель Агата? – спросила Розали, бледнея от страха.

– Мамзель Агате я откажу от места, как только кончу завтракать.

Я отослал своих пациентов и направился к комнате мамзель Агаты. Дважды я поднимал руку, чтобы постучать, и дважды опускал ее. Я так и не постучал. Я решил, что будет разумнее отложить разговор до вечера, когда мои нервы несколько успокоятся. Мамзель Агаты не было ни слышно, ни видно. Розали приготовила на обед прекрасное тушеное мясо и молочный пудинг, которым я поделился с Джоном, – все француженки ее сословия хорошие кухарки. Успокоив свои нервы двумя–тремя лишними рюмками вина, я пошел к двери мамзель Агаты, всё еще дрожа от гнева. Стучать я не стал. Я вдруг сообразил, что разговор с ней сейчас обеспечит мне бессонную ночь, а я настоятельно нуждался в том, чтобы выспаться. Было куда лучше отложить это свидание до утра.

За завтраком мне пришла мысль, что правильнее всего будет отказать ей письменно. Я сел, намереваясь сочинить громовое письмо, но тут Розали принесла мне записку, в которой мамзель Агата извещала меня, что ни одна порядочная женщина не может и дня оставаться в моем доме, что она сегодня же покидает его навеки и не желает меня больше видеть – как раз те самые слова, которые я собирался написать сам. Незримое присутствие мамзель Агаты еще тяготело над домом, но я уже отправился купить для Джона кроватку и лошадь-качалку, в награду за то, что он для меня сделал. На следующий день ко мне, сипя от радости, вернулась кухарка. Розали была счастлива, и даже Джон как будто был доволен своим новым домом, когда я вечером пришел посмотреть, как он засыпает в своей уютной кроватке. Я же блаженствовал, как школьник в начале каникул.

Но только никаких каникул у меня не было. С утра до вечера я занимался моими пациентами, а довольно часто и пациентами моих коллег, которые стали всё чаще приглашать меля на консилиум, чтобы снять с себя часть ответственности – к большому моему удивлению, потому что я, даже тогда, уже не страшился ответственности.

В дальнейшем я понял, что это был один из секретов моего успеха. Другим секретом, разумеется, была моя постоянная удача, настолько поразительная, что я начал подумывать, нет ли у меня дома какого-нибудь талисмана. Я даже стал лучше спать с тех пор, как начал по вечерам навешать спящего в своей кроватке мальчика.

Жена английского священника не пожелала больше лечиться у меня, но ее место на диване в моей приемной заняли многие ее соотечественники. Имя профессора Шарко было окружено таким сиянием, что отблески его ложились даже на мельчайшие планетки вблизи этого светила. Англичане, по-видимому, считали, что их врачи понимают в нервных заболеваниях меньше своих французских коллег. Так это было или не так, для меня, во всяком случае, подобное положение вещей оказалось очень благоприятным. Меня даже пригласили в Лондон на консилиум как раз в те дни. Разумеется, я был очень польщен и решил сделать всё от меня зависящее. Я не знал больную, но удачно лечил ее родственницу, чем, конечно, и объяснялось это приглашение. По мнению моих двух коллег, которые с мрачными лицами стояли у кровати, пока я обследовал больную, ее состояние было не просто тяжелым, но безнадежным. Их пессимизм заразил весь дом, и воля больной была парализована отчаянием и страхом смерти. Вероятно, мои коллеги знали ее организм лучше, чем я. Зато я знал то, что им, по-видимому, не было известно, – я знал, что нет лекарства сильнее надежды и что малейший намек на пессимизм в выражении лица или словах врача может стоить пациенту жизни. Я не стану вдаваться в медицинские подробности, однако обследование убедило меня, что наиболее серьезные симптомы объясняются нервным расстройством и душевной апатией. Мои коллеги следили за мной, пожимая могучими плечами, когда я положил больной руку на лоб и спокойным голосом сказал, что в эту ночь ей не понадобится морфий, она и без него будет спать хорошо, а утром ей станет лучше, и всякая опасность минует, когда на следующий день я уеду из Лондона. Через несколько минут она уснула крепким сном, за ночь температура у нее упала (с быстротой, которая мне даже не понравилась), пульс стал ровным, и утром, улыбнувшись мне, она сказала, что ей гораздо лучше.

Ее мать умоляла меня задержаться в Лондоне еще на один день и посмотреть ее невестку, о которой все они очень беспокоятся. Муж последней, полковник, хотел показать ее врачу-невропатологу, сама она тщетно уговаривала ее обратиться к доктору Филлипсу, считая, что она, несомненно, поправится, если у нее будет ребенок. К сожалению, у ее невестки необъяснимое

предубеждение против врачей, и она, несомненно, откажется лечиться у меня, но можно устроить так, чтобы я сидел с ней рядом за обедом и, таким образом, мог бы получить представление о ее болезни. Может быть, ей поможет Шарко? Муж ее обожает, у нее есть всё, чего можно пожелать, прекрасный дом на Грувнор-сквер, чудесное старинное имение в Кенте. Они только что вернулись из длительной морской поездки на собственной яхте в Индию. Ее томит какое-то странное беспокойство, и она вечно переезжает с места на место, как будто ища чего-то. В ее глазах застыла мучительная печаль. Раньше она интересовалась живописью, сама хорошо рисовала и даже провела целую зиму в Париже, работая в мастерской Жюльена. Теперь она ко всему равнодушна и ничем не интересуется, за исключением, пожалуй, детских благотворительных учреждений, на которые жертвует значительные суммы.

Я согласился остаться с большой неохотой, так как спешил возвратиться в Париж – меня беспокоил кашель Джона. Хозяйка дома забыла предупредить меня, что ее невестка, рядом с которой меня посадили, была удивительно красива. Но меня поразила не только ее красота, но и грусть в ее чудесных темных глазах. Ее лицо казалось безжизненным. По-видимому, со мной ей было скучно, и она не трудилась скрывать этого. Я сказал, что в этом году в Салоне было выставлено несколько хороших картин – я слышал от ее золовки, что она училась живописи в мастерской Жюльена. Была ли она знакома с Марией Башкирцевой, которая также занималась там? Нет, но она слышала о ней.

Кто о ней не слышал! «Муся» усердно себя рекламировала. Я знал ее довольно близко, и мне редко приходилось встречать таких умных молодых женщин, но у нее не было сердца – прежде всего это была позерка, не способная любить никого, кроме себя. Скука на лице моей соседки стала еще заметнее, и я переменил тему в надежде, что теперь мне больше повезет – я сказал, что провел этот день в детской больнице в Челси и был приятно удивлен, сравнивая ее с парижской сиротской больницей, где мне часто приходится бывать.

Она сказала, что считала наши детские больницы очень хорошими.

Я ответил, что это не так: смертность среди французских детей и в больницах и вне больниц невероятно высока. Я рассказал ей о тысячах брошенных младенцев, которых отправляют в провинцию.

Тут в первый раз ее грустные глаза обратились на меня, застывшее безжизненное выражение исчезло с ее лица, и я подумал, что сердце у нее, быть может, доброе. Прощаясь с хозяйкой дома, я сказал, что ни мне, ни самому Шарко тут помочь не удастся – она права: следует обратиться к доктору Филлипсу. Ее невестка будет совсем здорова, если станет матерью.

Джон как будто обрадовался мне, но когда он сидел рядом со мной за завтраком, я снова заметил, как он худ и бледен. Розали сказала, что он сильно кашлял по ночам. Вечером у него немного поднялась температура, и мы несколько дней продержали его в постели. Потом его маленькая жизнь вошла в обычную колею: по утрам, серьезный и молчаливый, он завтракал со мной, а днем ходил гулять с Розали в парк Монсо.

Недели через две после моего возвращения из Лондона я, к своему удивлению, увидел у себя в приемной английского полковника. Он объяснил, что через неделю они должны быть в Марселе, откуда отправятся на своей яхте в плавание по Средиземному морю, а пока его жена решила задержаться в Париже и сделать кое-какие покупки. Он пригласил меня позавтракать с ними в отеле «Рейн» и сказал, что жена его была бы очень мне благодарна, если бы потом я показал ей какую-нибудь детскую больницу. От завтрака я должен был отказаться, и мы условились, что она заедет за мной на авеню Вилье после приема. Моя приемная была еще полна народу, когда ее элегантное ландо остановилось перед домом. Розали от моего имени попросила ее заехать еще раз через полчаса или подождать в столовой, пока я не освобожусь. Полчаса спустя я нашел ее в столовой – у нее на коленях сидел Джон и показывал ей своп игрушки.

– У него ваши глаза, – сказала она. – Я не знала, что вы женаты.

Я ответил, что я холост. Она немного покраснела и снова занялась новой книжкой с картинками, которую смотрела с Джоном. Потом, набравшись храбрости, она с настойчивым женским любопытством спросила, была ли его мать шведкой – ведь у него такие светлые волосы и такие голубые глаза. Я отлично понял, на что она намекала, – ведь и Розали, и консьержка, и молочник, и булочник, и вообще все нисколько не сомневались, что отец Джона я. Я слышал, как мой собственный кучер его назвал «le fils de Monsieur».[84] Я понимал, что объяснения бесполезны и переубедить их не удастся. В конце концов я сам почти поверил в это. Но я решил, что эта

[84] Сын хозяина (франц.).

милая женщина имеет право знать правду. Я сказал ей со смехом, что я такой же ему отец, как она – мать, что он сирота и его история очень печальна. Пусть она о ней не спрашивает, это ее только расстроит. Я засучил его рукав и показал на глубокий шрам у локтя. Теперь с Розали и со мной ему живется хорошо, но я поверю, что он забыл прошлое, только когда увижу его улыбку. Он никогда не улыбается.

– Да, – сказала она мягко, – он ни разу не улыбнулся, как обычно улыбаются дети, когда показывают свои игрушки.

Я сказал, что мы почти ничего не знаем о мышлении маленьких детей, и в их мире мы чужие. Только материнский инстинкт иногда находит ключ к их мыслям.

Она ничего не ответила, но наклонилась и нежно поцеловала Джона. Он посмотрел на нее с удавлением.

– Вероятно, это первый поцелуй в его жизни, – сказал я.

Появилась Розали, чтобы отправиться с Джоном на обычную прогулку в парк Монсо, но его новая приятельница предложила покатать его в своем ландо. Я с радостью согласился, так как мне вовсе не хотелось показывать ей детскую больницу.

С этого дня для Джона началась новая жизнь, – и, как мне кажется, не только для него. Каждое утро она приходила в его комнату с новой игрушкой, каждый день она катала его в Булонском лесу, а Розали в лучшем своем платье важно сидела сзади. Часто Джон катался на верблюде в Зоологическом саду, храня обычную серьезность и среди десятка весело смеющихся детей.

– Не приносите ему так много дорогих игрушек, – говорил я. – Дешевые игрушки нравятся детям ничуть не меньше, а так много детей вовсе не получают игрушек. Я несколько раз убеждался, что куколка за тринадцать су завоевывает сердца даже в самых богатых детских. Когда дети начинают придавать значение цене своих игрушек, они перестают быть детьми. Кроме того, у Джона уже слишком много игрушек, и пора приучать его делиться с теми, у кого их нет. Для многих детей это трудный урок, и по тому, как он им дается, можно безошибочно судить, какие люди из них получаются.

По словам Розали, когда они возвращались с прогулки, красивая дама обязательно сама относила Джона наверх. Потом она стала задерживаться, чтобы помочь купать его, а вскоре уже купала его сама, так что Розали оставалось только подавать ей полотенца. Розали сообщила мне одну подробность, которая меня очень тронула: когда дама вытирала досуха худенькое тельце ребенка, она, прежде чем надеть на него рубашечку, обязательно целовала безобразный рубец у его локтя. Затем она стала укладывать его в постель и сидела с ним, пока он не засыпал. Сам я почти ее не видел, так как редко бывал дома, но боюсь, что и бедняга полковник видел ее не чаще – она все дни проводила с мальчиком. Полковник сказал мне, что плавание по Средиземному морю отменено. Они остаются в Париже, а надолго ли – он не знает, да и не слишком этим интересуется, лишь бы его жена была довольна, а он никогда не видел ее в таком хорошем настроении, как теперь. Полковник не ошибался: выражение ее лица совершенно изменилось – в ее темных глазах светилась бесконечная нежность.

Джон плохо спал по ночам. Часто, когда я приходил к нему вечером, я замечал на его личике нездоровый румянец. Розали говорила, что ночью он сильно кашляет, и вот однажды утром я услышал зловещий шум в верхушке правого легкого. Я знал, что это значит. Мне пришлось сказать правду его новой приятельнице, но она ответила, что уже знает, – вероятно, она поняла всё даже раньше меня. Я упомянул о своем намерении нанять сиделку, чтобы Розали было легче, однако она об этом и слышать не захотела. Она умоляла меня разрешить ей ухаживать за больным, и в конце концов я согласился. Да другого выхода и не было: мальчик даже во сне начинал тревожиться, если она выходила из комнаты. Розали перебралась в мансарду к кухарке, и дочь герцога спала теперь на кровати уборщицы в комнате Джона. Несколько дней спустя у него било легкое кровохарканье, а к вечеру – жар, и я понял, что болезнь прогрессирует быстро.

– Не жилец он! – говорила Розали, вытирая глаза. – Он и сейчас похож на ангела.

Джон любил посидеть на коленях у своей ласковой сиделки, пока Розали вечером перестилала его постель. Прежде я считал его умным и привлекательным, но не красивым. Теперь же мне вдруг показалось, что самые черты его лица словно переменились – глаза стали больше и потемнели. Теперь он был красив, красив как гений Любви или гений Смерти. Я взглянул на два лица, нежно прижимавшиеся друг к другу, и был поражен.

Неужели бесконечная любовь, которую изливала эта женщина на умирающего ребенка, могла изменить нежные черты маленького личика и придать им сходство с ее чертами? Неужели мне открылась новая, неведомая прежде тайна Жизни? Или Смерть, великая ваятельница, преобразила и озарила красотой личико этого больного ребенка перед тем, как навсегда закрыть его глаза?

Тот же чистый лоб, тот же чудесный изгиб бровей, те же длинные ресницы. Даже прелестный взлет губ был бы таким же, если бы мне довелось увидеть его улыбку, как я увидел ее улыбку, когда мальчик в первый раз во сне произнес слово, которое каждый ребенок любит говорить, а каждая женщина – слышать: «Мама! Мама!» Она уложила его в кроватку, он долго метался без сна, и она не отходила от него. Под утро он стал легче дышать и задремал. Я напомнил ей, что она обещала меня слушаться, и с трудом заставил ее прилечь на час. Розали позовет ее, как только он проснется. Когда я, на рассвете, заглянул в спальню, Розали, приложив палец к губам, шепнула, что они оба спят.

– Посмотрите, ему что-то снится.

Лицо Джона было светлым и безмятежным, а губы полураскрылись в чудесной улыбке. Я приложил руку к его сердцу. Он был мертв. Я перевел глаза с улыбающегося мальчика на лицо женщины, спящей на кровати Розали, – это было одно лицо.

Она обмыла и одела его в последний раз и не позволила даже Розали помочь ей положить его в гробик, а потом два раза посылала ее сменить подушку – ей всё казалось, что ему неудобно лежать.

Она умоляла меня не закрывать гроба до следующего дня. Я сказал, что она знает горечь жизни, но мало знает о горечи смерти, а врач знает и то и другое. У смерти два лика – один прекрасный и безмятежный, а другой грозный и страшный. Мальчик ушел из жизни с улыбкой на губах, но смерть ненадолго оставит ее там. Гроб надо закрыть вечером. Она склонила голову и промолчала. Когда я взял крышку, она сказала, что не может расстаться с ним, оставить его совсем одного на чужом кладбище.

– Зачем же расставаться? – сказал я. – Почему не взять его с собой? Он весит так мало! Почему не отвезти его на вашей яхте в Англию и не похоронить на тихом сельском кладбище в Кенте?

Она улыбнулась сквозь слезы – улыбкой мальчика.

– Я могу это сделать? – воскликнула она почти с радостью.

– Это можно сделать и это будет сделано, если вы позволите мне закрыть гроб. Медлить нельзя, иначе завтра утром его отвезут на кладбище в Пасси.

Когда я поднял крышку, она положила возле его щечки букетик фиалок.

– Мне нечего больше ему дать, – сказала она сквозь слезы. – А мне так хотелось бы, чтобы он взял с собой что-нибудь мое.

– Наверное, ему было бы приятно взять с собой вот это, – сказал я и, вынув из кармана бриллиантовую брошь, приколол ее к подушечке. – Это брошь его матери.

Она не издала ни звука – только протянула руки к своему ребенку и без чувств упала на пол. Я поднял ее и положил на кровать Розали. Потом я закрыл гроб, поехал к гробовщику на площади Мадлен и поговорил с глазу на глаз с хозяином заведения – увы, мы были хорошо знакомы. Я уполномочил его израсходовать любую сумму с тем, чтобы к вечеру следующего дня гроб был на борту английской яхты в гавани Кале. Он сказал, что сделать это возможно при условии, что я не стану проверять счет. Я ответил, что проверять его счета не будет никто. Потом я поехал в отель «Рейн», разбудил полковника и сообщил о желании его жены, чтобы яхта через двенадцать часов была в Кале. Пока он отправлял телеграмму капитану, я написал короткую записку его жене о том, что на следующий вечер гроб будет на борту ее яхты в Кале. Я добавил, что рано утром должен уехать из Парижа, и эта записка – прощальная.

Я видел могилу Джона: он погребен на маленьком кладбище одной из красивейших сельских церквей Кента. На его могиле растут первоцветы и фиалки, и над ним поют дрозды. Его мать я никогда больше не видел. Так было и к лучшему.

Глава XVI. Поездка в Швецию

Я, кажется, уже упоминал о внезапной болезни шведского консула. Случилось это примерно тогда же. И вот каким образом. Консул, приятный, тихий человек невысокого роста,

жил в Париже с семьей – женой-американкой и двумя маленькими детьми. В роковой день я был у них дома – один из детей лежал с простудой, но требовал, чтобы вечером ему обязательно разрешили встать, так как вечером должен был приехать отец, и он хотел встретить его вместе со всеми. Дом был полон цветов, и детям давно уже было обещано, что в этот день их не уложат спать и позволят обедать со взрослыми. Их мать радостно показала мне две чрезвычайно нежные телеграммы мужа, одну из Берлина, другую из Кельна, в которых он извещал ее о своем приезде. Мне они показались несколько длинными. Около полуночи супруга консула прислала за мной с просьбой тотчас же приехать. Дверь открыл мне сам консул – он был в ночной рубашке. Он сказал, что надо подождать садиться за стол, пока не прибудут шведский король и президент Французской республики, который только что наградил его большим крестом Почетного легиона. Он сообщил, что купил Малый Трианон и летом они будут жить там. Затем он излил свое негодование на жену: она не носит жемчужное ожерелье Марии-Антуанетты, которое он ей подарил. Своего маленького сына он называл дофином, а себя – Робеспьером. Мания величия! Из детской доносились крики испуганных детей, жена почти лишилась чувств от горя, а его верный пес лежал под столом и рычал от страха. Внезапно мой бедный друг стал буйствовать, и нам пришлось запереть его в спальне, где он всё перебил, и чуть не выбросил нас обоих в окно. Утром его отвезли в Пасси в лечебницу доктора Бланша.

Знаменитый психиатр сразу заподозрил прогрессивный паралич. Через два месяца диагноз подтвердился, надежды на выздоровление не оставалось никакой. Так как лечебница была очень дорогой, я решил отправить больного в государственную больницу в Лунде, маленьком городке на юге Швеции. Доктор Бланш был против этого. Он считал, что поездка – рискованное и дорогостоящее предприятие: на временное прояснение сознания больного полагаться нельзя, и его должны сопровождать два опытных служителя. Я объяснил, что остатки его скромного состояния следует сохранить для детей, а поэтому нужно всемерно экономить – в Швецию я увезу его сам и один. Когда я подписывал бумаги, забирая больного из приюта, доктор Бланш еще раз письменно предупредил меня, но я, конечно, был умнее всех. Я отвез больного прямо на авеню Вилье. За обедом он вел себя спокойно и вполне благоразумно – и только пытался ухаживать за мамзель Агатой (это был, несомненно, единственный подобный случай в ее жизни). Два часа спустя нас уже заперли в купе первого класса ночного кельнского экспресса – в те дни вагонов с коридорами еще не существовало. Я лечил одного из Ротшильдов, которым принадлежала Северная железная дорога, и поэтому поездная прислуга получила распоряжение оказывать нам всемерное содействие, и кондукторам было приказано не беспокоить нас, так как мой подопечный легко раздражался при виде чужих людей. Он был очень спокоен и послушен, так что мы оба легли спать. Я проснулся оттого, что сумасшедший принялся меня душить – дважды я отбрасывал его и дважды с ловкостью пантеры он кидался на меня и чуть было не преуспел в своем намерении. Я помню только, что сильно ударил его по голове и, по-видимому, оглушил, а дальше всё смешалось.

Утром, когда поезд прибыл в Кельн, нас обоих нашли лежащими без сознания на полу нашего купе и перевезли в гостиницу «Север», где мы провели сутки в одном номере. Мне пришлось открыть правду врачу, который зашивал мою рану (безумец чуть не откусил мне ухо), и хозяин гостиницы прислал мне сказать, что в его отель душевнобольные не допускаются. Я решил с утренним поездом ехать дальше на Гамбург.

В пути консул держался очень миролюбиво, а когда мы ехали через город к Кильскому вокзалу, принялся во весь голос распевать «Марсельезу». Мы благополучно сели на пароход в Корсер (в то время это был кратчайший путь между Швецией и материком). В нескольких милях от датского берега наш пароход застрял среди льдин, занесенных из Каттегата штормовым северным ветром, что нередко случается в суровые зимы. Нам пришлось пройти пешком по льду более мили, к большому удовольствию моего друга. Затем нас повезли в Корсер на лодках. В гавани мой друг прыгнул в воду, а я следом за ним. Нас вытащили, и до Копенгагена мы ехали в неотапливаемом поезде в обледенелой одежде при температуре 20° ниже нуля. Остальная часть путешествия прошла на редкость благополучно – холодное купание, по-видимому, пошло моему другу на пользу. Мы прибыли в Мальме, и через час я уже передал его на вокзале в Лунде в руки двух служителей приюта для умалишенных, а сам поехал в гостиницу – в Лунде была лишь одна гостиница – я потребовал номер и завтрак. Оказалось, что завтрак есть, а номера нет – все номера заказаны для труппы актеров, которые вечером должны дать спектакль в зале ратуши.

Пока я завтракал, официант с гордостью вручил мне программу вечернего представления: «Гамлет» – трагедия в пяти действиях Уильяма Шекспира. «Гамлет» в Лунде! Я проглядел

программу: Гамлет, принц датский – г-н Эрик Карол Мальмборг. Неужели это товарищ моих студенческих лет в Упсале? Тогда Эрик Карол Мальмборг собирался стать священником. Я его натаскивал перед экзаменами, составил его первую проповедь и в течение целого семестра писал за него письма невесте. Каждый вечер я тузил его, когда он пьяный являлся ночевать у меня в свободной комнате – ему было отказано от квартиры за буйное поведение. Когда я уехал из Швеции, я потерял его из виду. С тех пор прошло много лет. Я слышал, что из университета его исключили, что он всё больше и больше опускался. Вдруг я вспомнил, что он как будто стал актером. Значит, Гамлета сегодня действительно будет играть мой незадачливый приятель! Я послал свою карточку в его номер, и он примчался ко мне, радуясь, что снова видит меня после стольких лет. Он поведал мне грустную историю. Их труппа, уменьшившись на треть после катастрофических спектаклей в Мальме перед пустым залом, приехала в Лунд накануне вечером для последнего отчаянного поединка с судьбой. Почти все их костюмы и реквизит драгоценности королевы-матери, корона короля, меч Гамлета, которым он пронзает Полония, и даже череп Йорика – были задержаны в Мальме кредиторами. У короля разыгрался ишиас, и он не может ни ходить, ни сидеть на троне. У Офелии страшный насморк, призрак до того упился на прощальном ужине в Мальме, что опоздал на поезд. Сам он в прекрасной форме; Гамлет – его лучшая роль и словно для него написана. Но не может же он один вынести на своих плечах весь колоссальный груз пятиактной трагедии! Все билеты на вечернее представление распроданы, и если им придется вернуть деньги, окончательное крушение неизбежно. Не мог бы я ради старой дружбы одолжить ему двести крон?

Я оказался на высоте положения. Я созвал премьеров труппы, с помощью нескольких бутылок шведского пунша влил бодрость в их унылые сердца, безжалостно вычеркнул всю сцену с актерами и с могильщиками, а также убийство Полония, и объявил, что с призраком или без призрака, но спектакль состоится.

Это был достопримечательный день в театральных анналах Лунда. Ровно в восемь часов поднялся занавес, открывая королевский дворец в Эльсиноре, до которого от того места, где мы находились, было не больше часа езды по прямой. Зал был полон, но публика, состоявшая почти только из буйных университетских студентов, оказалась куда более сдержанной, чем мы ожидали. Выход принца датского прошел почти незамеченным, и даже его знаменитое «Быть или не быть?» прозвучало втуне. Король, отчаянно хромая, проковылял по сцене и опустился на трон с громким стоном. Насморк Офелии превосходил всякое вероятие. У Полония явно двоилось в глазах. Положение спас призрак. Призраком был я. Когда я призрачно скользил по залитому лунным светом парапету Эльсинорского замка, осторожно ступая по большим ящикам, составлявшим самую его основу, всё сооружение внезапно обрушилось, и я по плечи провалился в ящик. Что полагается делать призраку в подобной ситуации? Следует ли мне наклонить голову и совсем скрыться в ящике или, ничего не предпринимая, ждать, что будет дальше? Веселенький вопрос! Третью возможность подсказал мне сам Гамлет, который хриплым шепотом спросил, почему я не вылезаю из этого проклятого ящика? Однако вылезти я никак не мог: мои ноги запутались в веревках и прочих принадлежностях сцены. Худо ли, хорошо ли, но я решил остаться в том положении, в каком находился, приготовившись ко всему. Мое неожиданное исчезновение в ящике было принято зрителями очень благосклонно, но это было ничто в сравнении с тем восхищением, которое я вызвал, когда, высунув голову из ящика, зловещим голосом стал продолжать прерванный монолог. Аплодисменты были настолько бурными, что мне пришлось приветливо помахать рукой – в моем щекотливом положении я не мог поклониться. Это привело зрителей в дикий восторг. Овации не прекращались до самого конца. Когда занавес упал в последний раз, я вышел кланяться вместе с главными звездами труппы. Публика так неистово вопила «Призрака! Призрака!», что мне пришлось выйти на вызов одному и благодарно кланяться, прижимая руку к сердцу.

Мы все были счастливы. Мой приятель Мальмборг объявил, что не запомнит более удачного спектакля. Мы весело поужинали в полуночный час. Офелия была со мной очень мила, а Гамлет поднял бокал за мое здоровье и предложил мне от имени всех стать их режиссером. Я сказал, что подумаю. Они все проводили меня на вокзал. Через двое суток я уже снова был в Париже и работал, не чувствуя ни малейшей усталости. О, юность, юность!

Глава XVII. Врачи

В те дни в Париже практиковало множество иностранных врачей. Между ними существовало ревнивое соперничество, которое, само собой разумеется, пришлось почувствовать и мне. Недолюбливали нас и наши французские коллеги, так как мы монополизировали практику среди богатых иностранцев, возможно, наиболее выгодную. В конце концов пресса начала целую кампанию против иностранных врачей в Париже, число которых всё увеличивалось и которые, как намекали газеты, нередко даже не имели дипломов. В результате префект полиции предписал всем иностранным врачам до истечения месяца представить на проверку свои дипломы. Мне с моим парижским дипломом, разумеется, ничто не грозило, а потому я забыл всю эту историю и явился к комиссару моего квартала лишь в самый последний день. Комиссар, который был со мной немного знаком, спросил, знаю ли я некоего доктора Н., живущего на моей улице. Я ответил, что мы незнакомы, но, по-видимому, практика у него очень большая мне постоянно приходится слышать его имя, и я часто любуюсь элегантной коляской у его дверей.

Комиссар ответил, что мне недолго осталось любоваться этой коляской: ее владелец включен в черный список, он не предъявил диплома, так как никакого диплома у него нет, это шарлатан, и наконец-то можно будет его арестовать. По слухам, он зарабатывал более двухсот тысяч франков в год – больше, чем многие знаменитые парижские светила. Я ответил, что шарлатан может быть хорошим врачом, а есть у него диплом или нет, его больных это не интересует до тех пор, пока его лечение идет им на пользу.

Конец этой истории я узнал от комиссара только месяца два спустя. Доктор Н. появился в самый последний момент и попросил у него разрешения поговорить с глазу на глаз. Он предъявил ему диплом одного из известнейших немецких университетов, но умолял его сохранить это в тайне, объяснив, что обязан своим успехом только тому, что все считают его шарлатаном. Я ответил комиссару, что этот человек станет миллионером, если он хотя бы вполовину такой же хороший врач, как и психолог.

Возвращаясь домой, я завидовал не двухсоттысячному доходу моего коллеги, а тому, что он знает размеры этого дохода. Как я хотел бы знать, сколько именно я зарабатываю! В том, что я зарабатываю немало, я не сомневался – во всяком случае, когда мне бывали на что-то нужны деньги, они всегда находились в избытке. У меня была хорошая квартира, элегантный выезд, прекрасная кухарка – теперь, когда уехала мамзель Агата, я часто приглашал друзей пообедать у меня, и обеды эти были превосходными. Дважды я ездил на Капри – один раз, чтобы купить домик мастро Винченцо, а другой раз – чтобы предложить большую сумму неизвестному владельцу разрушенной часовни Сан-Микеле. (Чтобы покончить с этим делом, мне потребовалось десять лет.) Уже в то время я любил искусство, и моя квартира на авеню Вилье была полна сокровищами былых времен, а по ночам десяток прекрасных старинных часов отбивал часы моей бессонницы. Однако по каким-то необъяснимым причинам эти времена богатства вдруг сменялись полным безденежьем, что было хорошо известно Розали, консьержке и даже моим поставщикам. Знал про это и Норстрем, так как мне часто приходилось брать у него взаймы. По его словам, такое положение вещей могло объясняться только каким-то психическим сдвигом, и выход был лишь один: мне следует аккуратно записывать свои доходы и расходы, а также посылать счета пациентам, как делают все. Я сказал, что с записью расходов и доходов у меня всё равно ничего не выйдет, а счетов я никогда не писал и писать не собираюсь. Наша профессия – не ремесло, а искусство, и мне кажется унизительной такая коммерческая оценка человеческих страданий. Я всегда багрово краснел, когда пациент клал двадцати-франковую монету на мой стол, а когда он совал мне ее в руку, я всегда испытывал желание его ударить. Норстрем сказал, что это просто тщеславие и высокомерие, и мне следует хватать все деньги, какие можно, как это делают мои коллеги. Я возразил, что наша профессия столь же свята, как призвание священника, а может быть, и более, и закон должен был бы запрещать брать на этом поприще лишние деньги. Труд врача должен был бы оплачиваться государством, и хорошо оплачиваться, как в Англии оплачивается труд судьи. Те, кому это не подойдет, пусть меняют занятие – идут на биржу или открывают лавку. Врач должен быть мудрецом, которого все почитают и оберегают. Пусть берут с богатых пациентов сколько хотят, и для бедняков и для себя, но требовать плату за каждый визит и писать счета они не должны. Во сколько должна оценить мать жизнь спасенного тобою ребенка? Какой гонорар положат за то, что ты словом утешения или просто прикосновением руки отогнал страх смерти? Во сколько франков надо оценить каждую секунду предсмертной агонии, от которой избавил больного твой морфий?

Долго ли еще мы будем навязывать страдающему человечеству все эти дорогие патентованные средства, которые ведут свое начало от средневековых суеверий, хотя и носят весьма современные названия? Мы все прекрасно знаем, что действенные средства можно перечислить по пальцам и что Мать Природа отпускает нам их по весьма низкой цене. Почему я, модный врач, разъезжаю в прекрасной коляске, в то время как мой коллега в трущобах ходит пешком? Почему государство затрачивает в тысячу раз больше денег на обучение искусству убивать, чем на обучение искусству лечить? Почему мы не строим больше больниц и меньше церквей? Молиться богу можно повсюду, но оперировать в канаве нельзя.

Норстрем посоветовал мне не заниматься переустройством общества – по его мнению, у меня это плохо выходило, – а держаться за медицину. Ведь до сих пор у меня не было оснований на нее жаловаться. Однако он сомневался в практичности моего намерения разгуливать среди моих пациентов подобно мудрецам древности, получая за свои услуги натурой. По его твердому убеждению, старая система писания счетов была гораздо надежнее.

Я ответил, что не уверен в этом. Правда, некоторые мои пациенты, так и не получив ответа на свои письма, в которых они просили меня прислать им счет, в конце концов уезжали, не заплатив ничего (среди них не было ни одного англичанина), зато другие чаще всего присылали сумму, значительно превышавшую ту, которая значилась бы в моем счете. Хотя большинство моих пациентов, по-видимому, предпочитало расплачиваться со мной деньгами, а не личными вещами, я тем не менее несколько раз с успехом применил свою систему. К самым моим драгоценным сокровищам я причисляю старый дорожный плащ, который я отобрал у мисс С. в тот день, когда она уезжала в Америку. Она отправилась на вокзал в моем экипаже, чтобы успеть излить мне свою вечную благодарность и посожалеть, что ей нечем отплатить мне за мою доброту, а я тем временем разглядывал ее дорожный плащ. Именно о таком плаще я давно мечтал. Я положил его к себе на колени и сказал, что хочу его взять. Она возразила, что купила его десять лет назад в Зальцбурге, и он ей очень нравится. И мне он тоже нравится, сказал я. Она предложила сейчас же поехать в английский магазин и купить мне самый дорогой шотландский плащ, какой там только найдется. Я сказал, что шотландский плащ мне не нужен. Тут следует упомянуть, что мисс С. была весьма раздражительна и в течение нескольких лет доставляла мне множество хлопот. Она так рассердилась, что выскочила из коляски, даже не попрощавшись со мной. На следующий день она уехала в Америку, и я никогда больше ее не видел.

Моя память сохранила и эпизод с леди Мод Б., которая приехала ко мне на авеню Вилье перед отбытием в Лондон. Она сказала, что трижды писала мне, прося прислать счет, но так его и не получила. Я поставил ее в очень неловкое положение, она просто не знает, что делать! Она восхваляла мое искусство и доброту – разумеется, ее благодарность не может быть измерена деньгами, я спас ей жизнь, и всего ее состояния не хватило бы, чтобы выразить ее признательность! Мне было приятно выслушивать всё это из уст очаровательной молодой красавицы. Пока она говорила, я любовался ее новым темно-пунцовым платьем, да и она сама время от времени восхищенно косилась на его отражение в венецианском зеркале над камином. Пристально глядя на ее высокую гибкую фигуру, я сказал, что буду рад получить ее платье – оно мне может очень пригодиться. Она весело рассмеялась, но улыбка тут же сменилась сердитой растерянностью, когда я сказал, что пришлю Розали за платьем к ней в отель в семь часов. Она вскочила, бледная от гнева, и объявила, что в жизни не слышала ни о чем подобном. Я сказал, что это вполне вероятно. Ведь она сама утверждала, что готова отдать мне всё на свете. По некоторым причинам я выбрал ее платье. Она расплакалась и выбежала из комнаты. Через неделю в шведском посольстве я увиделся с женой английского посла. Эта добросердечная дама сообщила мне, что не забыла про чахоточную английскую гувернантку, о которой я ей говорил, и даже послала ей приглашение на званый чай в посольстве.

– О, безусловно, она выглядит совсем больной, – сказала посланница, но вряд ли она так бедна, как вы говорили, – ведь она одевается у Борта!

Меня сильно задели слова Норстрема о том, что я не могу писать счетов и краснею, когда беру гонорар, только из-за моего тщеславия. Если он был прав, то приходится признать, что все мои коллеги ни тщеславием, ни высокомерием не страдали. Они посылали пациентам счета с хладнокровием портных и жадно хватали луидоры, которые пациенты совали им в руку. Во многих приемных пациенту полагалось сначала положить деньги на стол, а потом уже объяснять, что у него болит. Как правило, половина гонорара за операцию выплачивалась вперед. Мне известен случай, когда пациент, которому уже дали хлороформ, был разбужен для того, чтобы подтвердить подлинность чека. Когда кто-нибудь из нас, светил меньшей величины, приглашал

на консилиум знаменитость, то великий человек отдавал тому, кто его приглашал, долю своего гонорара, и это считалось само собой разумеющимся. Но мало того! Помню, как я был ошеломлен, когда впервые прибег к услугам бальзамировщика, и он отсчитал мне из своего гонорара пятьсот франков. Бальзамирование стоило непомерно дорого.

Многие из профессоров, к которым я обращался в трудных случаях, были людьми с мировым именем, считавшиеся первыми в своей области знания, и диагнозы они ставили удивительно точно и быстро. Например, было просто что-то сверхъестественное в том, как Шарко обнаруживал самый корень болезни, – для этого ему, казалось, часто бывало достаточно одного взгляда его холодных орлиных глаз. Может быть, в последние годы жизни он стал слишком уж полагаться на верность своего глаза и осматривал больных подчас чересчур поспешно и поверхностно. Своих ошибок он никогда не признавал, и горе тому человеку, который отваживался усомниться в правоте его суждений. С другой стороны, он, как ни странно, никогда не торопился объявить больного безнадежным, даже если никаких сомнений в роковом исходе быть не могло. L'imprévu est toujours possible,[85] – говаривал он.

Шарко был самым знаменитым врачом своего времени. В его приемную в Сен-Жерменском предместье стекались пациенты со всего света и нередко по многу недель ожидали, чтобы их пригласили во внутреннее святилище – его огромную библиотеку, где он сидел у окна. Шарко был невысок, но благодаря атлетической груди и бычьей шее производил очень внушительное впечатление. Бледное, бритое лицо, низкий лоб, холодные, проницательные глаза, орлиный нос, выразительные жестокие губы – настоящая маска римского императора. Когда он сердился, его глаза метали молнии, и те, кому довелось увидеть этот взгляд, вряд ли мог его забыть. Говорил он властно, сухо, язвительно. Пожатие его маленькой, вялой руки было неприятно. Среди его коллег у него было мало друзей, пациенты боялись его, и такой же страх он внушал своим ассистентам, для которых у него редко находилось доброе слово, хотя работать он их заставлял нещадно. Он был равнодушен к страданиям своих пациентов и, поставив диагноз, больше ими не интересовался до дня вскрытия. Среди ассистентов у него были любимцы, которых он подчас выдвигал совсем не по заслугам. Одного слова Шарко оказывалось достаточно, чтобы обусловить результат любого экзамена или конкурса – собственно говоря, он был некоронованным властелином всей французской медицины.

Подобно всем специалистам по нервным болезням, он был окружен толпой поклонниц-психопаток. К счастью для него, женщины его нисколько не интересовали. Единственным отдыхом от сверхчеловеческой работы для него была музыка. По четвергам он устраивал музыкальные вечера, на которых запрещалось даже упоминать про медицину. Любимым его композитором был Бетховен. Он любил животных, и каждое утро, неуклюже вылезая из своего ландо во внутреннем дворе Сальпетриер, вытаскивал из кармана кусок хлеба для двух своих росинантов. Он сразу же обрывал разговоры об охоте и убийстве животных, и его неприязнь к Англии, мне кажется, объяснялась ненавистью к лисьей травле.

Профессор Потэн делил с Шарко первое место среди медицинских знаменитостей Парижа тех дней. Трудно было бы найти столь непохожих людей, как эти два великих врача. Знаменитый клиницист больницы Неккера не был внешне ничем примечателен и остался бы незамеченным в толпе, тогда как внешность Шарко выделила бы его и из тысяч людей. По сравнению со своим прославленным коллегой Потэн, неизменно носивший плохо сшитый старый сюртук, показался бы просто неряшливым. Его черты были невыразительны, говорил он мало и словно с трудом. Но больные обожали его, а он не делал никакого различия между богатыми и бедными. Каждого пациента в своей громадной больнице он знал по имени, ласково трепал и молодых и старых по щеке, с бесконечным терпением выслушивал истории их болезней и часто из собственного кармана оплачивал какие-нибудь лакомства для них. Самых бедных больных, не плативших за свое лечение, он осматривал с такой же тщательностью и вниманием, как принцев крови и миллионеров. И тех и других у него было достаточно. Казалось, его феноменально тонкий слух был способен уловить любой самый неясный признак легочных или сердечных болезней. По-моему, никто никогда не знал лучше него, что происходит в чужой груди. Тем немногим, что я знаю о болезнях сердца, я обязан ему. Профессор Потэн и Гено де Мюсси были почти единственными врачами в Париже, к кому я решался обратиться, когда дело шло о бедном пациенте. Третьим был профессор Тилло, знаменитый хирург. В его клинике были те же порядки, что и в клинике Потэна, для своих больных он был отцом, и чем они выглядели беднее,

[85] Всегда может случиться непредвиденное (франц.).

тем больше он о них заботился. Я не встречал учителя лучше него, а его «Топографнческая анатомия» – лучшее, что было когда-либо опубликовано по этому вопросу. Он был удивительным хирургом и все перевязки делал сам. Скромные простые манеры и голубые глаза делали его похожим на северянина, но на самом деле он был бретонцем. Со мной он был необычайно добр и терпеливо сносил мои многочисленные недостатки – и не его вина, если я не стал хорошим хирургом. Но и так я многим обязан ему – и даже тем, что разгуливаю на двух ногах. Пожалуй, тут будет уместно сделать отступление, чтобы рассказать вам эту историю.

* * *

Всё долгое жаркое лето я напряженно работал без единого дня отдыха и совсем измучился от бессонницы и сопутствующего ей уныния. Я был раздражителен с пациентами и всеми, кто меня окружал, так что к осени даже мой флегматичный друг Норстрем потерял терпение. Однажды, когда мы вместе обедали, он объявил, что я окончательно подорву свое здоровье, если немедленно не отправлюсь отдыхать недели на три в какое-нибудь прохладное место. На Капри слишком жарко, и больше всего мне подойдет Швейцария. Я всегда склонялся перед благоразумием моего друга. Я знал, что он прав, хотя исходит из неверной предпосылки. Не переутомление, а нечто совсем другое было причиной моего плачевного состояния, однако этого здесь мы касаться не будем. Через три дня я был уже в Церматте и немедленно приступил к выяснению, насколько веселее может оказаться жизнь среди вечных снегов. Моей новой игрушкой стал альпийский ледоруб, и с его помощью я затеял новое состязание между Жизнью и Смертью. Я начал с того, чем обычно кончают другие альпинисты, – с Маттерхорна. Привязавшись веревкой к ледорубу, я переночевал в метель на покатом уступе размером в два моих обеденных стола под вершиной грозной горы. Я с интересом узнал от двух моих проводников, что мы примостились на той самой скале, с которой во время первого восхождения Уимнера Хадау Хадсон, лорд Френсис Дуглас и Мишель Кро сорвались с высоты четырех тысяч футов на ледник Маттерхорна. На рассвете мы наткнулись на Буркхарда. Я смахнул снег с его лица, которое было спокойным и мирным, как у спящего. Он замерз. У подножья горы мы догнали его двух проводников – они тащили теряющего сознание Дэвиса, его спутника, которого спасли с риском для жизни.

Через два дня угрюмый великан Шрекхорн обрушил на незванных пришельцев обычную свою каменную лавину. В нас он не попал, но всё же для такого расстояния это был хороший бросок: каменная глыба, способная разнести вдребезги собор, прогрохотала всего в каких-нибудь двадцати шагах от нас. А еще через два дня, внизу, в долине занималась заря, наши восхищенные глаза увидели, как Юнгфрау облекается в свои белоснежные одежды. Мы различали девичий румянец под белой вуалью. Я тотчас же решил покорить волшебницу. Сначала, казалось, что она скажет «да», но когда я захотел сорвать два–три эдельвейса с края ее мантии, она вдруг застенчиво скрылась за тучей. Как я ни старался, мне так и не удалось приблизиться к желанной. Чем упорнее я шел вперед, тем, казалось, дальше она отступала. Вскоре покрывало облаков и тумана, пронизанное пылающими солнечными лучами, совсем скрыло ее от наших глаз, подобно стене из огня и дыма, которая в последнем акте «Валькирии» окружает ее девственную сестру Брунгильду.

Колдунья, охраняющая красавицу, как ревностная старая нянька, уводила нас всё дальше и дальше от цели и заставляла блуждать среди суровых утесов и зияющих пропастей, готовых поглотить нас в любую минуту. Вскоре заявили, что сбились с дороги и нам следует поскорее вернуться туда, откуда мы пришли. Горько разочарованный, томясь безответной любовью, я вынужден был последовать в долину за моими проводниками, которые тащили меня на крепкой веревке. Моя тоска была понятна: второй раз в этом году меня отвергла красавица. Но молодость – прекрасное лекарство от сердечных ран. Стоит выспаться, освежить голову – и ты исцелен. Я страдал бессонницей, но ясности мыслей, к счастью, не утратил.

На следующее воскресенье (я помню даже число, так как был день моего рождения) я выкурил трубку на вершине Монблана, где, по словам моих проводников, большинство людей судорожно глотают разреженный воздух. То, что произошло в этот день, я описал в другом месте, но так как эта маленькая книжка с тех пор не переиздавалась, мне придется повторить здесь этот рассказ, чтобы вы поняли, чем я обязан профессору Тилло.

Подъем на Монблан зимой и летом относительно легок, но только дурак полезет на эту гору осенью, когда дневное солнце в ночные заморозки еще не успели закрепить на склонах свежевыпавший снег. Владыка Альп защищает себя от незваных пришельцев снежными лавинами, как Шрекхорн – каменными снарядами. Когда я закурил трубку, на вершине Монбла-

на, было время второго завтрака, и иностранцы в гостиницах Шамони поочередно рассматривали в подзорные трубы трех мух, которые ползали по белой шапке, венчающей главу старого горного монарха. Пока они завтракали, мы пробирались по снегу в ущелье под Мон-Моди, но затем вновь появились в поле зрения их труб на Гран-Плато. Мы хранили полное молчание, так как знали, что лавина может сорваться даже от звука голоса. Вдруг Буассон обернулся и указал ледорубом на черную полоску, словно прочерченную рукой великана на белой склоне.

– Wir sind alle verloren,[86] – прошептал он, и в тот же миг огромное снежное поле треснуло пополам и со страшным грохотом покатилось вниз, увлекая нас за собой с невероятной скоростью. Я ничего не чувствовал, ничего не понимал. Потом тот же самый рефлекторный импульс, который в знаменитом опыте Спаланцани заставил обезглавленную лягушку протянуть лапку к месту укола иглой, тот же самый импульс понудил большое утратившее разум животное поднять руку к раненому затылку. Резкое периферическое ощущение пробудило в моем мозгу инстинкт самосохранения – последнее, что в нас умирает. С отчаянным напряжением я начал выбираться из-под снега, под которым я был погребен. Вокруг сверкал голубой лед, а над моей головой светлели края ледниковой трещины, в которую меня сбросила лавина. Как ни странно, но я не испытывал страха и ни о чем не думал – ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Постепенно в мой онемевший мозг проникало стремление, и вот под его воздействием пробудился рассудок. Я сразу распознал это стремление – мое старое заветное желание узнать о Смерти всё, что о ней можно узнать. Теперь я получил эту возможность, – если, конечно, сумею сохранить ясность мысли и, не дрогнув, посмотреть ей прямо в лицо. Я знал – она тут, и мне чудилось, что я вижу, как она приблизилась в своем ледяном саване. Что она скажет? Будет ли она жестокой и непримиримой или милосердно оставит меня спокойно лежать в снегу, пока я не окоченею в вечном сне? Как ни невероятно но я убежден, что именно этот последний отблеск моего сознания, это упрямое желание разгадать тайну Смерти и спасло мне жизнь. Внезапно я ощутил, что мои пальцы сжимают ледбруб а мою талию обвивает веревка. Веревка! А где мои два спутника? Я изо всех сил потянул веревку, она дернулась, и из-под снега выглянуло чернобородое лицо Буассона. Он глубоко вздохнул, тотчас же схватился за привязанную к поясу веревку и вытащил из снежной могилы своего оглушенного товарища.

– Через какой срок человек замерзает насмерть? – спросил я.

Взгляд Буассона скользнул по стенам нашей тюрьмы и остановился на узком ледяном мостике, который, подобно аркбутану готического собора, соединял наклонные стены трещины.

– Если бы у меня был ледоруб и если бы я сумел взобраться на этот мост, – сказал он, – то я, пожалуй, выбрался бы отсюда.

Я протянул ему ледоруб, который судорожно сжимали мои пальцы.

– Ради бога, не шевелитесь! – повторял Буассон, взбираясь ко мне на плечи, а с них, подтянувшись, как акробат, на ледяной мост над нашими головами. Цепляясь руками за наклонные стены, он ступеньку за ступенькой вырубил себе путь наверх, а потом на веревке вытащил из трещины и меня. Затем с большим трудом мы подняли наверх и второго проводника, который еще не пришел в себя.

Лавина уничтожила почти все прежние ориентиры, на троих у нас был только один ледоруб, который мог бы предупредить нас, что под снегом скрывается новая трещина. Всё же к полуночи мы добрались до хижины, и это, по словам Буассона, было еще большим чудом, чем-то, что нам удалось спастись из ледниковой трещины. Хижина была погребена под снегом, и, чтобы попасть внутрь, нам пришлось пробить дыру в крыше. Мы попадали на пол. Я до последней капли выпил прогорклое масло из маленькой лампы, а Буассон растирал снегом мои обмороженные ноги, разрезав ножом тяжелые горные ботинки. Спасательная партия из Шамони, которая всё утро тщетно искала наши трупы на пути лавины, наконец нашла нас в хижине – мы спали, растянувшись на полу. На другой день меня на телеге с сеном отвезли в Женеву и там посадили на ночной парижский экспресс.

Профессор Тилло мыл руки между двумя операциями, когда я на следующее утро, шатаясь, вошел в его операционную. С моих ног сняли повязки, и он, как и я, уставился на мои ступни – они обе были черными, как у негра.

– Проклятый швед, где тебя носило? – загремел профессор.

---

[86] Мы все погибли (нем.).

Его добрые голубые глаза смотрели на меня с такой тревогой, что мне стало стыдно. Я сказал, что был в Швейцарии, что в горах со мной случилось небольшое несчастье, которое может постигнуть любого туриста, и что мне очень неприятно его беспокоить.

– Это про него! – воскликнул один из ассистентов. – Конечно, про него!

С этими словами он вытащил из кармана «Фигаро» и прочел вслух телеграмму из Шамони о чудесном спасении иностранца и двух его проводников, застигнутых лавиной, когда они спускались с Монблана.

– Nom de tonnerre, nom de nom de nom! Fiche moi la paix sacré Suédois qu'est-ce que tu viens faire ici va-t-en a l'Asile St. Anne chez les fons![87] Разрешите продемонстрировать вам череп лапландского медведя, – продолжал он, перевязывая рваную рану у меня на затылке. – Удар, который оглушил бы и слона, а тут кость цела и обошлось даже без сотрясения мозга! Зачем ездить так далеко, в Шамони! Ты бы лучше поднялся на колокольню Нотр-Дам и бросился бы на площадь перед нашими окнами – всё равно ты останешься цел и невредим при условии, что упадешь на голову!

Я всегда радовался, когда профессор ворчал на меня, так как это значило, что он ко мне расположен. Я хотел тут же уехать на авеню Вилье, но профессор Тилло считал, что мне следует денек–другой провести у него в больнице в отдельной палате. Разумеется, хуже меня у него учеников не бывало, тем не менее он достаточно обучил меня хирургии для того, чтобы я понял одно: он намерен ампутировать мне ступни. Пять дней и по три раза в день он приходил осматривать мои ноги; а на шестой день я уже лежал на своем диване на авеню Вилье – опасность миновала. Но всё же я был тяжело наказан: я пролежал шесть недель и стал таким нервным, что должен был написать книгу, – не пугайтесь, она не переиздавалась. Еще месяц я ковылял с двумя палками, а потом всё прошло бесследно.

Я содрогаюсь при одной мысли, что стало бы со мной, попади я в руки какому-нибудь другому хирургическому светилу Парижа тех дней. Старый Папа Рише в другом крыле той нее больницы, несомненно, уморил бы меня с помощью гангрены или заражения крови, которые были его специальностью и свирепствовали в его средневековой клинике. Знаменитый профессор Пеан, страшный мясник больницы Святого Людовика, сразу же оттяпал бы мне обе ноги и бросил бы их в общую кучу обрубков рук и ног, яичников, маток и опухолей, валявшихся на полу в углу его операционной, залитой кровью и похожей на бойню. Потом громадными руками, еще красными от моей крови, он с легкостью фокусника вонзил бы нож в следующую жертву, не полностью утратившую сознание, так как наркоз был плохим, а другие жертвы, лежавшие на носилках в ожидании своей очереди, кричали бы от ужаса. Закончив эту массовую резню, профессор Пеан отирал пот со лба, смахивая брызги крови и гноя со своего белого халата и с фрака (он всегда оперировал во фраке), говорил: «На сегодня всё, господа», поспешно покидал операционную и мчался в пышном ландо к себе в частную клинику на улице Сантэ, где взрезал живот полдюжине женщин, которые шли к нему, гонимые грандиозной рекламой, как беззащитные овцы на бойню Лавильет.

Глава XVIII. Сальпетриер

Я редко пропускал знаменитые вторники профессора Шарко в Сальпетриер, которые в то время посвящались главным образом его «большой истерии» и «гипнозу». В набитой битком большой аудитории собирался «весь Париж»: писатели, журналисты, известные актеры и актрисы, дамы полусвета, которых влекло сюда патологическое любопытство и желание своими глазами увидеть поразительные чудеса гипноза, почти забытые со времен Месмера и Брайда. На одной из этих лекций я познакомился с Ги де Мопассаном, уже знаменитым автором «Пышки» и незабываемого «Дома Телье». Мы с ним без конца разговаривали о гипнозе и различных душевных расстройствах, так как он настойчиво пытался выведать у меня то немногое, что мне было об этом известно. Расспрашивал он меня и о сумасшествии – в то время он собирал материалы для своей страшной книги «Орля», в которой так верно изобразил свое собственное трагическое будущее. Он даже отправился со мной, когда я ездил в Нанси в клинику профессора Бернхейма, где мне впервые стали ясны ошибки школы Сальпетриер в том, что касалось гипноза. Потом я как-то два дня гостил на его яхте. И всю ночь, пока его «Милый друг» стоял на якоре в

[87] Будь он проклят! Отвяжись от меня, проклятый швед! Зачем ты сюда явился – убирайся в больницу Святой Анны к сумасшедшим! (франц.)

Антибской гавани, мы говорили с ним о смерти. Мопассан боялся смерти. Он говорил, что мысль о ней его никогда не покидает. Его интересовали различные яды, быстрота их действия и сравнительная мучительность причиняемых ими страданий. Особенно настойчиво он расспрашивал меня о смерти в море. Я сказал, что, насколько я могу судить, без спасательного пояса такая смерть сравнительно легка, но со спасательным поясом, пожалуй, самая страшная из всех. Я и сейчас вижу, как его мрачные глава обратились на спасательные круги у двери и как он сказал, что утром выбросит их за борт. Я спросил, не собирается ли он утопить нас во время задуманной поездки на Корсику. Некоторое время он сидел молча.

– Нет! – ответил он наконец и добавил, что всё же предпочтет умереть в объятиях женщины. Я заметил, что при его образе жизни это его желание может исполниться.

Тут проснулась Ивонна, сонно попросила бокал шампанского и снова задремала, положив голову ему на колени. Это была восемнадцатилетняя балетная танцовщица, воспитанная за кулисами Большой Оперы порочными ласками какого-нибудь старого прожигателя жизни, а теперь на борту «Милого друга», где она беспомощно спала на коленях своего страшного любовника, ее ждала полная гибель. Я знал, что для нее нет спасательного круга и что она за него не схватится, даже если я ей его брошу. Я знал, что вместе с телом она отдала и сердце этому ненасытному самцу, которому нужно только ее тело. Я знал, какая судьба ее ожидает, – она была не первой, кого я видел спящей на его коленях. Насколько ответствен он был за свои поступки, это другой вопрос. Страх, терзавший и днем и ночью его смятенный мозг, уже проглядывал в его глазах. И даже тогда я не сомневался, что он обречен. Я знал, что тонкий яд его собственной «Пышки» уже начал разрушать его великолепный мозг. А он знал это? Мне казалось, что знал. На столе между нами лежала рукопись «На воде». Он только что прочел мне несколько глав этой вещи – на мой взгляд, лучшей из всего им написанного. Он еще лихорадочно создавал один шедевр за другим, подхлестывая свой возбужденный мозг шампанским, эфиром и другими наркотиками. Роковой конец торопили и бесчисленные, постоянно сменяющие друг друга женщины, которых он находил где угодно – от Сен-Жерменского предместья до бульваров: актрисы, танцовщицы, мидинетки, гризетки, обыкновенные проститутки. Le taureau triste[88] – называли его друзья. Он чрезвычайно гордился своими успехами и постоянно намекал на таинственных дам из высшего общества, которых его верный слуга Франсуа впускает в его квартиру на улице Клозель. Это был первый симптом начинающейся мании величия. Он часто стремительно взбегал по лестнице на авеню Вилье, садился в углу комнаты и молча устремлял на меня тяжелый, неподвижный взгляд, увы, уже хорошо мне знакомый. Часто он подолгу простаивал перед зеркалом над камином и разглядывал свое отражение, как незнакомого человека.

Однажды он рассказал мне, что как-то, когда он сидел за письменным столом, поглощенный работой над новым романом, он, к своему удивлению, увидел незнакомца, который проник к нему, несмотря на неукоснительную бдительность слуги. Незнакомец сел за стол напротив него и стал ему диктовать то, что он собирался написать. Он уже хотел позвонить Франсуа, чтобы тот выпроводил непрошеного гостя, как вдруг с ужасом понял, что незнакомец был он сам.

Несколько дней спустя я стоял рядом с ним за кулисами Большой Оперы и смотрел, как мадемуазель Ивонна танцует падекатр и украдкой посылает улыбки своему любовнику, который не сводил с нее сверкающих глаз. Потом мы, несмотря на поздний час, отправились поужинать в элегантной маленькой квартирке, которую Мопассан недавно снял для нее. Ивонна смыла румяна, и я испугался, увидев, какой бледной и изможденной она стала за время, которое прошло с тех пор, как я познакомился с ней на яхте. Она сказала, что всегда нюхает эфир, когда танцует, – ничто другое так не подбодряет, – и у них в балете все его нюхают, даже сам режиссер. (Много лет спустя я был свидетелем того, как этот господин умер у себя на вилле в Капри от злоупотребления эфиром.)

Мопассан пожаловался, что Ивонна становится слишком худой и что ее постоянный кашель мешает ему спать по ночам. На следующее утро по его просьбе я ее выслушал – верхушка одного легкого была серьезно затронута. Я сказал Мопассану, что ей необходим полный отдых, и посоветовал послать ее на зиму в Ментону. Он ответил, что готов сделать для нее всё, тем более что худые женщины ему не нравятся. Она категорически отказалась уехать, говоря, что лучше смерть, чем разлука. В течение зимы она доставляла мне множество хлопот, а также и немало новых пациенток. Одна за другой на авеню Вилье появлялись ее подруги, чтобы тайно посове-

[88] Печальный бык (франц.).

товаться со мной, – к театральному врачу они боялись обратиться, так как он мог запретить им танцевать. Кулисы балета оказались для меня новым миром – и довольно опасным для неопытного исследователя, ибо эти юные весталки слагали венки своей юности, увы, не только на алтарь богини Терпсихоры. К счастью для меня, их Терпсихора была изгнана с моего Олимпа, когда отзвучали забытая «Чакона» Глюка и «Менуэт» Моцарта, а то, что осталось, на мой взгляд, было только акробатикой. Но о других завсегдатаях кулис никак нельзя было сказать того же. Я не переставал дивиться тому, как легко теряют равновесие дряхлые донжуаны при виде полуголых девиц, которые, даже танцуя на кончиках пальцев, равновесия не теряют.

После первого легочного кровотечения положение Ивонны стало серьезным. Мопассан, подобно всем писателям, изображающим смерть и страдания, терпеть не мог видеть их вблизи. Ивонна бутылками пила рыбий жир, чтобы пополнеть, так как знала, что ее возлюбленному не нравятся худые женщины. Но это не помогало, и вскоре от ее юной красоты сохранились только чудесные глаза, блестящие от жара и эфира. Кошелек Мопассана оставался для нее открытым, но его руки уже обнимали одну из ее подруг. Ивонна плеснула серной кислотой в лицо своей сопернице, но, к счастью, почти промахнулась. Благодаря влиятельному заступничеству Мопассана и моей справке, что ей осталось жить совсем немного, она отделалась двумя месяцами тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, она, несмотря на просьбы Мопассана, не захотела вернуться в свою квартиру и исчезла в дебрях огромного города, как смертельно раненный зверь, который заползает подальше, чтобы умереть. Совершенно случайно я увидел ее через месяц в Сен-Лазаре – в этом завершении крестного пути всех падших и обездоленных женщин Парижа. Я сказал ей, что тотчас извещу Мопассана и он, конечно, захочет повидать ее. В этот же день я заехал к Мопассану – времени терять было нельзя, так как жить ей, очевидно, оставалось лишь несколько дней. Преданный Франсуа был верен своей роли цербера и наотрез отказался доложить обо мне. Тщетно я умолял его – полученный им приказ был строгим: ни при каких обстоятельствах никого не впускать. По обыкновению, Франсуа дал мне понять, что причина заключается в очередной таинственной даме.

Мне оставалось только одно: написать записку о состоянии Ивонны, а Франсуа обещал незамедлительно передать ее своему хозяину. Получил ли он мою записку, я не знаю, но от души надеюсь, что не получил, – последнее очень вероятно, так как Франсуа всегда старался оберегать своего любимого хозяина от неприятностей, связанных с женщинами. Когда я через день пришел в Сен-Лазар, Ивонна умерла. Монахиня рассказывала мне, что накануне она с утра нарумянилась, причесалась и даже взяла у старой проститутки с соседней койки красную шелковую шаль – последнее воспоминание о лучших днях, чтобы прикрыть свои исхудалые плечи. Она сказала монахине, что должен прийти ее «мсье», и весь день радостно ждала его, но он так и не пришел. Рано утром ее нашли мертвой в постели – она выпила целый пузырек хлоралгидрата.

Два месяца спустя, приехав в Пасси, я увидел Ги де Мопассана в саду Белого дома, известного приюта для душевнобольных. Опираясь на руку верного Франсуа, он жестом «Сеятеля» Милле разбрасывал камешки по цветочным клумбам.

– Смотри, смотри, – говорил он, – если только будет дождь, весной тут взойдут маленькие Мопассаны.

*

Я много лет всё свободное время посвящал изучению гипноза, и для меня публичные демонстрации, устраивавшиеся в Сальпетриер для «всего Парижа», были лишь нелепым фарсом, в котором перемешивались правда и обман. Некоторые из гипнотизируемых, без сомнения, были настоящими сомнамбулами и, пробуждаясь, покорно совершали всё то, что им было приказано сделать, пока они спали. Однако куда больше среди них было обманщиц, которые прекрасно знали, чего от них ждут, и с большим удовольствием морочили зрителей и врачей своими фокусами, в чем им немалым подспорьем служила присущая всем истеричкам хитрость. Они в любой момент были готовы устроить припадок по всем правилам классической «большой истерии» Шарко, с «мостами» и всем прочим или продемонстрировать три его знаменитые стадии гипноза: летаргию, каталепсию, сомнамбулизм – все придуманные прославленным Мэтром и почти нигде, кроме Сальнетриер, не наблюдавшиеся. Одни с удовольствием нюхали нашатырный спирт, когда им говорили, что это розовая вода, другие ели уголь, если его называли шоколадом, одна ползала на четвереньках и яростно лаяла, когда ей внушали, что она – собака, махала руками, старалась взлететь, когда ее превращали в голубя, или с криком ужаса подбирала платье, когда к ее ногам бросали перчатку и внушали, что это змея. Другая расхаживала, держа в руках цилиндр, качала его и нежно целовала, если ей говорили, что это ее ребенок.

Почти все эти несчастные девушки, которых с утра до вечера гипнотизировали врачи и студенты, проводили дни в полубредовом состоянии, совсем отупев от нелепых внушений, утратив контроль над своими поступками, и рано или поздно всех их ждала одна судьба: палата для нервнобольных, если не сумасшедший дом.

Однако, хотя эти пышные представления по вторникам были ненаучны и недостойны Сальпетриер, справедливость требует признать, что в палатах больницы велось серьезное изучение многих всё еще не объясненных явлений гипноза. В то время я сам, с разрешения профессора, провел несколько интересных опытов по гипнотическому внушению и телепатии, работая с одной из этих девушек, удивительно хорошо поддававшейся внушению. Я уже сильно сомневался в верности теорий Шарко, которые его ослепленные ученики, как и широкая публика, принимали с такой безоговорочностью, что это можно объяснить лишь своего рода массовым гипнозом. Посетив клинику профессора Бернхейма в Нанси, я стал хотя и безвестным, но убежденным сторонником так называемой школы Нанси, отвергавшей учение Шарко. Упоминание о школе Нанси в стенах Сальнетриер в те дни было равно оскорблению величества. Сам Шарко приходил в ярость, стоило ему услышать хотя бы имя профессора Бернхейма. Один его ассистент, питавший ко мне глубокую неприязнь, показал профессору «Газет дез опито»[89] с моей статьей, которая была результатом моей последней поездки в Нанси. Несколько дней Шарко старательно меня игнорировал. Но тут в газете «Фигаро» появилась резкая статья, подписанная «Игнотус» – это был псевдоним одного из ведущих парижских журналистов. Статья осуждала публичные демонстрации гипноза в Салъпетриер, называя их опасными и нелепыми представлениями, лишенными какой бы то ни было научной ценности и недостойными великого Мэтра. Шарко показали эту статью во время утреннего обхода, и я был поражен тем, в какое бешенство привела его какая-то газетная статейка, хотя, на мой взгляд, он мог бы счесть ниже своего достоинства даже заметить ее. Ученики Шарко относились друг к другу с ревнивой завистью, которой не был обойден и я. Не знаю, кто придумал эту ложь, но, к своему ужасу, я скоро узнал, что ходят слухи, будто наиболее неприятный материал для своей статьи «Игнотус» получил от меня. Шарко не сказал мне об этом ни слова, но с того дня его прежнее хорошее ко мне отношение изменилось. А затем я получил удар – один из самых тяжелых ударов в моей жизни. Судьба расставила мне ловушку, а я с обычной своей глупой импульсивностью не замедлил в нее угодить.

* * *

Как-то в воскресенье, выходя из больницы, я увидел во внутреннем дворе на скамейке под платанами пожилую крестьянскую пару. От них веяло деревенским воздухом, яблочными садами, полями, скотным двором, и мне было приятно на них смотреть. Я спросил, откуда они и зачем сюда приехали. Старик в длинной синей блузе приложил руку к берету, а женщина в белом аккуратном чепце приветливо улыбнулась и сделала книксен. Они сказали, что приехали утром из своей нормандской деревни навестить дочь, которая третий год работает судомойкой на кухне Сальпетриер. Место это очень хорошее, и устроила ее сюда монахиня из их деревни, помощница поварихи в больничной купе. Но и на ферме работы немало – у них теперь три коровы и шесть свиней, так что они порешили увезти дочку обратно: девушка она сильная и здоровая, а они люди немолодые и одним им управиться с хозяйством тяжело. Всю ночь они ехали на поезде и очень устали – вот и присели отдохнуть на скамейку. Может, я потружусь, укажу им, где тут кухня? Я ответил, что туда надо идти через три двора, а потом еще по коридорам, и предложил проводить их и помочь им отыскать дочь. Только богу известно, сколько судомоек на кухне, где готовят еду на три тысячи человек. И вот мы направились к флигелю, где помещалась кухня, и всю дорогу старушка не переставала рассказывать мне о своих яблонях, об урожае картофеля, о коровах, свиньях и о чудесном сыре, который она варит. Тут она вынула из корзины небольшой сливочный сыр – она думала угостить Женевьеву, но, может, я не откажусь взять его в подарок? Я пристально посмотрел на ее лицо, когда она протянула мне сыр.

– Сколько лет Женевьеве?

– Недавно минуло двадцать.

Она блондинка и очень хорошенькая?

– Отец говорит, что она – ну, вылитая я, – простодушно ответила старая мать.

Старик одобрительно закивал.

---

[89] **В.Э.**: Gazette des Hopiteaux.

– А вы уверены, что ваша дочь работает именно на кухне? – спросил я с невольной дрожью и еще раз внимательно всмотрелся в морщинистое лицо матери.

Вместо ответа старик пошарил во вместительном кармане своей блузы и достал последнее письмо Женевьевы. Я много лет интересовался графологией, и с первого взгляда узнал кудрявый, наивный, но удивительно четкий почерк, который постепенно улучшался в результате многих сотен опытов автоматического письма, в которых иногда участвовал и я сам.

– Сюда, – сказал я и повел их прямо в палату Святой Агнессы – отделение «большой истерии».

Женевьева сидела на длинном столе посреди палаты и болтала ногами в шелковых чулках, держа номер журнала «Ле рир», на обложке которого красовался ее портрет. Рядом с ней сидела Лизетта, другая звезда Сальпетриер. Кокетливую прическу Женевьевы дополняла шелковая голубая лента, на шее сверкала нитка фальшивого жемчуга, бледное лицо было нарумянено, губы подкрашены. Она больше походила на предприимчивую мидинетку, собравшуюся погулять по бульвару, чем на обитательницу больницы. Женевьева была примадонной представлений, устраивавшихся по вторникам, избалованной всеобщим вниманием, очень довольной и собой и своим положением. Старые крестьяне растерянно глядели на дочь. Женевьева посмотрела на них равнодушно и брезгливо, как будто их не узнавая. Вдруг ее лицо задергалось, с пронзительным криком она упала на пол и забилась в судорогах. Лизетта немедленно последовала ее примеру и сделала классический «мост». Подчиняясь закону подражания, две другие истерички устроили по припадку прямо в постели – одна конвульсивно захохотала, а другая зарыдала. Бедные старики оцепенели от ужаса, и монахини поспешили выпроводить их из палаты. Я догнал их на лестнице и проводил к скамье под платанами. Они были настолько перепуганы, что не могли даже плакать. Объяснить им, что произошло, было нелегкой задачей. Как их дочь из кухни попала в палату истеричек, я не знал и сам. Я постарался утешить их, как мог, и сказал, что их дочь скоро поправится. Мать расплакалась, маленькие глазки отца засверкали злобой. Я посоветовал им вернуться к себе в деревню и обещал, что их дочь будет отправлена домой, как только ей станет лучше. Отец хотел забрать ее немедленно, но мать поддержала меня, сказав, что лучше оставить ее тут до выздоровления – наверное, тут о ней хорошо заботятся. Я снова обещал, что в самом скором времени поговорю с профессором и директором клиники, которые, конечно, отправят Женевьеву домой в сопровождении больничной сиделки, и в конце концов мне, хотя и с большим трудом, удалось усадить стариков на извозчика и отправить их на Орлеанский вокзал. Всю ночь мысль об этих старых крестьянах не давала мне спать. Как я выполню свое обещание? Я прекрасно знал, что мне не следует говорить с Шарко на подобную тему. Знал я и то, что Женевьева никогда не согласится добровольно покинуть Сальпетриер и вернуться на скромную ферму родителей. Я видел лишь один выход – подавить ее волю и навязать ей свою. Я по опыту знал, что Женевьева прекрасно поддается гипнозу. Слишком часто и другие и я сам внушали ей, что она должна сделать, когда очнется от гипнотического сна, и она всегда выполняла наши приказания с той же неизбежностью, с какой брошенный камень падает на землю, и почти с астрономической точностью, причем стоило ей пробудиться, как наступала полная амнезия – то есть она не помнила, что ей внушалось во время сеанса, и действовала словно но собственному побуждению. Я попросил у директора клиники разрешение продолжать с Женевьевой начатые мной опыты по телепатии, которая была тогда чрезвычайно в моде. Он сам весьма интересовался этой проблемой, а потому разрешил мне по часу в день работать в уединении его собственного кабинета, и пожелал мне успеха. Но я обманул его. В самый первый же день я внушил Женевьеве под глубоким гипнозом, что следующий вторник она останется лежать в постели и не пойдет в лекционный зал, что она ненавидит свою жизнь в Сальпетриер и хочет вернуться к родителям. Целую неделю я ежедневно повторял это внушение, но без видимых результатов. Однако в следующий вторник она отсутствовала на лекции, что сильно помешало опытам. Мне сказали, что она простудилась и лежит в постели. Два дня спустя я увидел у нее в руках железнодорожный справочник, который она быстро сунула в карман, как только заметила меня, – несомненно, амнезия была полной. Вскоре я внушил ей, что в четверг – это был свободный от опытов день – она пойдет в магазин и купит себе новую шляпу. На следующее утро я увидел, что она с гордостью показывает Лизетте свою покупку. Еще через два дня ей было приказано на следующий день в двенадцать часов тихонько уйти из палаты Святой Агнессы, пока монахини будут разносить второй завтрак, незаметно проскользнуть мимо привратника, занятого едой, сесть на извозчика и поехать прямо на авеню Вилье. Когда я вернулся домой, я увидел, что она сидит у меня в приемной. Я спросил, каким образом она очутилась здесь, и она очень смущенно

пролепетала, что хотела бы посмотреть моих собак и обезьяну, о которых я ей рассказывал. Розали напоила ее кофе, а потом я отправил ее на извозчике в больницу.

– Красивая девушка! – сказала Розали и добавила, прижав палец ко лбу. – Только у нее, кажется, не все дома. Она мне сказала, что сама не знает, зачем пришла сюда.

Успех этого предварительного опыта заставил меня с моей обычной импульсивностью немедленно приступить к выполнению моего плана. Два дня спустя Женевьева получила приказ снова явиться на авеню Вилье в тот же час и с теми же предосторожностями. Это было в понедельник, и я пригласил к завтраку Норстрема в качестве свидетеля на случай, если дело примет непредвиденный оборот. Когда я рассказал ему о своем плане, Норстрем счел необходимым предостеречь меня, что и в случае успеха, и в случае неудачи я могу навлечь на себя серьезные неприятности – но, впрочем, он не сомневался, что Женевьева вообще не придет.

– А вдруг она кому-нибудь об этом скажет?

– Она не может сказать того, чего не знает сама. А о том, что ей надо поехать на авеню Вилье, она не узнает до тех пор, пока часы не пробьют двенадцать.

– А разве нельзя выспросить это у нее во время гипнотического сна?

– Добиться этого способен только один человек – сам Шарко. Но он вспоминает о ее существовании только по вторникам, и я исключаю такую возможность.

Кроме того, добавил я, теперь поздно спорить: Женевьева уже ушла из больницы и будет на авеню Вилье через полчаса.

Часы в передней пробили три четверти первого, и я решил, что они спешат: впервые их мелодичный звон подействовал на меня раздражающе.

– Бросил бы ты все эти глупости! – заметил Норстрем, закуривая сигару. – Ты забил себе голову гипнозом и кончишь тем, что сам сойдешь с ума, если уже не сошел! Я не верю в гипноз – я много раз пробовал гипнотизировать людей, и у меня никогда ничего не получалось.

– Получись у тебя что-нибудь, я бы сразу перестал верить в гипноз, – возразил я сердито.

Раздался звонок. Я вскочил, чтобы самому отворить дверь. Но пришла мисс Андерсен, сиделка, которую я пригласил, чтобы она отвезла Женевьеву домой. Они должны были выехать в Нормандию с ночным экспрессом, и мисс Андерсен я собирался дать письмо местному кюре, в котором я объяснял ему положение вещей и просил его любой ценой помешать возвращению Женевьевы в Париж. Я снова сел за стол, яростно куря одну папиросу за другой.

– А что обо всем этом говорит сиделка? – спросил Норстррм.

– Она ничего не говорит. Она англичанка. Она меня хорошо знает и полностью доверяет моим решениям.

– Ах! Если бы я мог им доверять! – пробурчал Норстрем, выпуская клубы дыма.

Часы на камине пробили половину второго, и со сверхъестественным единодушием их поддержали голоса старинных часов во всех комнатах.

– Сорвалось, – флегматично сказал Норстрем. – Тем лучше для нас обоих – я чертовски рад, что не буду замешен в эту историю.

В ту ночь я не сомкнул глаз. На этот раз не из-за стариков родителей, а из-за самой Женевьевы. Я был так избалован удачей, что мои нервы не умели приспособляться к неуспеху. Что могло произойти?

Когда на следующее утро я входил в лекционный зал Сальпетриер, мне было очень не по себе. Шарко уже начал лекцию о гипнозе, но на эстраде Женевьевы не было. Я тихонько вышел из зала и отправился в дежурку. Кто-то из ассистентов рассказал мне, что накануне во время завтрака его вызвали в палату Святой Агнессы. Там он увидел Женевьеву в состоянии каталептической комы, перемежавшемся сильнейшими судорогами. За полчаса до этого одна из монахинь увидела ее на улице, когда она садилась на извозчика. Она была так возбуждена, что монахиня лишь с большим трудом довела ее до привратницкой, в палату ее пришлось нести на руках. Всю ночь она буйствовала, как дикий зверь, который пытается вырваться из клетки, и на нее пришлось надеть смирительную рубашку. Теперь она лежит под замком в отдельной палате – ей дали большую дозу брома и положили на толоку лед. Никто не понимает, что с ней случилось. У нее был сам Шарко, и в конце концов ему удалось ее усыпить. Наш разговор прервал директор клиники, который, войдя, сказал, что искал меня повсюду. Шарко хочет поговорить со мной, и ему поручено доставить меня в кабинет профессора, когда кончится лекция. Пока мы шли через лаборатории, директор не сказал со мной ни слова. Он постучал в дверь, и я в последний раз в жизни вошел в столь мне знакомое маленькое святилище мэтра. Шарко сидел в своем кресле у

окна, склонившись над микроскопом. Он поднял голову, и его страшные глаза остановились на мне. Медленно, дрожащим от ярости голосом он сказал, что я пытался завлечь к себе в дом молодую девушку, пациентку его клиники, неуравновешенную, не отдающую себе отчета в своих поступках. Она призналась, что один раз уже была у меня, и мой дьявольский план вторично воспользоваться ее беспомощностью не удался лишь благодаря случайности. Это уголовное преступление, и ему следовало бы передать меня в руки полиции, но ради чести нашей профессии и красной ленточки в моей петлице он ограничивается тем, что изгоняет меня из своей клиники – он не желает меня больше видеть.

Я был точно громом поражен, язык у меня прилип к гортани, и я не мог выговорить ни слова. Но внезапно я понял смысл его гнусного обвинения, и мой страх пропал. Я гневно ответил, что не я, а он и его приспешники погубили эту крестьянскую девушку, которая переступила порог больницы здоровой и сильной, а выйдет из нее сумасшедшей, если не покинет ее немедленно. Я избрал единственное доступное мне средство вернуть ее старикам родителям. Мне не удалось ее спасти, и я об этом очень сожалею.

– Довольно! – крикнул он, а затем обернулся к директору клиники и сказал, чтобы он проводил меня до привратницкой и передал сторожам его распоряжение больше никогда не впускать меня в больницу. Он добавил, что, если его власти недостаточно для того, чтобы мне был закрыт доступ в его клинику, он сообщит обо всем случившемся в муниципалитет. Договорив, Шарко поднялся и вышел из комнаты своей тяжелой, медлительной походкой.

Глава XIX. Гипноз

Знаменитые представления в лекционном зале Сальпетриер, из-за которых я был оттуда изгнан, давно уже объявлены шарлатанством всеми учеными, серьезно изучающими сущность гипнотических явлений. Силой своего авторитета Шарко навязал созданные им теории гипноза целому поколению врачей, и эти теории, давно уже опровергнутые, на двадцать с лишним лет задержали правильную оценку гипноза. Теперь почти все теории Шарко по этому вопросу отвергнуты наукой. Гипноз – это вовсе не искусственный невроз, как утверждал он, который можно вызвать только у истеричных, слабовольных или неуравновешенных людей с повышенной восприимчивостью. Верно как раз обратное. Люди, склонные к истерии, как правило, труднее поддаются гипнозу, чем уравновешенные, душевно здоровые люди. Умных, сильных, властных субъектов легче загипнотизировать, чем глупых, тупых, слабохарактерных или слабоумных. Идиоты и сумасшедшие в большинстве случаев вообще не поддаются гипнотическому воздействию. Люди, которые утверждают, что в гипноз они не верят, которые смеются и отрицают, что их можно загипнотизировать, обычно очень легко погружаются в сон. Все дети легко поддаются гипнозу. Одно применение механических средств вызвать гипнотический сон не способно. Стеклянные шарики, вращающиеся зеркала, заимствованные у птицеловов, магниты, пристальный взгляд, устремленный на зрачки гипнотизируемого, месмерические пассы – всё то, к чему прибегали в Сальпетриер и в Шарите, это полнейшая глупость.

С другой стороны, роль гипноза в медицине вовсе не столь ничтожна, как утверждал Шарко. Она может стать и колоссальной; если гипнозом займутся умные, честные врачи, хорошо знакомые с его техникой. Ручательством тому служат тысячи хорошо проверенных случаев. Я сам, хотя я был врачом-невропатологом, а вовсе не гипнотизером, я сам не раз пользовался этим орудием, когда все другие средства оказывались бесполезными, и часто добивался поразительных успехов с помощью этого метода лечения, который всё еще не получил заслуженного признания. Он, как правило, излечивает различные душевные расстройства, как сопровождающиеся, так и не сопровождающиеся потерей воли, а также алкоголизм, наркоманию и нимфоманию. С половыми извращениями дело обстоит сложнее. Чаще всего (если не всегда) это не болезнь, а врожденное отклонение полового инстинкта от нормы, и в этих случаях активное вмешательство может принести не пользу, а вред.

Польза гипнотической анестезии при хирургических операциях и родах теперь признается всеми. Еще более поразительны благотворные результаты этого метода при самой мучительной из всех операций, которую и поныне почти всем приходится переносить без анестезии, – при смерти. Одного того, что мне удалось сделать для многих умирающих солдат во время мировой войны, вполне достаточно, чтобы я благодарил бога за обладание этим оружием. Осенью 1915 года я провел двое незабываемых суток среди сотни умирающих французских солдат, которые,

укрытые окровавленными шинелями, лежали вповалку на полу деревенской церкви. У нас не было ни морфия, ни хлороформа и никаких других анестезирующих средств, чтобы облегчить им агонию. И всё же многие из них умерли спокойно, не сознавая, что происходит, часто даже с улыбкой на губах – я держал руку на лбу умирающего, в его ушах звучали слова утешения и надежды, которые я повторял медленно и внятно, пока страх смерти не исчезал из его глаз.

Что за таинственная сила исходила из моей руки? Каков был ее источник? Зарождалась ли она в моем мозгу, хотя и вне моего сознания, или это были всё те же магнетические флюиды старинных последователей Месмера? Разумеется, современная наука давно отвергла флюиды и заменила их десятком новых теорий. Мне они известны все, но пока ни одна из них меня не удовлетворила. Само по себе внушение – основа ныне признанных теорий гипноза – не может служить исчерпывающим объяснением всех сопутствующих гипнозу явлений. Кроме того, термин «внушение», которым пользуются главные его поборники школы Нанси, по сути лишь иное название всё тех же ныне высмеиваемых месмеровских флюидов. Кажется, мы должны согласиться, что главное – не гипнотизер, а подсознание гипнотизируемого. Но как же тогда объяснить, почему один гипнотизер добивается успеха там, где другой терпит неудачу? Почему внушение одного гипнотизера проникает как приказ в скрытые глубины подсознания гипнотизируемого и приводит в действие таящиеся там силы, тогда как то же внушение, но исходящее от другого человека, парализуется сознанием субъекта и остается втуне? Я больше многих хотел бы знать ответ на эти вопросы, ибо еще в отрочестве обнаружил, что в чрезвычайно высокой степени обладаю этой способностью, называйте ее как угодно. Большинство моих пациентов – и молодые и старые, мужчины и женщины – скоро замечали, это мое свойство и часто обсуждали его со мной. Мои товарищи в больнице знали о нем, оно было известно и Шарко, который нередко им пользовался. Профессор Вуазен, знаменитый психиатр больницы Святой Анны, часто просил меня помочь ему в его отчаянных попытках загипнотизировать какого-нибудь буйного безумца. Мы занимались этим по многу часов, а одетые в смирительные рубашки бедняги вопили и в бессильной ярости плевали нам в лицо. В большинстве случаев у нас ничего не получалось, но иногда мне удавалось успокоить больного, с которым профессор ничего не мог сделать, несмотря на свое поразительное терпение.

О моей способности знали все сторожа Зоологического сада и зверинца Пезона. Я часто шутки ради вызывал у змей, ящериц, черепах, попугаев, сов, медведей и больших кошек состояние летаргии, схожее с тем, которое Шарко объявил первой стадией гипноза. Нередко мне удавалось вызвать у них даже глубокий сон. Я, кажется, уже упоминал о том, как я вскрыл нарыв на лапе Леони, великолепной львицы в зверинце Пезона, и вытащил занозу. Этот случай можно назвать только примером местной анестезии, объясняемой легким гипнозом. Обезьян, несмотря на их живость, усыпить нетрудно, так как они обладают высоким интеллектом и большой восприимчивостью. Заклинание змей, разумеется, всё то же гипнотическое внушение. Мне самому удалось в Карнакском храме вызвать состояние каталепсии у кобры. Приручение диких слонов, мне кажется, также связано с гипнотическим воздействием. Однажды в Зоологическом саду я присутствовал при том, как индиец, погонщик слонов, несколько часов уговаривал раздраженное животное, и больше всего это походило на гипнотическое внушение. Большинство птиц легко поддается гипнозу – всем известно, как легко гипнотизировать кур. Любой человек может сам убедиться в том, как успокоительно действует на животных – и диких и прирученных – монотонное повторение одних и тех же слов, так что даже начинает казаться, будто они понимают их смысл. Как бы я хотел понять то, что говорят мне они! Во всяком случае, это нельзя объяснить внушением. Тут действует какая-то другая сила, и я вновь задаю всё тот же тщетный вопрос какая же это сила?

Среди пациентов, которых я передал Норстрему, когда уехал в Швецию, была морфинистка, уже почти излеченная с помощью гипнотического внушения. Так как я не хотел, чтобы лечение было прервано, я попросил Норстрема быть моим ассистентом на последнем сеансе. Ему показалось, что это очень легко, и он сам как будто понравился пациентке. Вернувшись в Париж, я узнал, что она опять стала прибегать к морфию, так как мой коллега не сумел воздействовать на нее. Я попытался выяснить у нее причину неудачи, но она сама ее не понимала – она всячески старалась, как и Норстрем, который был ей, по ее словам, симпатичен, но, к сожалению, ничего не вышло.

Как-то раз Шарко послал ко мне молодого иностранного дипломата, страдавшего половым извращением. Ни знаменитый венский психиатр Крафт-Эбинг, ни Шарко не сумели его загипнотизировать. Сам он страстно желал излечиться; он жил под вечным страхом шантажа – и был

очень расстроен неудачей обоих профессоров. Он твердо верил в то, что гипноз – единственное спасение для него, и был убежден, что вылечится, если его удастся усыпить.

– Но вы уже спите! – сказал я, едва коснувшись кончиками пальцев его лба. Я не прибегал к пассам, не стал смотреть ему в глаза, но едва я договорил, как его веки с легкой дрожью сомкнулись, и через минуту он уже погрузился в глубокий гипнотический сон. Сначала всё, казалось, шло хорошо, и через месяц он вернулся на родину, преисполненный веры в будущее, – сам я ее далеко не разделял. Он говорил, что намерен сделать предложение одной молодой девушке, которая ему очень нравится, – он мечтал жениться и иметь детей. Потом я потерял его из виду. Через год я случайно услышал, что он покончил с собой. Если бы этот несчастный обратился ко мне на несколько лет позже, когда я стал опытнее, то и я не взялся бы за его излечение, зная, что задача эта безнадежна.

Три знаменитые стадии гипноза, которые так блестяще демонстрировал Шарко на своих лекциях по вторникам, я, кроме как в Сальпетриер, не наблюдал практически нигде. Он придумал их сам и внушил их истеричкам, над которыми проводил опыты, а его ученики приняли всё это на веру, подавленные авторитетом мэтра. То же относится и к его коньку – «большой истерии», которая свирепствовала в Сальпетриер, захватывая одну палату за другой, но в настоящее время почти исчезла. Именно тот факт, что Шарко работал исключительно с истеричными субъектами, служит объяснением, почему он не сумел разобраться в сущности гипноза. Если бы утверждение школы Сальпетриер о том, что гипнотизировать можно только истеричных субъектов, было верным, значит, истерией должны были бы страдать не менее восьмидесяти пяти процентов всего человечества.

Однако в одном Шарко был, несомненно, прав, что бы ни утверждали школа Нанси, Форель, Молль и многие другие: гипнотические опыты представляют известную опасность не только для гипнотизируемого, но и для зрителей. Лично я считаю, что публичные сеансы гипноза следует запретить в законодательном порядке. Специалисты по нервным и душевным болезням так же не могут обходиться без гипноза, как хирурги без хлороформа или эфира. Стоит только вспомнить, сколько тысяч безнадежных случаев нервного шока и травматических неврозов во время последней войны удалось излечить этим способом как по мановению волшебной палочки. В подавляющем большинстве случаев бывает вовсе не нужно прибегать к гипнотическому сну и выключению сознания. Врач, достаточно знакомый со сложностями этого метода и разбирающийся в психологии (эти два условия необходимы для успеха), как правило, добивается хороших, а порой и поразительных результатов, используя только так называемое «внушение в состоянии бодрствования». Школа Нанси утверждает, что гипнотический сон ничем не отличается от естественного. Это не так. Мы пока еще не знаем, что такое гипнотический сон, и поэтому прибегать к нему во время лечения следует лишь при крайней необходимости. Высказав это предостережение, я хотел бы добавить, что большинство обвинений против гипноза весьма преувеличены. Мне неизвестен ни один подтвержденный случай, когда человек совершил бы преступление под влиянием постгипнотического внушения. Я ни разу не видел, чтобы загипнотизированный сделал то, что отказался бы сделать при обычных обстоятельствах. Я утверждаю, что если и найдется негодяй, который с помощью гипноза заставит женщину отдаться ему, это означает только одно: она уступила бы его домогательствам и без всякого гипноза. Слепого подчинения не существует. Загипнотизированный всё время прекрасно сознает, что происходит, и отдает себе отчет в том, чего он хочет, а чего нет. В Нанси знаменитая сомнамбула профессора Льежуа – Камилла сохраняла равнодушие и неподвижность, когда ей протыкали руку булавкой или клали на ладонь раскаленный уголь, но стоило профессору сделать вид, будто он хочет расстегнуть ей блузку, как она краснела и тотчас же просыпалась. Это лишь одни из множества примеров тех необъяснимых противоречий, которые знакомы всем, кто серьезно изучал гипнотические явления и которые совершенно непонятны непосвященным. Люди, любящие бить тревогу, должны помнить, что ни один человек, который этого не хочет, не может быть загипнотизирован. Утверждение, будто человека можно загипнотизировать против его воли и на расстоянии – это полная чепуха. Как и психоанализ.

Глава XX. Бессонница

В тот роковой день, когда я был изгнан Шарко, Норстрем с обычной своей добротой и тактом пригласил меня вечером пообедать с ним. Это была мрачная трапеза – я мучительно

переживал мое унизительное поражение, а Норстрем молча почесывал в затылке, ломая голову над тем, где раздобыть три тысячи франков, которые на другой день он должен был уплатить своему домохозяину. Норстрем наотрез отверг мое объяснение причин постигшей меня катастрофы: отчаянное невезение и роковая случайность, предвидеть которую не было возможности, как ни тщательно разработал я свой план. Его диагноз гласил: безрассудное донкихотство и безмерная самоуверенность. Я сказал, что соглашусь с его выводами, если Фортуна, моя возлюбленная богиня, не подаст мне сегодня же знак, что раскаивается в своем от меня отречении и снова берет меня под свое покровительство. Я еще не договорил, как почему-то вдруг перестал смотреть на стоявшую между нами бутылку медока и обратил взгляд на громадные лапы Норстрема.

– Ты когда-нибудь пробовал заниматься массажем? – спросил я резко.

Вместо ответа Норстрем повернул ко мне свои колоссальные, честные ладони и с гордостью указал на бугры величиною с апельсин у основания больших пальцев. Без всякого сомнения, он сказал правду, когда объяснил, что в Швеции он одно время много занимался массажем.

Я приказал официанту подать бутылку «вдовы Клико» самого лучшего года и поднял бокал за мое нынешнее поражение и завтрашнюю победу моего друга.

– Ты ведь только что сказал, что сидишь без гроша! – воскликнул Норстрем, с удивлением глядя на шампанское.

– Вздор! – засмеялся я. – Мне в голову пришла блестящая мысль, стоящая дороже, чем сто бутылок «вдовы Клико». Выпей еще бокал, пока я всё обдумаю.

Норстрем часто повторял, что у меня в голове поочередно работают два мозга: хорошо развитый мозг дурака и неразвитый мозг гения. Он растерянно уставился на меня, когда я сказал, что приду к нему на следующий день в час его приема между двумя и тремя часами и всё ему объясню. Он сказал, что лучшего времени для спокойного разговора с глазу на глаз не найти: я могу быть уверен, что никого у него не встречу. Мы вышли из кафе «Режанс» под руку.

Норстрем раздумывал над тем, в каком именно моем мозгу возникла блестящая идея, а я пришел в прекрасное расположение духа и почти забыл, что утром был изгнан из Сальпетриер.

Ровно в два часа на следующий день я вошел в роскошную приемную прославленного профессора Гено де Мюсси на улице Цирка. Он был лейб-медиком Орлеанов, делил с ними изгнание, а теперь занимал видное место среди медицинских светил Парижа. Профессор, который всегда был ко мне очень добр, спросил, чем он может быть мне полезен. Я ответил, что неделю назад он любезно представил меня герцогу Омальскому, когда тот с трудом выходил из приемной, опираясь на руку лакея и палку. Тогда профессор объяснил мне, что у герцога ишиас, что колени совсем отказываются служить ему, что он почти не может ходить и что никто из лучших хирургов Парижа не сумел ему помочь. Сегодня же я взял на себя смелость явиться к нему, объяснил я далее профессору, так как пришел к выводу, что герцогу может помочь массаж. Сейчас в Париже находится мой земляк, авторитетный специалист по ишиасу и массажу, и мне кажется, его следовало бы пригласить к герцогу. Гено де Мюсси, который, как и большинство французских врачей, почти ничего не знал о массаже, тотчас же согласился. Герцог на следующий день намеревался уехать в свой замок Шантильи, и мы решили, что я тотчас же отправлюсь в его особняк в Сен-Жерменском предместье вместе со своим знаменитым соотечественником. Когда мы с Норстремом приехали днем к герцогу, нас там встретил профессор. Я строго-настрого приказал Норстрсму держаться, как подобает величайшему знатоку ишиасов, но больше помалкивать. Беглый осмотр убедил нас, что массаж; и пассивные упражнения, несомненно, могут принести больному значительную пользу. На следующий день герцог отбыл в Шантильи в сопровождении Норстрема. Через две недели я прочитал в «Фигаро», что всемирно известный шведский специалист доктор Норстрем был вызван в Шантильи для лечения герцога Омальского. Его высочество видели в парке, где он прогуливался без поддержки – поистине поразительное исцеление. Доктор Норстрем лечит также герцога Монпансье, который много лет страдает подагрой, но теперь уже испытывает значительное облегчение.

Затем настала очередь принцессы Матильды, за ней последовали дон Педро Бразильский, двое русских великих князей, австрийская эрцгерцогиня и испанская инфанта Евлалия.

Норстрем после возвращения из Шантильи слепо мне повиновался, и я запретил ему до поры до времени лечить кого-нибудь, кроме высочайших особ. Я заверил его, что это здравая тактика, опирающаяся на психологические факторы. Два месяца спустя Норстрем вновь водворился в свою элегантную квартиру на бульваре Осман. В его приемной теснились пациенты

из всех стран, а больше всего американцы. Осенью, в Париже вышло «Руководство по шведскому массажу» доктора Густава Норстрема, которое мы в лихорадочной спешке составили по нескольким шведским источникам. Одновременно книга вышла в Нью-Йорке. Поздней осенью Норстрема пригласили в Ньюпорт, лечить старика Вандербилта – гонорар должен был назначить он сам. К его огорчению, я запретил ему ехать. Месяц спустя старый миллиардер отплыл в Европу, чтобы занять место среди других пациентов Норстрема – живая реклама, написанная гигантскими буквами и видимая во всей Америке. Теперь Норстрем с утра до вечера разминал своих пациентов громадными ручищами, бугры на его ладонях мало-помалу достигли размера небольших дынь. Вскоре ему даже пришлось пожертвовать субботними вечерами в Скандинавском клубе, где прежде он, обливаясь потом, ради своей печени галопировал по залу, приглашая по очереди всех дам. Он утверждал, что для печени нет ничего полезнее танцев и хорошей испарины. Успехи Норстрема меня так радовали, что я на некоторое время почти забыл мое позорное изгнание. Увы! Оно скоро вновь предстало передо мной, сначала овладев моими снами, а затем заняв все мои мысли и наяву. Часто, когда я, стараясь уснуть, лежал с закрытыми глазами, передо мной вновь развертывалась недостойная заключительная сцепа трагедии, и занавес опускался на мое будущее. В темноте вновь сверкали страшные глаза Шарко, я вновь выходил из Сальпетриер под эскортом двух ассистентов, точно преступник между двух полицейских. Я понимал свою глупость, я понимал, что диагноз Норстрема – «безрассудное донкихотство и безмерная самоуверенность» – был справедлив. Снова Дон Кихот!

Вскоре я уже совсем не мог спать – бессонница приняла такой острый характер, что я чуть не сошел с ума. Бессонница не убивает человека, если он сам не убьет себя, хотя она часто бывает причиной самоубийств. Но, во всяком случае, она убивает радость жизни, подтачивает силы, как вампир высасывает кровь из сердца и мозга. По ночам она вынуждает человека помнить то, о чем он стремится забыть в благодатном сне, а днем заставляет забывать то, что он хочет помнить. Сначала гибнет память, потом волны смывают дружбу, любовь, чувство долга и даже сострадание. Только отчаяние цепляется за обреченный корабль, чтобы потом разбить его о скалы. Вольтер был прав, поставив сон рядом с надеждой.

Я не сошел с ума и не покончил с собой, я продолжал кое-как работать небрежно, не заботясь о том, что будет со мной и что будет с моими пациентами. Берегитесь врача, страдающего бессонницей! Мои пациенты начали жаловаться, что я держусь с ними грубо и нетерпеливо. Многие ушли от меня, многие сохранили мне верность – не на пользу себе! Только когда они были близки к смерти, я выходил из своего оцепенения – меня всё еще интересовала Смерть, хотя Жизнь уже не пробуждала у меня ни малейшего интереса. Я наблюдал за ее мрачным приближением с тем же жгучим любопытством, с каким следил за ней студентом в палате Святой Клары в безрассудной надежде вырвать у нее ее страшную тайну. Я всё еще мог просидеть целую ночь у постели умирающего пациента, хотя вовсе не был к нему внимателен, когда еще мог бы его спасти. Меня хвалили за то, что я всю ночь сидел с умирающим, когда остальные врачи уходили. Но какая была для меня разница – сидеть на стуле у чьей-то кровати или лежать без сна в собственной постели?

К счастью, всё возрастающее недоверие к снотворным спасло меня от полной гибели – сам я почти никогда но принимал те средства, которые весь день напролет прописывал моим пациентам. Моим врачом была Розали. Я послушно пил снадобья, которые она варила на французский манер из всевозможных чудодейственных трав. Мое состояние очень тревожило Розали. Я обнаружил, что она нередко без спроса отказывала пациентам, когда у меня, по ее мнению, был слишком утомленный вид. Я пытался рассердиться, но у меня не осталось сил, чтобы выбранить ее.

Был обеспокоен и Норстрем. Наше взаимное положение изменилось: он подымался по скользкой лестнице успеха, я по ней спускался. От этого его доброта только возросла, и я часто поражался тому, каким терпеливым он был со мной. Он постоянно приходил на авеню Вилье разделить мой одинокий обед. Последнее время я не обедал вне дома, никого не приглашал к себе и не бывал в обществе, хотя прежде всё это мне нравилось. Теперь же такие развлечения казались мне пустой тратой времени. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, я хотел только одного – спать.

Норстрем настойчиво советовал мне уехать месяца на два на Капри и отдохнуть там хорошенько – тогда я, несомненно, вернусь в Париж совсем здоровым. Я говорил, что, уехав, уже никогда больше не вернусь в Париж, так как мне опротивела искусственная жизнь больших городов. Я больше не хочу бессмысленно томиться в этой атмосфере болезненности и гниения. Я

хочу уехать отсюда навсегда. Я не желаю быть модным врачом. Чем больше у меня пациентов, тем тяжелее давят меня мои цепи. Я могу найти для своей жизни другое употребление, вместо того чтобы тратить ее на богатых американцев и пустых нервных дамочек. И нечего ему твердить, что я гублю свою «блистательную карьеру». Он прекрасно знает, что во мне нет того, без чего человек не может стать по-настоящему хорошим врачом. Ему к тому же известно, что я не умею ни зарабатывать, ни копить деньги. Кроме того, я вовсе не стремлюсь к деньгам, я не знаю, что с ними делать, я их боюсь, я их ненавижу! Я хочу вести простую жизнь среди простых неиспорченных людей. Если они не умеют ни читать, ни писать – тем лучше. Мне ничего не нужно, кроме беленой комнаты, жесткой кровати, дощатого стола, двух–трех стульев и рояля. За окном пусть щебечут птицы, а вдали шумит море. То, что я действительно люблю, стоит очень дешево. Я буду счастлив в самой скромной обстановке, если только у меня перед глазами не будет ничего безобразного.

Норстрем медленно обвел взглядом столовую – картины с золотым фоном ранних итальянских художников на стенах, флорентийскую мадонну на пюпитре, фламандские гобелены на дверях, сияющие кафайольские вазы и хрупкие венецианские бокалы на буфете, персидские ковры на полу.

– Ты всё это, вероятно, приобрел в магазине «Бон-Марше»? – спросил Норстрем, ехидно поглядывая на бесценный бухарский ковер под столом.

– Я с радостью отдам тебе его за одну-единственную ночь здорового сна. Можешь взять вот эту уникальную урбинскую вазу, подписанную самим маэстро Джордже, если сумеешь научить меня снова смеяться. Мне больше не нужен весь этот хлам, он ничего не говорит моему сердцу, он мне надоел! И перестань усмехаться! Я знаю, что говорю, и сейчас тебе это докажу. Знаешь, что произошло со мной, когда я на прошлой неделе был в Лондоне, куда меня вызвали к этой даме, страдающей грудной жабой? Ну так вот! В тот же день мне пришлось заняться еще одним больным (это был мужчина), и гораздо более тяжелым. Это был я сам, или, вернее, мой двойник – Doppelgänger, как называл его Гейне. «Послушайте, друг мой, – сказал я моему двойнику, когда мы с ним под руку выходили из Сент-Джеймского клуба. – Я хочу поподробнее исследовать вас изнутри. Возьмите себя в руки, и прогуляемся по Нью-Бонд-стрит от Пиккадилли до Оксфорд-стрит. Теперь слушайте: наденьте самые сильные свои очки и внимательно вглядывайтесь в каждую витрину, тщательно рассмотрите каждый предмет. Вы ведь любите красивые вещи, а мы пройдем мимо самых дорогих лондонских магазинов. Всё, что можно иметь за деньги, разложено тут перед вами на расстоянии протянутой руки. Всё, что вы пожелали бы иметь, вы получите, лишь стоит сказать – я хочу вот эту вещь, но с одним условием: то, что вы выберете, вы должны оставить себе, отдавать вы ничего не имеете права».

Мы дошли до угла Пиккадилли, и эксперимент начался. Скосив глаза, я неотрывно следил за своим двойником, пока мы шли по Бонд-стрит и заглядывали в каждую витрину. На минуту он остановился перед антикварным магазином Энью, внимательно посмотрел на старинную мадонну на золотом фоне и сказал, что картина очень хороша – ранней Сиеннской школы, может быть, кисти самого Симоне ди Мартино. Он сделал движение к витрине, как будто хотел схватить картину, но потом грустно покачал головой, сунул руку в карман и пошел дальше. Он полюбовался старинными часами в витрине Ханта и Роскелла, а потом, пожимая плечами, сказал, что его не интересует, который сейчас час, да и вообще можно определять время по солнцу. Перед витриной Аспри, со всевозможными безделушками и побрякушками из золота, серебра и драгоценных камней, он объявил, что ему тошно, что он разобьет стекло и переломает содержимое витрины, если тотчас от нее не отойдет. Когда мы проходили мимо заведения портного его королевского высочества принца Уэльского, он сказал, что старая одежда куда удобнее новой. И чем дальше мы шли, тем он становился равнодушнее и замедлял шаг лишь для того, чтобы погладить многочисленных собак, следовавших по тротуару за своими хозяевами. Когда мы наконец дошли до Оксфорд-стрит, у него в одной руке было яблоко, а в другой – букетик ландышей. Он сказал, что ничего другого из того, что он видел на Бонд-стрит, он не хочет, кроме, может быть, маленького абердинского терьера, который так терпеливо ожидал своего хозяина перед магазином Аспри. Он принялся грызть яблоко и сказал, что это было очень хорошее яблоко, а потом с нежностью посмотрел на ландыши и сказал, что они напоминают ему Швецию. Затем он выразил надежду, что я завершил свой эксперимент, и спросил, понял ли я, что с ним такое, – не в порядке голова?

«Нет, – ответил я. – Сердце!»

Он сказал, что я очень искусный врач – он всегда подозревал, что во всем повинно его сердце. Он умолял меня не нарушать профессиональной тайны и ничего не говорить его друзьям – им совершенно не нужно знать того, что их не касается.

На следующий день мы вернулись в Париж. Переезд из Дувра в Кале как будто доставил ему удовольствие – он говорил, что любит море. Но с тех пор он почти не покидает авеню Вилье и только бродит по комнатам, как будто ни минуты не может посидеть спокойно. Он вечно околачивается в моей приемной и отталкивает богатых американцев, чтобы попросить у меня какого-нибудь лекарства, которое взбодрило бы его – он так страшно устал! А потом он ездит со мной по городу и терпеливо ожидает в экипаже с собакой, пока я навещаю пациентов. За обедом он сидит напротив меня на том самом стуле, на котором сейчас сидишь ты, пристально смотрит на меня усталыми глазами и жалуется, что у него нет никакого аппетита – что ему ничего не нужно, кроме сильного снотворного. По ночам он подходит к моей кровати, склоняется над моей подушкой и умоляет, ради всего святого, увезти его отсюда, – он больше не может терпеть, это невыносимо и...

– Совершенно с ним согласен! – сердито перебил меня Норстрем. – Прекрати, ради бога, болтать вздор про своего двойника. Душевная вивисекция – опасная игра для того, кто не может спать. Если ты и дальше будешь продолжать в этом же духе, то вместе со своим двойником скоро очутишься в сумасшедшем доме. Но я умываю руки. Если ты хочешь, чтобы твоя карьера пошла к чертям, если ты не дорожишь ни своей репутацией, ни деньгами, если побеленная комнатушка на Капри тебе милее этой прекрасной квартиры, то, пожалуйста, уезжай, и как можно скорее, на свой возлюбленный остров. Лучше тебе быть счастливым там, чем сойти с ума здесь. Что до твоего двойника, то можешь передать ему от меня, что он чистейшей воды лицемер. Готов побиться об заклад, что он скоро обзаведется другим бухарским ковром, чтобы положить его под твой дощатый стол, другой сиеннской мадонной и фламандским гобеленом, чтобы повесить их на стену в твоей побеленной комнате, а также чашей пятнадцатого века из Губбио и старинными венецианскими бокалами, чтобы тебе было из чего есть макароны и пить белое каприйское вино!

Глава XXI. Чудо Сант Антонио

Сант Антонио совершил еще одно чудо: я живу в побеленном чистом крестьянском домике в Анакапри,[90] за открытыми окнами виднеется залитая солнцем колоннада, а вокруг меня – простые приветливые люди. Старая Мария Почтальонша, Красавица Маргерита, Аннарелла и Джоконда – все обрадовались моему приезду. Белое вино дона Дионизио было даже лучше, чем прежде, а к тому же я постепенно убеждался, что красное вино приходского священника ничуть не хуже. С зари до зари я трудился в бывшем саду мастро Винченцо, откапывая основания больших арок будущей лоджии моего будущего дома. Рядом со мной копали мастро Никола и три его сына, а шестеро девушек со смеющимися глазами, раскачивая бедрами, уносили землю в огромных корзинах на голове. На глубине одного ярда мы нашли твердые, как гранит, римские стены: на красном помпейском фоне танцевали нимфы и вакханки. Ниже открылся мозаичный пол, обрамленный узором из черных виноградных листьев, и разбитые плиты прекрасного серого мрамора, которые теперь составляют центральную часть пола большой лоджии. Каннелированная колонна, которая поддерживает маленькую лоджию во внутреннем дворике, лежала поперек плит совсем так, как и две тысячи лет назад, когда она обрушилась и в своем падении разбила большую вазу из паросского мрамора, украшенную львиной головой, ручка которой и сегодня еще лежит на моем столе. «Roba di Timberio!» – сказал мастро Никола, подымая расколотую пополам голову Августа, которую теперь можно увидеть в большой лоджии.

Когда на кухне священника дона Антонио поспевали макароны и церковные колокола вызванивали полдень, мы все усаживались за обильную трапезу вокруг огромного блюда с салатом из помидоров, с лапшой или макаронами, а потом снова принимались за работу до заката. Когда внизу, в Капри, колокола звонили к вечерне, мои товарищи крестились и расходились по домам, говоря: «Buon riposo, Eccellenza, buona notte, signorino»[91]. Сант Антонио услышал их пожелания и сотворил еще одно чудо: я крепко спал всю ночь, как я уже не спал

---

[90] **В.Э.:** Аксель Мунте купил Сан-Микель, переселился на Капри и начал виллу реставрировать в 1887 году после 7 лет врачебной практики в Париже и 12 лет после своего первого посещения острова.

[91] Спокойного сна, ваше сиятельство, спокойной ночи (итал.).

много лет. Я вставал с солнцем, спешил вниз к маяку, чтобы искупаться в море, и уже работал в саду, когда в пять часов утра после утренней службы подходили остальные.

Никто из них не умел ни читать, ни писать, никто никогда не строил ничего, кроме простых крестьянских домиков, похожих друг на друга, как две капли воды. Но мастро Никола умел строить арки, как умели это его отец, и дед, и все его предки, чьими учителями были римляне. Мои помощники уже поняли, что строят дом, не похожий ни на один из тех, которые они видели раньше, и были полны жгучего любопытства: никто не знал, как он будет выглядеть, а я – меньше остальных. Единственным нашим планом был грубый эскиз, который я нарисовал углем на белой садовой ограде. Рисовать я не умею совсем, и казалось, что план этот намалеван детской рукой.

– Это мой дом, – объяснял я им. – Большие романские колонны будут поддерживать сводчатые потолки, а во всех окнах поставим, конечно, маленькие готические колонки. А вот это лоджия с крепкими арками. Потом мы увидим, сколько должно быть арок. А вот колоннада из сотни колонн, ведущая к часовне, – не обращайте внимания на то, что сейчас мою колоннаду пересекает проезжая дорога: она исчезнет. А вот здесь, где открывается вид на замок Барбароссы, будет вторая лоджия. Я, правда, еще не представляю ее себе, но в нужную минуту она, несомненно, возникнет в моей голове. Здесь внутренний дворик, весь из белого мрамора, нечто вроде атриума с прохладным фонтаном посредине и бюстами римских императоров в нишах. Садовую ограду за домом мы сломаем и построим крытую галерею, как в римском Латеране. А вот тут будет большая терраса, чтобы вашим девушкам было где плясать тарантеллу летними вечерами. В верхней части сада мы взорвем скалу и построим греческий театр, со всех сторон открытый солнцу и ветру. А вот тут кипарисовая аллея, ведущая к часовне, которую мы, конечно, восстановим с ее хорами и цветными стеклами, – это будет моя библиотека. Вот это – галерея из витых колонн около часовни. А тут, откуда открывается вид на Неаполитанский залив, мы поставим громадного египетского сфинкса из красного гранита, более древнего, чем сам Тиберий. Это место как будто создано для сфинкса. Я пока но знаю, где я раздобуду сфинкса, но он в свое время найдется.

Все они пришли в восторг и исполнились горячим желанием достроить дом сегодня же. Мастро Никола поинтересовался, откуда я возьму воду для фонтана.

Конечно, с неба, – откуда берется и вся вода на острове. Кроме того, я намерен купить гору Барбароссы и построить там громадную цистерну для сбора дождевой воды, чтобы потом снабжать ею их деревню, которая сейчас так нуждается в воде, – так я попробую хоть немного отблагодарить их всех за их доброту ко мне.

Когда я палкой на песке начертил эскиз крытой галереи, я сразу же увидел ее именно такой, какой она стала теперь: легкие аркады, маленький внутренний двор под сенью кипарисов, где танцует мраморный фавн. Когда мы нашли глиняную вазу с римскими монетами, они все пришли в неистовое волнение: ведь в продолжение двух тысяч лет каждый житель острова надеялся отыскать il tesoro di Timberio.[92] Только позже, очищая эти монеты, я обнаружил среди них золотую монету, такую отчетливую, будто она была только что выбита, с лучшим изображением старого императора, какое только мне доводилось видеть. Неподалеку от вазы мы наткнулись на два бронзовых копыта от какой-то конной статуи – одно из них до сих пор хранится у меня, а второе десять лет спустя украл неизвестный турист.

В саду валялись тысячи кусков разноцветного полированного мрамора, которые теперь образуют пол большой лоджии, часовни и некоторых террас. Мы копали, и на свет появлялись разбитая агатовая чаша чудесной формы, несколько целых и разбитых греческих и римских ваз, многочисленные обломки раннеримских скульптур, в том числе и la gamba di Timberio,[93] как объявил мастро Никола, а также десятки греческих и римских надписей. Когда мы сажали кипарисы вдоль тропинки, ведущей к часовне, мы наткнулись на гроб, в котором лежал скелет мужчины, похороненного с греческой монетой во рту. Кости и теперь покоятся там, где мы их нашли, а череп лежит на моем письменном столе.

Быстро росли массивные арки большой лоджии, одна за другой подымались к голубому небу сто белых колонн. То, что прежде было жилищем и мастерской мастро Винченцо, постепенно преображалось и расширялось, образуя мой будущий дом. Каким образом это было сделано, я так и не понял, как и все, кому теперь известна история Сан-Микеле. Я не имел ни

[92] Клад Тимберия (итал.).
[93] Нога Тимберия (итал.).

малейшего понятия о строительном искусстве, и мои помощники тоже, – ни один грамотный человек ни разу не приложил руку к постройке, ни к одному архитектору не обращались за советами, не было вычерчено ни одного настоящего плана и не произведено ни одного измерения – всё делалось «all'occhio»[94], как говорил мастро Никола.

По вечерам, когда все уходили, я обычно садился на разбитый парапет у часовни, на месте, предназначенном для моего сфинкса, и мысленным взором следил, как в сумерках встает замок моей мечты. Часто, когда я сидел там и смотрел вниз на незаконченные арки лоджии, мне чудилось, будто между ними движется высокий человек в длинной мантии, осматривает то, что было сделано в этот день, проверяет прочность построек, наклоняется, чтобы рассмотреть жалкие эскизы, набросанные мною на песке. Кто был этот таинственный наблюдатель? Может быть, досточтимый Сант Антонио потихоньку ускользал из церкви, чтобы совершить здесь новое чудо? Или то был искуситель дней моей юности, который двенадцать лет назад стоял в красном плаще рядом со мной на этом самом месте и предлагал мне свою помощь взамен моего будущего? В сгустившихся сумерках я не мог различить его лица, но мне мнилось, будто под красной мантией поблескивает лезвие шпаги. Когда на следующее утро мы принимались за работу, которую накануне вечером должны были прервать, не зная, что и как делать дальше, оказывалось, что за ночь все трудности были разрешены. Я не колебался и не раздумывал. Мой внутренний взор видел всю совокупность постройки так ясно, будто это был подробнейший план, начерченный опытным архитектором.

За два дня до этого Мария Почтальонша принесла мне письмо из Рима. Не распечатывая, я бросил его в ящик моего дощатого стола, где уже валялся десяток непрочитанных писем. У меня не было времени для мира, лежащего за пределами Капри, а на небе нет почты. Затем случилось нечто неслыханное: в Анакапри пришла телеграмма. С большим трудом была она передана семафором в Масса-Лубрензе и через два дня постепенно дошла до семафора на Капри около Арка-Натурале. Дон Чиччо, семафорист, приблизительно угадав ее смысл, стал предлагать ее по очереди различным людям в Капри. Никто не понимал ни слова, и все от нее отказывались. Тогда было решено отправить ее в Анакапри, и телеграмму положили в рыбную корзину Марии Почтальонши. Мария, которая никогда прежде не видела телеграмм, боязливо вручила ее священнику. Преподобный дон Антонио, не умевший читать того, чего он не знал наизусть, велел Марии отнести телеграмму учителю, преподобному дону Натале, самому ученому человеку поселка. Дон Натале с уверенностью заявил, что это написано на древнееврейском языке, но так безграмотно, что перевести он не может. Он посоветовал Марии Почтальонше отнести телеграмму дону Дионизио, который ездил в Рим поцеловать руку папы, а поэтому ему-то и надлежит прочесть таинственное послание. Дон Дионизио, слывший в деревне величайшим знатоком древностей, тотчас же узнал тайнопись самого Тимберио и заметил, что было бы удивительно, если бы кто-нибудь сумел ее прочесть. Аптекарь подтвердил его мнение, но цирюльник клялся, что написано по-английски. Он дал благой совет отнести телеграмму Красавице Маргерите, тетка которой вышла замуж за английского лорда. Увидев телеграмму, Красавица Маргерита разразилась слезами: ей как раз приснилось, что ее тетка больна, и, значит, телеграмму прислал английский лорд, извещая их о смерти ее тетки. Мария Почтальонша бродила с телеграммой в руках из дома в дом, а волнение в деревне тем временем всё росло, и скоро уже никто не работал. Слух, что между Турцией и Италией началась война, к полудню сменился другим слухом, принесенным из Капри босоногим мальчишкой, – короля убили в Риме! Немедленно собрался муниципальный совет, но дон Диего, председатель, решил не приспускать флага до тех пор, пока печальное известие не будет подтверждено второй телеграммой. На закате Мария Почтальонша явилась г. Сан-Микеле с телеграммой и в сопровождении именитых граждан обоего пола. Я посмотрел на телеграмму и сказал, что она адресована не мне. А кому же? Я ответил, что это мне неизвестно – мне никогда не приходилось слышать ни о живом, ни о мертвом человеке, изуродованном подобной фамилией, – к тому же это, возможно, вовсе и не фамилия, а алфавит какого-то неизвестного языка. Может, я попробую прочесть телеграмму и скажу, что в ней написано? Нет, я этого делать не стану – я ненавижу телеграммы. Я не желаю вмешиваться в это дело. А правда, что между Италией и Турцией началась война? Толпа у садовой ограды взволнованно зашумела.

Я ответил, что не знаю, да и знать не хочу, лишь бы мне дали спокойно копаться в моем саду. Старая Мария Почтальонша уныло присела на мраморную колонну и сказала, что она ходит

[94] На глазок (итал.).

с этой телеграммой с самого рассвета, весь день у нее во рту росинки маковой не было и больше у нее нет сил. А кроме того, ей надо идти кормить корову. Может быть, я возьму телеграмму на сохранение до следующего утра? А то как бы чего не приключилось: у нее в комнате играют внуки, не говоря уж о курах и свинье. Мы с Марией были старыми друзьями. Я пожалел и ее и корову и сунул телеграмму в карман до следующего утра, когда Марии предстояло вновь отправиться с ней в странствования.

Солнце опускалось в море, колокола звонили к вечерне, и мы разошлись по домам ужинать. Я сидел под моей колоннадой за лучшим вином дона Дионизио, как вдруг мне в голову пришла страшная мысль: что, если телеграмма все-таки для меня? Подкрепившись еще одним стаканом вина, я положил телеграмму перед собой на стол и попытался облечь ее таинственный смысл в членораздельные слова. Бутылка была допита прежде, чем я наконец убедился, что телеграмма предназначалась не мне – я так и уснул, сжимая ее в руке и положив голову на стол.

На следующее утро я встал поздно. Спешить мне было некуда: в сад, конечно, никто не придет, так как нынче страстная пятница, и вся деревня, несомненно, молится в церкви. Когда часа через два я неторопливо поднялся в Сан-Микеле, то к своему большому удивлению увидел, что в саду усердно трудятся мастро Никола, его три сына и все девушки. Разумеется, им было известно, как я стремлюсь побыстрее завершить постройку, но мне и в голову не пришло бы просить их работать в страстную пятницу. Меня растрогала их любезность, и я поспешил выразить им свою благодарность. Мастро Никола посмотрел на меня с недоумением и сказал, что этот день вовсе никакой не праздник.

Как же так? Неужто он не знает, что нынче страстная пятница – день распятия Иисуса Христа?

– Va bene,[95] – сказал мастро Никола, – но Иисус Христос не был святым!

– Нет, был – самым великим из всех святых!

– Но не таким великим, как Сант Антонио, который совершил более ста чудес. А сколько чудес совершил Gesù Cristo? – спросил он с лукавой усмешкой.

Кому, как не мне, было знать, что Сант Антонио преотменный чудотворец – ведь он снова привел меня в свое селение, а разве возможно совершить более дивное чудо? И, уклонившись от ответа, я сказал, что при всем моем к нему почтении Сант Антонио был только человеком, а Иисус Христос – сын божий, который, чтобы спасти нас от ада, принял смерть на кресте в этот самый день.

– Вот и неправда! – сказал мастро Никола, принимаясь энергично копать землю. – Его предали смерти вчера, чтобы не затягивать богослужения.

Я едва успел прийти в себя от такого открытия, как хорошо знакомый голос за оградой произнес мое имя. Это был мой друг, недавно назначенный шведский посланник в Риме. Он был вне себя от негодования: во-первых, я не ответил ему на письмо, в котором он сообщал о своем намерении провести со мной пасху, а во-вторых, забыл даже о простой вежливости и не встретил его на пристани с осликом, о чем он настоятельно просил меня в телеграмме. Никогда бы он не поехал в Анакапри, если бы знал, что ему придется подыматься в одиночестве по семистам семидесяти семи финикийским ступеням. Неужели у меня хватит наглости утверждать, будто я не получил его телеграммы?

Конечно, я ее получил, – мы ее все получили, и я из-за нее чуть было мертвецки не напился. Когда я вручил ему телеграмму, он немного смягчился и сказал, что возьмет ее в Рим, чтобы показать министру почт и телеграфа. Я выхватил ее у него из рук и сказал, что буду энергично противиться всякой попытке улучшения телеграфной связи между Капри и материком.

Я с большим удовольствием показывал моему другу будущее великолепие Сан-Микеле, иногда для пущей ясности прибегая к помощи плана на садовой ограде, что, по его словам, было совершенно необходимо. Он не уставал восхищаться, а когда, поднявшись к часовне, увидел у своих ног весь чудесный остров, то сказал, что это, несомненно, самый прекрасный вид на свете. Затем я показал ему место, где я намеревался поставить большого египетского сфинкса из красного гранита, и он посмотрел на меня с некоторым беспокойством, а когда я объяснил, где именно гора будет взорвана, чтобы можно было построить греческий театр, он заявил, что у него немного кружится голова, и попросил меня отвести его на мою виллу и дать ему стакан вина – он хочет поговорить со мной спокойно.

---

[95] Ладно (итал.).

Оглядев побеленные стены моей комнаты, он осведомился, это ли моя вилла, а я ответил, что нигде мне не было так удобно жить, как здесь. Я поставил бутылку вина дона Дионизио на дощатый стол, предложил моему другу свой стул, а сам уселся на кровать, приготовясь выслушать то, что он намеревался мне сказать. Мой друг спросил, не слишком ли много времени в последние годы я проводил в Сальпетриер среди не вполне нормальных неуравновешенных людей, а нередко и просто душевнобольных.

Я ответил, что он недалек от истины, но что с Сальпетриер я покончил навсегда.

Он был очень рад это слышать – по его мнению, мне давно следовало переменить специальность. Он искренне меня любит и, собственно говоря, приехал для того, чтобы постараться убедить меня немедленно вернуться в Париж, а не прозябать попусту среди крестьян в Анакапри. Однако теперь, повидавшись со мной, он убедился, что был неправ: мне необходим полный отдых.

Я сказал, что рад тому, что он одобрил мое решение: я действительно не мог больше выдерживать постоянного напряжения, я переутомился.

– Что-нибудь с головой? – участливо спросил он.

Я сказал, что советовать мне вернуться в Париж – бесполезно. Я решил провести остаток моих дней в Анакапри.

– Неужели ты хочешь сказать, что намерен провести всю жизнь в этой жалкой деревушке в полном одиночестве, среди крестьян, не умеющих ни читать, ни писать? Ты – с твоим образованием! С кем же ты будешь общаться?

– С самим собою, с моими собаками и, может быть, с обезьяной.

– Ты всегда утверждал, что не можешь жить без музыки. Кто будет тебе играть и петь?

– Птицы в саду, море вокруг острова. Прислушайся! Слышишь это чудесное меццо-сопрано? Это поет золотая иволга. Не правда ли, голос у нее лучше, чем у нашей знаменитой соотечественницы Кристины Нильсон и даже чем у самой Патти? А ты слышишь торжественное анданте волн – разве оно не прекраснее, чем медленный ритм Девятой симфонии Бетховена?

Мой друг резко переменил тему и спросил, кто мой архитектор и в каком стиле будет построен дом.

Я ответил, что архитектора у меня нет и что я еще не знаю, в каком стиле будет построен дом – всё это решится само собой по ходу работы. Он опять бросил на меня тревожный взгляд и выразил свою радость по поводу того, что я покинул Париж богатым человеком – для постройки такой великолепной виллы, несомненно, нужно большое состояние.

Я выдвинул ящик моего дощатого стола и показал ему пачку банкнот, спрятанную в чулке. Это всё, сказал я, что у меня осталось после двенадцати лет тяжелой работы в Париже – тысяч, пятнадцать франков, может быть, немного больше, может быть, немного меньше, но последнее будет вернее.

– Неисправимый мечтатель, прислушайся к голосу друга! – сказал шведский посланник и, постучав себя пальцем по лбу, продолжал: – Ты мыслишь немногим логичнее своих бывших пациентов в Сальпетриер – по-видимому, это заразительно! Попытайся хоть раз увидеть вещи такими, какими они есть в действительности, а не такими, какими ты себе их представляешь в мечтах. Через месяц твой чулок опустеет, а пока я не видел ни единой комнаты, пригодной для жилья. Я видел только недостроенные лоджии, террасы, галереи и аркады. Как ты думаешь построить свой дом?

– Вот этими руками.

– Ну, а построив дом, что ты будешь есть?

– Макароны.

– Постройка твоего Сан-Микеле таким, каким ты его себе воображаешь, обойдется в полмиллиона, не меньше. Откуда ты возьмешь деньги?

Я был ошеломлен. Мне ничего подобного и в голову не приходило, это была совершенно новая точка зрения.

– Что же мне в таком случае делать? – спросил я наконец, растерянно глядя на моего друга.

– Я скажу тебе, что ты должен делать, – ответил он обычным своим энергичным тоном. – Немедленно прекращай работы в твоем нелепом Сан-Микеле, выбирайся из твоей беленой каморки и, раз уж ты отказываешься вернуться в Париж, поезжай в Рим и начинай практиковать там. Рим – самое подходящее для тебя место. Тебе придется проводить там только

зиму, – а всё длинное лето ты будешь свободен продолжать строительство. Сан-Микеле стал твоей навязчивой идеей, но ты не глуп – во всяком случае, так считает большинство. Кроме того, тебе всегда сопутствует удача. Мне говорили, что в Риме практикуют сорок четыре иностранных врача, но если ты образумишься и серьезно возьмешься за дело, то побьешь их всех одной левой рукой. Если ты будешь работать усердно, а свой заработок отдавать на хранение мне, то я готов побиться об заклад, что менее чем через пять лет ты заработаешь достаточно, чтобы достроить Сан-Микеле и счастливо жить там в обществе твоих собак и обезьян.

Когда мой друг уехал, я провел страшную ночь, расхаживая по своей комнатке, как зверь в клетке. Я даже не решился подняться к часовне, чтобы, как обычно, пожелать спокойной ночи сфинксу моей мечты. Я побоялся, что искуситель в красном плаще вновь явится мне в сумерках. На рассвете я сбежал вниз к маяку и бросился в море. Когда я подплывал обратно к берегу, мои мысли были спокойными и холодными, как вода в заливе.

Две недели спустя я уже открыл свою приемную в доме Китса в Риме.[96]

Глава XXII. Площадь Испании

Моей первой, пациенткой была госпожа Н., жена известного в Риме английского банкира. Она почти три года пролежала неподвижно на синие после того как упала с лошади во время лисьей травли в Кампанье. Ее лечили по очереди все иностранные врачи, а за месяц перед этим она даже обращалась за советом к Шарко, который рекомендовал ей меня, – хотя я даже не подозревал, что ему стало известно мое намерение обосноваться в Риме. Как только я осмотрел ее, мне стало ясно, что пророчество шведского посланника сбудется. Я понял, что Фортуна вновь стоит рядом со мной – невидимая ни для кого, кроме меня. Лучшего начала для моей практики в Риме трудно было придумать, тем более что эта дама была любимицей иностранной колонии. Я понял, что ее паралич был результатом потрясения, а не неизлечимого повреждения позвоночника, и я знал, что надежда на выздоровление и массаж поставят ее на ноги через два месяца. Я сказал ей то, чего до тех пор никто не решался ей сказать, и я сдержал слово. Ей стало лучше еще до того, как я начал применять массаж. Менее чем через три месяца римский свет с изумлением увидел, как она выходит из своей коляски у Виллы Боргезе и, опираясь на палочку, начинает прогуливаться под деревьями. Многим это казалось чудом, хотя на самом деле подобные случаи просты и легки, при условии, конечно, что больной будет верить в лечение, а врач сумеет терпеливо поддерживать в нем эту веру. Теперь передо мной распахнулись двери всех домов многочисленной английской колонии в Риме, да и итальянских тоже. Через год я стал врачом английского посольства, и пациентов у меня было больше, чем у одиннадцати английских врачей, вместе взятых, – можете сами вообразить, какие чувства они ко мне питали. Мой старый друг, художник из Ecole des Beaux Arts,[97] живший в то время в Риме, ввел меня во французскую колонию. Мой старинный приятель граф Джузеппе Примоли пел мне дифирамбы в римском обществе, а отголоски моих успехов на авеню Вилье доделали остальное, и моя приемная наполнилась пациентами. Профессор Уэр-Митчелл, крупнейший американский невропатолог, с которым я уже имел связь в мои парижские дни, продолжал посылать ко мне избыток своих переутомленных миллионеров и их слабонервных жен. Их пылкие дочки, вложившие капитал своего тщеславия в первого подвернувшегося им римского князя, также начали приглашать меня в свои мрачные палаццо, чтобы советоваться со мной о разных недугах, которые все были лишь симптомами разочарования. Остальные американцы как овцы следовали их примеру. Вскоре двенадцать американских врачей постигла участь их английских коллег. Сотни натурщиц, располагавшихся в живописных горских костюмах на ступенях лестницы Тринита-ден-Монти под моими окнами, также принадлежали к числу моих пациентов; когда я проезжал по площади Испании, продавщицы цветов бросали в мою коляску букетики фиалок – знак благодарности за лекарство от кашля для их бесчисленных ребятишек. Моя амбулатория в Трастеверо сделала мое имя известным во всех бедных кварталах Рима.

С раннего утра до позднего вечера я был на ногах и спал как убитый с вечера до утра, если только меня не вызывали к больному ночью, что случалось довольно часто, но меня это не расстраивало – тогда я не знал, что такое усталость. Для экономии времени, а также потому, что я люблю лошадей, я вскоре стал разъезжать по Риму в элегантной коляске с красными колесами,

---

[96] **В.Э.:** Аксель Мунте начал врачебную практику в Риме в 1990 году в возрасте 32 лет.

[97] Школа изящных искусств (франц.).

запряженной парой великолепных венгерских лошадей, а мой лапландский пес Таппио восседал рядом со мной. Теперь я понимаю, что это было излишне броско и могло показаться дурного вкуса рекламой, хотя в ту пору я уже в ней не нуждался. Но как бы то ни было, моим сорока четырем коллегам эта модная коляска доставляла немало неприятных минут. Кое-кто из них всё еще ездил в колымагах времен Пия IX,[98] таких мрачных, что казалось, будто почтенный доктор имеет обыкновение одалживать свой экипаж под катафалк для скончавшегося пациента. Другие ходили пешком в длинных сюртуках и высоких надвинутых на лоб цилиндрах, словно размышляя, кого бы еще набальзамировать. Они все бросали на меня яростные взгляды, когда я проезжал мимо, – они знали меня в лицо. Но вскоре им волей или неволей пришлось познакомиться со мной лично, так как меня начали приглашать на консилиум к их умирающим пациентам. Я старался, как мог, соблюдать профессиональный этикет, уверяя больных, что им поистине посчастливилось попасть в столь хорошие руки, – но это не всегда бывало легко. Мы представляли собой печальное сборище потерпевших кораблекрушение из самых разных стран – нас прибило к берегу в Риме, и там мы искали применения своим скудным знаниям. Раз уж мы где-то должны были жить, то Рим подходил для этой цели не хуже любого другого места – при условии, конечно, что мы не станем мешать жить нашим пациентам. Вскоре уже ни один иностранец не мог умереть в Риме без того, чтобы при этом не присутствовал я. Для умирающих иностранцев я стал тем, чем для умирающих римлян был прославленный профессор Бачелли – последней и, увы, так редко сбывающейся надеждой! Еще одни человек неизменно появлялся у ложа смерти – синьор Корначча, гробовщик иностранной колонии и директор протестантского кладбища у ворот Сан-Паоло. Казалось, за ним никогда не посылали, но он всегда являлся в нужную минуту – его большой крючковатый нос, похожий на клюв коршуна, словно чуял смерть издалека. В корректнейшем сюртуке и цилиндре, точно любой из моих коллег, он дожидался в передней своего часа. Ко мне он, по-видимому, проникся особым расположением, и при встрече на улице всегда приветствовал меня весьма почтительно, приподнимая цилиндр. Он неизменно выражал искреннее сожаление, когда я весною первым покидал Рим, а осенью встречал меня с распростертыми объятиями и дружеским Ben tornato, Signor Dottore.[99] Правда, между нами произошло небольшое недоразумение, когда на рождество он прислал мне двенадцать бутылок вина в надежде на плодотворное сотрудничество в будущем сезоне. Он был очень обижен, когда я отказался принять его подарок, и сказал, что никто из моих коллег никогда еще не отклонял этого маленького знака его приязни. Подобное же недоразумение охладило на некоторое время сердечные отношения между мной и двумя иностранными аптекарями.

Я был очень удивлен, когда в одни прекрасный день меня посетил старый доктор Пилкингтон, имевший особые причины меня ненавидеть. Он сказал, что он и его коллеги тщетно ждали, чтобы я, согласно неписаному этикету, первый нанес им визит. Но раз гора не пошла к Магомету, то Магомет пришел к горе. С Магометом у него не было никакого сходства, если не считать пышной белой бороды, – он больше смахивал на лжепророка, чем на настоящего. Он объяснил, что явился ко мне как старейший иностранный врач в Риме, чтобы предложить мне стать членом недавно основанного ими Общества взаимной поддержки, которое должно положить конец их давней войне между собой.

В Общество вступили все его коллеги, кроме старого негодяя доктора Кэмпбелла, с которым никто из них не разговаривает. Щекотливый вопрос о гонорарах разрешен ко всеобщему удовлетворению: установлен минимум в двадцать франков, а максимум каждый может устанавливать для себя сам в зависимости от обстоятельств. Ни одно бальзамирование – будь то мужчина, женщина или ребенок – не должно производиться дешевле, чем за пять тысяч франков. Ему неприятно это мне говорить, но в Общество уже поступали жалобы, что я представляю счета очень неаккуратно, а иногда вовсе их не представляю. Не далее как вчера синьор Корначча, гробовщик, со слезами на глазах сообщил ему, что я набальзамировал жену шведского священника всего за сто лир! Весьма плачевный пример пренебрежения к интересам моих коллег. Он был убежден, что я пойму, какие выгоды принесет мне вступление в Общество взаимной поддержки, и выразил надежду, что завтра же сможет приветствовать меня на собрании Общества.

---

[98] **В.Э.:** Папа римский с 1846.06.16 по 1878.02.07 – последний папа, имевший светскую власть в Папской области. При нем произошло объединение Италии и ограничение папства Ватиканом.

[99] С благополучным возвращением, господин доктор (итал.).

Я ответил, что, к сожалению, не вижу, какие выгоды мое вступление и их Общество может принести как мне, так и им, а к тому же я готов обсудить с ними установление максимального гонорара, но не минимального. Вливание же сулемы, которое они называют бальзамированием, обходится в пятьдесят пять франков. Если прибавить к этому пятьдесят франков за потраченное время, то сто франков, которые я взял за бальзамирование жены священника, вполне справедливая цена. Я собираюсь зарабатывать на живых, а не на мертвых. Я врач, а не гиена. При слове «гиена» он поднялся со стула и попросил меня не трудиться когда-либо приглашать его на консилиум – у него не будет времени. Я сказал, что это весьма грустная новость для меня и моих пациентов, но мы как-нибудь постараемся обойтись без него.

Я сожалел о своей резкости и сказал ему об этом при нашей следующей встрече – на этот раз в его собственном доме на виа Куатро-Фонтане. С бедным доктором Пилкингтоном на следующий же день после нашего разговора случился легкий удар, и он послал за мной. Он сообщил мне, что Общество взаимной поддержки распалось, все они опять между собой перессорились, и он предпочтет лечиться у меня, а не у своих бывших товарищей, – так надежнее. К счастью, оснований для тревоги не было – наоборот, мне даже показалось, что теперь вид у него стал несколько бодрее. Я постарался его успокоить, сказал, что ничего опасного нет и что, вероятно, такие легкие удары случались у него и раньше. Вскоре он снова был на ногах, и всё еще продолжал свою деятельность, когда я уехал из Рима навсегда.

Затем я познакомился с его смертельным врагом – доктором Кэмпбеллом, которого он назвал старым негодяем. Если судить по первому впечатлению, диагноз на сей раз он поставил правильный. У этого старика был на редкость свирепый вид – налитые кровью страшные глаза, злобный рот, багровое лицо пьяницы, к тому же обросшее волосами, как у обезьяны, и длинная нечесаная борода. Говорили, что ему за восемьдесят, и старый, давно удалившийся от дел английский аптекарь рассказывал мне, что тридцать лет назад, когда Кэмпбелл только что приехал в Рим, он выглядел точно так же. Никто не знал, откуда он взялся, но ходили слухи, будто он был хирургом в армии южан во время американской гражданской войны. Действительно, его специальностью были операции, однако хотя другого хирурга среди иностранных врачей в Риме не было, все они были с ним на ножах. Однажды я застал его возле моей коляски – он гладил Таппио.

– Завидую, что у вас такая собака, – буркнул он грубо. – А обезьян вы любите?

Я ответил, что очень люблю обезьян.

Тут он объявил, что я – именно тот, кто ему нужен, и попросил меня немедленно отправиться к нему и осмотреть обезьяну, которая опрокинула кипящий чайник и опасно обварилась. Мы поднялись в его квартиру на верхнем этаже углового дома на пьяцца Миньянелли. Он попросил меня подождать в гостиной и вскоре появился с обезьяной на руках – громадным павианом, забинтованным с головы до ног.

– Боюсь, его дела совсем плохи! – сказал старый доктор уже другим голосом, нежно поглаживая исхудалое лицо животного. – Не знаю, что я буду делать, если он умрет, – это мой единственный друг. Когда он был совсем маленьким, я выкормил его соской, потому что его мамочка умерла от родов. Она была ростом с гориллу и настоящая душка, разумнее многих людей. Я спокойно режу своих ближних, мне это даже нравится, но у меня не хватает духа перевязывать его бедное, обожженное тельце – он так страдает, когда я пытаюсь обеззаразить его раны, что у меня нет больше сил его мучить. Я вижу, что вы любите животных, может быть, вы возьметесь его лечить?

Мы сняли повязки, пропитанные кровью и гноем, и у меня сжалось сердце – всё тело обезьяны было одной воспаленной раной.

– Он знает, что вы ему друг, не то он не сидел бы так тихо – ведь он никому, кроме меня, не позволяет к себе притрагиваться. Он всё понимает, у него побольше ума, чем у всех иностранных врачей в Риме, вместе взятых. Он четыре дня ничего не ел, – продолжал старик, и его налитые кровью глаза засветились нежностью. – Билли, сыночек, сделай папочке удовольствие, съешь эту винную ягоду!

Я пожалел, что у нас нет бананов – любимого лакомства всех обезьян.

Он сказал, что тотчас же телеграфирует в Лондон, чтобы ему выслали гроздь бананов. Не важно, во сколько это обойдется.

Я заметил, что необходимо как-то поддержать силы Билли. Мы влили ему в рот немного теплого молока, которое он сразу выплюнул.

– Он не может глотать! – простонал его хозяин. – Я знаю, что это значит – он умирает!

Мы смастерили нечто вроде зонда и, к радости старого доктора, на этот раз молоко не было выплюнуто.

Билли понемногу поправлялся. Я навещал его ежедневно в течение двух недель, и в конце концов очень привязался и к нему, и к его хозяину. Скоро настал день, когда я нашел своего пациента на залитом солнцем балконе – он сидел в специально для него изготовленном кресле-качалке рядом с доктором, а на столе между ними стояла бутылка с виски. Старик утверждал, что перед операцией обязательно следует глотнуть виски – это придает твердость руке. Судя по числу пустых бутылок из-под виски, валявшихся в углу балкона, его хирургическая практика была весьма значительной. Увы! оба они были любителями спиртного. Я часто видел, как Билли угощается виски с содовой из стакана своего хозяина. Доктор сообщил мне, что виски – самое лучшее лекарство для обезьян, и именно оно спасло матушку Билли, когда та заболела воспалением легких. Однажды, когда я вечером зашел к ним, оба были вдребезги пьяны. Билли отплясывал на столе вокруг бутылки негритянский танец, а доктор, развалившись в кресле, хлопал в такт и хрипло распевал:

– Билли, мой сын, мой сыно-о-о-о-очек!

Они меня не заметили. Я растерянно смотрел на эту семейную идиллию. Лицо пьяной обезьяны стало совсем человеческим, а лицо старого пьяницы походило на лицо огромной гориллы. Сходство было несомненным.

– Бплли! Мой сын, мой сыно-о-о-очек!

Неужели? Нет, конечно, это было невозможно! И всё же при одной этой мысли у меня мурашки забегали по спине.

Месяца через два я, выйдя от пациента, увидел, что около моего экипажа стоит старик доктор и разговаривает с Таппио. Нет, слава богу, Билли здоров, но заболела его жена, так, может быть, я не откажусь ее навестить?

Мы снова взобрались по крутой лестнице в его квартиру – я впервые узнал, что в ней живет еще кто-то, кроме Билли и самого старика. На кровати лежала девушка, почти еще ребенок, ее глаза были закрыты, и она, по-видимому, была без сознания.

– Мне показалось, вы сказали, что больна ваша жена, но ведь это ваша дочь?

Нет, это была его четвертая жена. Первая покончила жизнь самоубийством, вторая и третья умерли от воспаления легких, и он не сомневался, что и этой грозит то же самое.

Я сразу увидел, что он прав. У нее было двустороннее воспаление легких, однако он не заметил огромного выпота в левую плевральную полость. Я сделал ей инъекцию камфары и эфира, воспользовавшись его грязным шприцем, а потом мы принялись энергично растирать больную, но безрезультатно.

– Попробуйте заставить ее очнуться, поговорите с ней, – сказал я ему.

Он наклонился к ее бледному личику и закричал ей в ухо:

– Салли, милая, возьми себя в руки и выздоравливай, не то я снова женюсь.

Она глубоко вздохнула, вздрогнула и открыла глаза.

На следующий день мы выпустили жидкость, а молодость доделала остальное – больная поправилась, но медленно и как бы против воли. К сожалению, мои подозрения, что в легких у нее неладно, скоро подтвердились. У нее оказался тяжелый туберкулез. В течение нескольких недель я посещал ее каждый день и проникся к ней глубокой жалостью. Было ясно, что старик внушает ей смертельный страх – и не удивительно, так как он был с ней безобразно груб, хотя, может быть, и не сознавал этого. Он рассказал мне, что она родом из Флориды, и когда наступила осень, я посоветовал ему отвезти ее домой как можно скорее, так как еще одной римской зимы она не выдержит. Он как будто соглашался, но вскоре я узнал, что его смущает необходимость расстаться с Билли. В конце концов я предложил на время его отсутствия поселить Билли у себя, в маленьком дворике под лестницей Трипита-деи-Монти, где уже жили мои четвероногие друзья. Доктор должен был вернуться через три месяца. Но больше в Риме его не видели, и я не знаю, что с ним сталось. До меня доходили слухи, что его застрелили во время драки в кабаке, но я не знаю, правда ли это.

Я часто размышлял над тем, кем был этот человек, да и был ли он вообще врачом. Однажды я присутствовал при том как он с поразительной быстротой ампутировал руку – он несомненно, имел представление об анатомии, но не имел никакого понятия о том, как следует обрабатывать раны, а его инструменты были невероятно примитивны. Английский аптекарь

рассказывал мне, что он всегда выписывал одни и те же рецепты, часто делая грамматические ошибки и неправильно указывая дозировку. Я пришел к выводу, что он был не врачом, а мясником или, может быть, санитаром в военном лазарете, по какой-то серьезной причине должен был покинуть страну. Билли оставался у меня на площади Испания до весны, а потом я отвез его в Сан-Микеле, где он навлекал на меня всевозможные неприятности до самого конца своей веселой жизни. Я вылечил его от алкоголизма и во многих отношениях он стал вполне приличной обезьяной. Но вы еще о нем немало услышите.

Глава XXIII. Еще врачи

Однажды ко мне на прием явилась дама в глубоком трауре с рекомендательным письмом от английского священника в Риме. Она была в зрелом возрасте, весьма корпулентна и одета в широкие, свободные одежды странного покроя. С большой осторожностью она села на диван и сказала, что никого не знает в Риме. После кончины преподобного Джонатана, ее незабвенного супруга, она осталась одинокой и беззащитной. Преподобный Джонатан был для нее всем: супругом, отцом, возлюбленным, другом...

Я с жалостью посмотрел на ее скучное, круглое лицо с глупыми глазами и выразил свое сочувствие.

– Преподобный Джонатан...

Я сказал, что, к несчастью, у меня мало времени, в приемной ждут пациенты – чем я могу быть ей полезен? Она сказала, что пришла поручить себя моим заботам – она ждет ребенка. Она знает, что преподобный Джонатан оберегает ее с небес, но всё же она очень страшится – ведь это ее первое дитя. Она много обо мне слышала, а теперь, увидев меня, не сомневается, что может на меня положиться, как на самого преподобного Джонатана. Ей всегда очень нравились шведы, и она даже была помолвлена со шведским пастором – любовь с первого взгляда. Но, увы, недолговечная. Она добавила, что удивлена моим моложавым видом, хотя я того же возраста, что и шведский священник, и мы с ним даже похожи. У нее странное чувство, будто мы с ней уже встречались и понимаем друг друга без слов. Во время этой речи она смотрела на меня с блеском в глазах, который, наверное, смутил его преподобие, если он в эту минуту взирал на нее с небес.

Я поспешил сказать, что я не акушер, но она может положиться на любого из моих коллег, которые, насколько мне известно, все имеют значительный опыт в этой области нашей профессии. Назову, например, почтенного доктора Пилкингтона.

Нет, она не хотела никого другого, кроме меня. Неужели я буду настолько бессердечен, что покину ее, одинокую и беззащитную, среди чужих людей, и не сжалюсь над бедным сироткой, лишившимся отца. А кроме того, нельзя терять времени, дитя может появиться на свет с минуты на минуту. Я вскочил и сказал, что прикажу немедленно послать за извозчиком, который отвезет ее в гостиницу «Россия»[100], где она остановилась.

Чего не отдал бы преподобный Джонатан за счастье увидеть ребенка, мать которого он так горячо любил! Если бывает на свете брак по любви, то таким был их брак – слияние двух пламенных сердец, двух гармонических душ! Она разразилась рыданиями, которые перешли в судороги, и всё ее тело угрожающе сотрясалось. Внезапно она побледнела, замерла и прижала руки к животу, словно оберегая его. Мой страх превратился в панический ужас. Джованнина и Розина гуляли с собаками, Анна тоже куда-то ушла, и в доме не осталось ни одной женщины, а приемная была полна народа. Я вскочил со стула и внимательно посмотрел на супругу покойного Джонатана. Внезапно ее лицо показалось мне удивительно знакомым – недаром я провел пятнадцать лет среди истеричек всех стран и всех возрастов! Я строго приказал ей вытереть слезы, взять себя в руки и слушать меня, не перебивая. Я задал ей несколько профессиональных вопросов, и ее уклончивые ответы пробудили во мне интерес к преподобному Джонатану и его прискорбной кончине. Поистине прискорбной, ибо ее незабвенный супруг покинул нашу юдоль в предшествовавшем году в довольно неудобное с медицинской точки зрения время. В конце концов я со всей возможной мягкостью сказал ей, что ребенка у нее не будет. Побагровев, от ярости, она вскочила с дивана и выбежала из комнаты, во весь голос обвиняя меня в том, что я оскорбил память преподобного Джонатана.

---

[100] **МОИ:** Hôtel de Russie.

Дня через два я встретил на улице английского священника и, поблагодарив его за то, что он рекомендовал мне миссис Джонатан, выразил сожаление, что я не смог взять на себя ее лечение. Меня поразила сухость, с какой он держался со мной. Я спросил, в Риме ли еще миссис Джонатан. Ответив, что ее лечит доктор Джонс и ребенка ожидают с минуты на минуту, он резко повернулся и ушел.

Через сутки о случившемся уже знали все иностранные врачи, смаковавшие эту историю, все их пациенты, оба английских аптекаря, английский булочник на виа Бабуино, агентство Кука и все обитатели пансионов на виа Систина, а во всех английских кафе ни о чем другом не говорили. Вскоре всем членам английской колонии в Риме стало известно, какую грубую ошибку я допустил и как я оскорбил память преподобного Джонатана. Все знали, что доктор Джонс дежурит в гостинице «Россия» и что около полуночи посылали за акушеркой. На следующий день английская колония в Риме распалась на два враждебных лагеря. Будет ребенок или ребенка не будет? Все английские врачи, их пациенты, священники и их благочестивые прихожане, а также английский аптекарь на виа Кондотти были убеждены, что ребенок будет. Все мои пациенты, конкурент-аптекарь на пьяцца Миньянелли, все продавщицы цветов на площади Испании, все натурщицы на ступенях лестницы Тринитаден-Монти под моими окнами и антиквары решительно утверждали, что никакого ребенка не будет. Английский булочник колебался. Мой друг, английский консул, против воли вынужден был из патриотических соображений примкнуть к моим противникам. Положение синьора Корначча, гробовщика, было особенно щекотливым и требовало осторожности. На одну чашу весов была брошена его непоколебимая вера в плодотворность моего с ним сотрудничества, а на другую – бесспорный факт, заключавшийся в том, что моя ошибка сулила ему, как гробовщику, гораздо больше выгод, чем моя правота. Вскоре разнесся слух, что на консилиум в «Россию» был призван старик Пилкингтон и, по его мнению, следует ожидать не одного младенца, а двух. После этого синьор Корначча пришел к выводу, что наиболее правильным будет ждать дальнейшего развития событий, соблюдая строгий нейтралитет. Когда же стало известно, что английского священника просили в любое время дня и ночи быть готовым к совершению обряда крещения in articulo mortis,[101] так как роды предстоят тяжелые, синьор Корначча открыто перешел во вражеский лагерь, покинув меня на произвол судьбы. С его профессиональной точки зрения, младенец ничуть не уступал взрослому. А вдруг младенцев окажется двое? А вдруг, кроме того, и...

Уже когда в «Россию» явилась кормилица в живописном костюме обитательницы Сабинских гор, мои союзники дрогнули и утратили стойкость духа. Когда же в вестибюле гостиницы появилась выписанная из Англии детская коляска, мое положение стало критическим. Все иностранные дамы, проходя через вестибюль, бросали на коляску сентиментальные взгляды, все официанты предлагали пари два против одного на близнецов, а о том, что младенца вообще не будет, никто даже уже и не заикался. На приеме в английском посольстве несколько человек повернулось ко мне спиной, а вокруг помирившихся Доктора Пилкингтона и доктора Джонса толпились любопытные, ожидая последних новостей из гостиницы «Россия». Шведский посланник отвел меня в сторону и сердито объяснил, что не желает больше меня знать – мои чудачества, мягко выражаясь, превысили меру его терпения. На прошлой неделе он узнал, что я назвал почтенного английского врача «гиеной». Вчера супруга английского священника рассказывала его жене, как непростительно я оскорбил память шотландского священнослужителя. Если я намерен и впредь вести себя так же, то будет лучше, если я отправлюсь в Анакапри, прежде чем меня начнет сторониться вся иностранная колония в Риме.

Прошла еще неделя напряженного ожидания, и появились признаки реакции. Пари официанты держали теперь один к одному, и кое-кто уже робко предлагал ставку в пять лир на то, что ребенка вообще не будет. Когда же стало известно, что врачи опять поссорились и доктор Пилкингтон ретировался вместе со своим вторым ребенком, близнецы вообще перестали котироваться. Число дезертиров росло, хотя английский священник с супругой по-прежнему доблестно обороняли детскую коляску. Доктор Джонс и кормилица всё еще ночевали в гостинице, но синьор Корначча, вняв предостережению своего тонкого чутья, уже покинул тонущий корабль.

А затем наступил крах, вестником которого явился пожилой и весьма практичный на вид шотландец – в один прекрасный день он пришел в мою приемную и сел на тот самый диван, на котором как-то раз сидела его сестра; он объяснил, что имеет несчастье быть братом миссис

[101] На смертном одре (лат.).

Джонатан. По его словам, он приехал накануне вечером прямо из Данди. И, по-видимому, не терял времени понапрасну: он заплатил доктору Пилкингтону – втрое меньше, чем значилось в предъявленном счете, выгнал доктора Джонса, а теперь пришел ко мне, чтобы узнать адрес какого-нибудь дешевого приюта для умалишенных. Доктора Джонса, по его мнению, следовало бы посадить в тюрьму за мошенничество.

Я сказал, что, к несчастью для него, болезнь его сестры не дает оснований отправить ее в сумасшедший дом. Он спросил, какие еще основания для этого нужны. Преподобный Джонатан умер больше года назад от дряхлости и размягчения мозга, а сойти со стези добродетели старая дура, конечно, никак не могла! Она уже стала посмешищем всего Данди по той же причине, по какой сейчас над ней смеется весь Рим. Он заявил, что его терпение лопнуло и он не желает больше иметь с ней дела. Я ответил, что вполне разделяю его желание – проведя пятнадцать лет среди истеричек, я хотел отдохнуть от них. Единственный выход – увезти ее назад в Данди.

Лечивший же ее врач, без сомнения, добросовестно заблуждался. Насколько мне известно, прежде он был военным врачом, служил в Индии и не слишком разбирается в истерии – вряд ли так называемая «ложная беременность» часто встречается у английских солдат, хотя у истерических женщин это отнюдь не редкость.

А знаю ли я, что у нее хватило наглости заказать детскую коляску от его имени, продолжал мой посетитель, так что ему пришлось заплатить пять фунтов, хотя в Данди всего за два фунта можно было бы купить прекрасную, хотя и подержанную коляску? Не помогу ли я ему подыскать покупателя для коляски? Наживаться он не собирается, но хотел бы вернуть свои деньги.

Я ответил, что его сестра, если он оставит ее в Риме, вполне способна заказать и вторую коляску. Этот довод, по-видимому, произвел на него сильное впечатление. Я одолжил ему мой экипаж, чтобы он мог отвезти сестру на вокзал. Больше я никогда не видел ни миссис Джонатан, ни ее брата.

* * *

Пророчество шведского посланника, казалось, сбылось, и я без труда взял верх над остальными врачами, практиковавшими в Риме среди иностранцев. Но вскоре у меня появился гораздо более серьезный соперник. Мне говорили – и я склонен этому верить, – что он оставил выгодную практику в ... и переселился в Рим, так как услышал о моем быстром успехе. Среди своих соотечественников он слыл талантливым врачом и очаровательным человеком. Вскоре он стал видной фигурой в римском обществе, от которого я всё более и более отдалялся после того, как узнал о нем всё, что хотел узнать. Он разъезжал в такой же элегантной коляске, как и я, принимал гостей в прекрасной квартире на Корсо, и его восхождение было столь же быстрым, как и мое. Он явился ко мне с визитом, мы согласились, что Рим достаточно велик для нас обоих, и когда мы встречались, он всегда держался со мной с изысканной вежливостью. По-видимому, его практика была очень велика – главным образом среди богатых американцев, которые, как мне говорили, приезжали в Рим, чтобы лечиться у него. У него был свой штат сиделок и частная лечебница около Порта-Пиа. Сначала я считал его дамским врачом, но позднее узнал, что он специалист по болезням сердца. По-видимому, он обладал бесценным даром внушать доверие своим пациентам, так как его имя неизменно произносилось с похвалой и благодарностью. Это меня не удивляло – ведь по сравнению со всеми нами он действительно казался замечательной личностью: прекрасный лоб, удивительно проницательные, умные глаза, поразительное красноречие, обаятельные манеры. Всех своих коллег он игнорировал, но меня несколько раз приглашал на консилиум, главным образом к нервнобольным. Он был, по-видимому, хорошо осведомлен в теориях Шарко, а кроме того, посетил несколько немецких клиник. Диагноз и лечение почти никогда не вызывали у нас разногласий, и я скоро пришел к выводу, что он по меньшей мере ни в чем мне не уступает.

Однажды он прислал мне наскоро нацарапанную записку с просьбой тотчас же приехать в отель «Констанци». Он показался мне необычно возбужденным. В нескольких словах он объяснил, что лечит этого больного несколько недель, и вначале казалось, что всё идет хорошо. Однако за последние дни наступило ухудшение, сердечная деятельность неудовлетворительна – и он хотел бы услышать мое мнение. Только я должен быть осторожен и не встревожить больного или его близких. Каково же было мое удивление, когда в больном я узнал человека, которого я уже много лет любил и перед которым преклонялся, как и все, которые с ним когда-либо встречались: автора «Человеческой личности и ее посмертного существования». Его дыхание было поверхностным и затрудненным, осунувшееся лицо отливало синевой, и прежни-

ми остались только чудесные глаза. Он протянул мне руку и сказал, что рад меня видеть – он очень ждал нашей новой встречи. Он напомнил мне, как в последний раз мы обедали с ним в Лондоне и до глубокой ночи беседовали о смерти и о том, что ждет нас за ней. Прежде чем я успел ответить, мой коллега сказал, что больному не следует разговаривать, и передал мне стетоскоп. Нужды в подробном осмотре не было – я всё понял с первой же минуты. Отведя моего коллегу в сторону, я спросил, предупредил ли он близких больного. К моему большому удивлению, оказалось, что он, по-видимому, не понимал положения – он говорил, что намерен повторить инъекции стрихнина, но через более короткие промежутки, а утром попробует применить свою сыворотку, и даже хотел послать в «Гранд-отель» за бутылкой бургундского какого-то особого года. Я заявил, что я против стимулирующих средств, которые только усилят способность ощущать боль, приглушенную благодетельной природой. Мы ничего уже не можем сделать и должны стараться лишь избавить его от новых страданий.

Пока мы разговаривали, в комнату вошел профессор Уильям Джеймс, знаменитый философ и близкий друг больного. Я и ему сказал, что надо немедленно объяснить родным умирающего, как обстоит дело, – речь идет о часах. Но все они, по-видимому, верили больше моему коллеге, и я настоял, чтобы на консилиум был приглашен еще один врач. Через два часа появился профессор Бачелли, виднейшее медицинское светило Рима. Осматривал больного он даже более поверхностно, чем я, а заключение его было еще более кратким.

– Он умрет сегодня, – объявил профессор своим глубоким басом.

Уильям Джеймс рассказал мне, что он и его друг торжественно поклялись, что тот из них, кто умрет раньше, подаст весть другому в миг перехода в неведомое. Оба свято верили в возможность этого. Джеймс был в таком горе, что не мог войти в комнату умирающего, но, опустившись на стул перед открытой дверью, раскрыл записную книжку, взял перо и приготовился с обычным своим педантизмом записать последний завет умирающего. К вечеру появилось чейн-стоковское дыхание – жутчайший симптом надвигающейся смерти. Умирающий сделал знак, что хочет поговорить со мной. Его глаза были безмятежны.

– Я знаю, что мой конец близок, – сказал он, – и знаю, что вы мне поможете. Так – сегодня или завтра?

– Сегодня.

– Я рад. Я готов и совсем не боюсь. Теперь я узнаю всё. Скажите Уильяму Джеймсу, скажите ему...

Его грудь вдруг перестала вздыматься – наступила страшная минута прощания с жизнью.

– Слышите ли вы меня? – спросил я, наклоняясь над умирающим. – Вам больно?

– Нет, – прошептал он. – Я очень устал и очень счастлив.

Когда я уходил, Уильям Джеймс всё еще сидел, откинувшись на спинку стула и закрыв лицо руками, а на его коленях по-прежнему лежала раскрытая записная книжка. Страница оставалась чистой.

В течение этой зимы я часто видел моего коллегу, а также и его пациентов. Он постоянно рассказывал о поразительном действии своей сыворотки и еще об одном новом средстве от грудной жабы, которое он последнее время применял в своей клинике с удивительным успехом. Когда я сказал, что давно уже интересуюсь грудной жабой, он обещал повести меня в свою клинику и показать мне несколько больных, излеченных его методом.

К моему большому удивлению, я увидел там одну из моих прежних пациенток, богатую американку, которая была несомненной истеричкой и упорно воображала себя неизлечимо больной.

Как всегда, вид у нее был цветущий. Она лежала в постели уже месяц, день и ночь в ее палате поочередно дежурили сиделки, ей измеряли температуру каждые четыре часа, несколько раз в день делали инъекции неизвестного средства, держали на особой диете, по вечерам давали снотворное – словом, всё было так, как она давно мечтала. К счастью, она была здорова как лошадь и могла выдержать любое лечение. Она сообщила мне, что мой коллега спас ей жизнь. Вскоре я понял, что у большинства пациентов в этой клинике, содержавшихся на весьма строгом режиме, была только одна и притом общая болезнь: праздность, избыток денег и потребность быть больным и лечиться у докторов. То, что я там увидел, показалось мне столь же интересным, как грудная жаба. Каким образом это достигалось? В чем заключался его метод? Насколько я понял, этот метод сводился к тому, чтобы сразу уложить этих женщин в постель, ошеломив их страшным диагнозом, а потом давать им постепенно выздоравливать, освобождая их смятенное сознание от страшного внушения. Само собой разумеется, мой коллега был наиболее опасным

врачом, какого мне довелось встретить. И всё же я не решался назвать его просто шарлатаном. Не потому, конечно, что я считал его талантливым врачом, талант и шарлатанство нередко идут рука об руку, отчего шарлатан и бывает особенно опасен. Однако шарлатан действует в одиночку, как карманный вор, а этот человек пригласил меня в свою клинику и с большой гордостью демонстрировал мне именно те случаи, которые бросали на него тень. Несомненно, он был шарлатаном, но совсем особого рода, и его стоило изучить повнимательнее. Чем чаще я его видел, тем яснее замечал болезненную быстроту, с которой работал его мыслительный аппарат, его беспокойный взгляд, чрезмерную торопливость его речи. Но только увидев, как он применяет дигиталис – самое мощное и в то же время самое опасное наше оружие в борьбе с болезнями сердца, – я впервые ощутил настоящую тревогу. Как-то вечером я получил записку от дочери одного из его пациентов с просьбой немедленно приехать – на этом настаивает сиделка.

Последняя отвела меня в сторону и объяснила, почему просила послать за мной: происходит что-то странное, и она очень встревожена. Для этого у нее были все основания. Сердце больного слишком долго подвергалось воздействию дигиталиса, который в любую минуту мог теперь сыграть роковую роль. Мой коллега как раз собирался сделать больному еще одну инъекцию, но я вырвал шприц из его рук и прочел в его диком взгляде страшную правду. Он не был шарлатаном – он был сумасшедшим.

Что я мог сделать? Обвинить его в шарлатанстве? Доказать, что он шарлатан? Этим я только увеличил бы число его пациентов и, может быть, жертв. Обвинить его в том, что он сумасшедший? Это означало бы гибель всей его карьеры. И какие я мог привести доказательства? Мертвые не могут говорить, а живые не станут. Его пациенты, его сиделки, его друзья – все сплотились бы против меня, так как именно мне конец его карьеры был наиболее выгоден. Ничего не предпринимать? Оставить его в покое, позволить сумасшедшему решать вопрос о жизни и смерти?

После долгих колебаний я решил поговорить с его посланником, с которым, я знал, он был в дружеских отношениях. Посланник мне не поверил. Он много лет знает моего коллегу как талантливого, надежного врача, который прекрасно лечил и его самого и его семью. Правда, он считает его несколько раздражительным и чудаковатым, но в ясности его рассудка ничуть не сомневается. Вдруг посланник разразился своим обычным громким смехом. Он извинился передо мной – это слишком смешно, а я, конечно, пойму всё правильно, ведь у меня есть чувство юмора, он это знает. Затем он рассказал мне, что в это же самое утро мой коллега заходил к нему, прося рекомендательное письмо к шведскому посланнику, с которым ему необходимо поговорить по очень серьезному делу, – он считает себя обязанным предупредить шведского посланника, что не раз замечал у меня некоторые признаки умственного расстройства. Я не преминул заметить посланнику, что это только подтверждает мои слова: именно так и поступил бы сумасшедший при подобных обстоятельствах – сумасшедшие очень хитры, о чем никогда не следует забывать. Вернувшись домой, я нашел записку от моего коллеги и едва сумел разобрать, что он приглашает меня позавтракать у него, – я и раньше замечал, насколько изменился его почерк. Когда я пришел, он стоял у себя в приемной перед зеркалом и разглядывал своими выпуклыми глазами небольшую припухлость на шее – это увеличение щитовидной железы уже обратило на себя мое внимание. Страшно учащенный пульс еще более облегчал диагноз. Я сказал ему, что у него базедова болезнь. Он ответил, что и сам пришел к такому же выводу, и попросил меня стать его врачом. Я указал, что он переутомлен, и посоветовал ему на время оставить практику, вернуться на родину и хорошенько отдохнуть. Мне удалось уложить его в постель до приезда его брата. Неделю спустя он покинул Рим, чтобы уже никогда туда не возвратиться. Насколько мне известно, он умер через год в сумасшедшем доме.

Глава XXIV. «Гранд-отель»

Когда доктор Пилкингтон представился мне старейшиной иностранных врачей в Риме, он присвоил себе звание, которое по праву принадлежало человеку, неизмеримо превосходившему всех нас. Мне хотелось бы написать его имя здесь так, как оно напечатлено в моей памяти, – золотыми буквами: старый доктор Эрхардт, один из лучших врачей и прекраснейший человек, с каким только мне доводилось встречаться. Его добрая слава, родившаяся еще в исчезнувшем Риме Пия IX, выдержала все бури более чем сорокалетней практики в Вечном городе. Ему было за семьдесят, но он полностью сохранил душевные и физические силы и в любое время суток

был готов прийти на помощь больному, не делая никаких различий между бедными и богатыми. Он был идеальным воплощением типа домашнего врача былых времен, ныне почти исчезнувшего – к большому ущербу для страдающего человечества. Он сразу внушал любовь и доверие. Я убежден, что за всю его долгую жизнь у него не было ни одного врага, кроме профессора Бачелли. Он был немцем, и если бы в 1914 году среди его соотечественников нашлось много людей, подобных ему, война никогда бы не началась.

Для меня навеки останется загадкой, почему столько больных, включая и его прежних пациентов, искали помощи в доме Китса у меня, хотя на той же площади жил такой человек, как старик Эрхардт. Он был единственным из моих коллег, к кому я обращался за советом, и обычно оказывалось, что он прав, а я ошибаюсь, но он никому об этом не рассказывал и неизменно защищал меня, когда представлялся случай – а таких случаев было более чем достаточно. Может быть, он плохо знал новейшие магические фокусы нашего ремесла и с опаской относился к чудодейственным патентованным средствам всех стран и школ, зато он мастерски владел сокровищницей испытанных старых лекарств, его проницательный взгляд обнаруживал болезнь, где бы она ни пряталась. И ничего не оставалось для него скрытым ни в сердце, ни в легких, стоило ему приложить свое старое ухо к стетоскопу. Ни одно важное современное открытие не ускользало от его внимания. Он живо интересовался бактериологией и сывороточной терапией – в то время новыми науками, а работы Пастера он знал, во всяком случае, не хуже, чем я. Он был первым врачом в Италии, применившим противодифтеритную сыворотку Беринга, которая тогда только проходила экспериментальную проверку и была неизвестна подавляющему большинству врачей, хотя теперь она спасает ежегодно сотни тысяч детских жизней.

Я вряд ли когда-нибудь забуду, как это произошло. Поздно вечером меня срочно вызвали в «Гранд-отель» к одному американцу, у которого было рекомендательное письмо профессора Уэр-Митчелла. В вестибюле меня встретил весьма рассерженный низенький господин, который гневно сообщил мне, что он с семьей только что прибыл из Парижа поездом люкс, а здесь вместо лучших апартаментов, которые он заказал, им предоставили две крохотные спальни без гостиной и даже без ванны, – телеграммы директора о том, что гостиница переполнена, он не получил. В довершение всего его маленький сын простудился, у него жар, и его мать всю ночь просидела рядом с ним в поезде, не смыкая глаз, – не буду ли я так любезен пойти посмотреть, что с ним.

Двое маленьких детей спали на одной кровати, щека к щеке, почти губы к губам. Мать поглядела на меня с тревогой и сказала, что мальчик не смог проглотить молока – наверное, у него болит горло. Малыш дышал с трудом, широко раскрыв рот, его лицо было синюшным. Я переложил спящую сестренку на кровать матери и сказал, что у мальчика дифтерит и я тотчас же вызову сиделку. Мать заявила, что будет ухаживать за ребенком сама. Всю ночь я выскребал из горла ребенка дифтеритные пленки, которые его душили. На рассвете я послал за доктором Эрхардтом, прося его помочь мне при трахеотомии – мальчик задыхался. Сердце уже настолько ослабело, что хлороформ давать было нельзя, и мы оба колебались, оперировать или нет, – мальчик мог умереть под ножом. Я послал за отцом, но, едва услышав слово «дифтерит», он кинулся вон из комнаты, и дальнейшие переговоры велись через приоткрытую дверь. Он и слышать не хотел об операции и потребовал созвать на консилиум всех знаменитых врачей Рима. Я сказал, что это излишне, да и всё равно времени уже нет: вопрос об операции должны решать мы с Эрхардтом. Я завернул девочку в одеяло и потребовал, чтобы он отнес ее к себе и комнату. Он сказал, что готов заплатить миллион долларов за спасение своего сына. Я ответил, что дело не в долларах, и захлопнул дверь перед его носом. Мать стояла у кровати и смотрела на нас с отчаянием. Я объяснил ей, что операция может стать необходимой в любую минуту и, так как вызвать сиделку удастся не ранее чем через час, ей придется помочь нам. Она молча кивнула и сморщила лицо, стараясь сдержать слезы, – это была мужественная и хорошая женщина. Я расстелил чистое полотенце на столе под лампой и начал готовить инструменты, но тут Эрхардт сказал мне, что как раз в это утро он получил через немецкое посольство новую антидифтеритную сыворотку Беринга, которую по его просьбе ему прислали из лаборатории в Марбурге. Я знал, что в нескольких немецких клиниках эта сыворотка уже применялась с большим успехом. Не испробовать ли ее и нам? Времени терять нельзя было – ребенок умирал, и мы оба знали, что надежды на выздоровление нет никакой. С согласия матери мы решили ввести сыворотку. Реакция была поразительной и почти моментальной. Тело ребенка почернело, температура подскочила до сорока одного градуса, но тут же начался сильный озноб, и она упала ниже нормальной. Началось носовое и кишечное кровотечение, сердце билось прерывисто, казалось, наступал коллапс. Весь день мы не отходили от больного, каждую минуту ожидая

конца. К нашему удивлению, к вечеру дыхание улучшилось, пульс стал ровнее, горло несколько очистилось. Я просил доктора Эрхардта пойти домой поспать часок-другой, но он ответил, что не чувствует никакой усталости – настолько интересно всё происходящее. Когда пришла вызванная нами сестра Филиппина из общины «Синих сестер», одна из лучших сиделок, каких только мне доводилось встречать, по переполненному отелю с быстротой молнии распространилась весть, что в номере верхнего этажа лежит больной дифтеритом. Директор прислал сказать, что ребенок должен быть немедленно отправлен в больницу. Я ответил, что ни Эрхардт, ни я не возьмем на себя такую ответственность: мальчик умрет по дороге. К тому же его просто некуда было везти – в те дни практически не существовало системы, которая предусматривала бы подобные случаи. Минуту спустя питтсбургский миллионер сообщил мне через щелку в двери, что он предложил директору освободить весь верхний этаж за его счет. Он готов купить хоть всю гостиницу, но не допустит, чтобы его сына куда-то увозили, раз это для него опасно. К вечеру стало ясно, что мать заразилась дифтеритом. На следующее утро весь верхний этаж опустел – сбежали даже коридорные и горничная. Только синьор Корначча, гробовщик, с цилиндром в руках медленно прохаживался взад и вперед по пустому коридору. Время от времени в дверную щель заглядывал обезумевший от страха отец. Матери становилось всё хуже, и мы перенесли ее в соседнюю комнату, где с ней остались Эрхардт и вторая сиделка, а я с сестрой Филиппиной ухаживал за мальчиком. Около полудня он умер – от паралича сердца. Мать была так плоха, что мы не осмелились сказать ей правду и решили подождать до утра. Когда я сказал отцу, что труп ребенка необходимо не позднее вечера отвезти в морг при протестантском кладбище, а похороны должны состояться до истечения суток, он пошатнулся и чуть не упал на руки синьора Корначча, который, почтительно кланяясь, стоял рядом с ним. Он заявил, что жена не простит ему, если он оставит ребенка на чужбине, – мальчик должен быть погребен в фамильном склепе в Питтсбурге. Я ответил, что это невозможно, так как закон запрещает перевозку трупов в подобных случаях. Минуту спустя питтсбургский миллионер просунул в щель чек на тысячу фунтов, которыми я мог распорядиться но своему усмотрению.

Он готов был подписать другой чек на любую сумму, лишь бы тело мальчика было отправлено в Америку. Я заперся в соседней комнате с синьором Корначча и спросил его, во сколько могут обойтись похороны по первому разряду и могила in perpetuo[102] на протестантском кладбище. В ответ он пожаловался на тяжелые времена – гробы подорожали, а число клиентов всё сокращается. Для него устроить хорошие похороны – дело чести, и десять тысяч лир покроют все расходы, но без чаевых. Следует, конечно, отблагодарить могильщика, у которого, как мне известно, восемь человек детей, ну и цветы в расчет не принимаются. Продолговатые, кошачьи зрачки синьора Корначча заметно расширились, когда я сказал, что уполномочен заплатить ему вдвое, если он сумеет отправить покойного мальчика в Неаполь, а оттуда с первым пароходом в Америку. Ответ он должен дать мне через два часа – я знаю, что это незаконно и он захочет посоветоваться со своей совестью. Я со своей совестью уже советовался: нынче ночью я сам набальзамирую труп и прикажу запаять свинцовый гроб в моем присутствии. Таким образом опасность инфекции будет предотвращена, и я подпишу свидетельство о смерти от септической пневмонии, вызвавшей паралич сердца, а слово «дифтерит» вообще опущу. Синьор Корначча советовался со своей совестью недолго и уже через час вернулся с согласием, поставив, однако, одно условие: половина суммы будет уплачена вперед и без расписки. Я вручил ему деньги.

Через час мы с Эрхардтом сделали матери трахеотомию, и операция спасла ей жизнь.

* * *

Стоит мне посетить «прелестное маленькое кладбище у ворот Сан-Паоло, и меня вновь начинают преследовать воспоминания об этой ночи.

Джованни могильщик, ожидал меня у ворот с тусклым фонарем. По его приветствию я понял, что он выпил лишний стаканчик, чтобы подкрепиться перед предстоящей работой. Но по понятным причинам я не мог искать себе другого помощника. Ночь была бурной, лил дождь. Внезапный порыв ветра погасил фонарь, и нам пришлось пробираться на ощупь в непроглядном мраке. На полпути я споткнулся о кучу земли и упал в могилу – Джованни объяснил, что выкопал ее днем по распоряжению синьора Корначча – хорошо еще, что она неглубока, хоронить-то в ней будут какого-то ребенка.

Бальзамирование оказалось трудным и даже опасным. Труп уже начал разлагаться, фонарь светил еле-еле, а я, к своему ужасу, порезал палец. За пирамидой Цестия непрерывно кричала

[102] Навечно (лат.).

большая сова, – я запомнил это потому, что впервые в жизни ее крик был мне неприятен, хотя я очень люблю сов.

Я вернулся в «Гранд-отель» рано утром. Мать провела ночь спокойно, температура у нее была нормальной, и Эрхардт считал, что она вне опасности. Скрывать от нее смерть сына дольше было нельзя. Ни Эрхардт, ни отец не хотели ей об этом говорить, и эта задача пала на меня. Сестра Филиппина сказала, что мать уже всё знает. Накануне, когда она сидела у постели больной, та вдруг проснулась, с отчаянным криком приподнялась на кровати, но тут же потеряла сознание. Сиделка подумала, что она умерла, и хотела бежать за мной, но тут я вошел в комнату и сказал ей, что мальчик умер. Сиделка не ошиблась. Мать посмотрела мне в глаза и, прежде чем я произнес хотя бы слово, сказала, что она знает, что ее сына нет в живых. Эрхардт был совершенно подавлен смертью мальчика и упрекал себя за то, что рекомендовал применить сыворотку. Благородство и щепетильность этого превосходного человека были столь высоки, что он порывался написать письмо отцу ребенка, в котором чуть ли не объявлял себя виновником смерти мальчика. Я возразил, что вся ответственность падает на меня, лечащего врача, не говоря уж о том, что подобное письмо могло бы совсем лишить рассудка обезумевшего от горя отца. На следующее утро мать в моем экипаже перевезли в больницу «Синих сестер», где я также выхлопотал комнату для ее дочки и мужа. Его страх перед дифтеритом был так велик, что он подарил мне весь свой гардероб – два больших сундука костюмов, не говоря уже о пальто и цилиндре. Я был очень рад – платье иногда оказывается нужнее лекарств. Мне с трудом удалось убедить его не расставаться с золотыми часами с репетиром, но его карманный барометр и по сей день находится у меня. Покидая «Гранд-отель», питтсбургский миллионер с полным равнодушием заплатил по колоссальному счету, от которого у меня закружилась голова. Я сам руководил дезинфекцией номеров, и, вспомнив свой опыт в гейдельбергской гостинице, целый час ползал на коленях в комнате, где умер мальчик, отрывая прибитый к полу брюссельский ковер. Право, не понимаю, как я умудрился в такое время вспомнить о «сестрицах бедняков». Я как сейчас вижу выражение, появившееся на лице управляющего отелем и ею помощников, когда я распорядился снести ковер в мой экипаж, чтобы я мог отвезти его в муниципальную дезинфекционную камеру ни Авентине. Я объяснил, что питтсбургский миллионер, заплатив за этот ковер в три раза больше его цены, подарил его мне на память.

Наконец я мог поехать домой на площадь Испании. На входной двери я прикрепил объявление на английском и французском языках: «Доктор болен. Обращаться к доктору Эрхардту, площадь Испании, 28». Я впрыснул себе тройную дозу морфия и улегся на диване в приемной с болью в горле и температурой в сорок градусов. Анна пришла в ужас и хотела бежать за доктором Эрхардтом, но я сказал, что мне нужно только проспать сутки в всё будет хорошо, а поэтому она ни в коем случае не должна меня будить, разве что начнется пожар. Благодетельный наркотик уже начал погружать в сон мой измученный мозг, даря ему покой и забвение, так что даже рассеялся томительный ужас, который весь день наводило на меня воспоминание о царапине на пальце. Внезапно оглушительно зазвонил колокольчик в передней, а затем оттуда донесся громкий голос, не оставлявший никаких сомнений в национальности его обладательницы, которая спорила с Анной на ломаном итальянском языке.

– Доктор болен. Пожалуйста, обратитесь к доктору Эрхардту. Он живет рядом.

Нет, ей необходимо немедленно видеть доктора Мунте по совершенно неотложному делу.

– Доктор лежит в постели. Пожалуйста, уходите!

Нет, ей нужно поговорить с ним – и немедленно. «Вот моя карточка».

– Доктор спит... Будьте так добры...

Но как я мог спать, пока в передней визжал этот ужасный голос?

– Что вам угодно?

Анна не могла ее удержать, и она раздвинула портьеру моей комнаты пышущая здоровьем супруга Чарльза Вашингтона Лонгфелло Перкинса-младшего.

– Что вам угодно?

Ей было угодно знать, не грозит ли ей в «Гранд-отеле» опасность заразиться дифтеритом. Ей дали номер на верхнем этаже, не правда ли, что мальчик умер на втором этаже? Она не может подвергать себя опасности!

– Какой у вас номер?

– Триста тридцать пятый.

– О, тогда можете не тревожиться. Это самая чистая комната во всем отеле. Я сам ее продезинфицировал. Именно в ней и умер мальчик.

Я откинулся на кровать, провалился сквозь нее, как мне показалось, и вновь начал действовать морфий.

Снова раздался звонок. Снова я услышал в передней тот же безжалостный голос: миссис Перкинс объясняла Анне, что забыла задать мне чрезвычайно важный вопрос.

– Доктор спит.

– Спустите ее с лестницы! – крикнул я Анне, которая была вдвое меньше американки.

Нет, она не уйдет, пока не получит ответа на свой вопрос.

– Так что же вам угодно узнать?

– Я сломала зуб. Боюсь, его придется вырвать. Кто лучший дантист в Риме?

– Миссис Перкинс, вы меня слышите?

Да, она меня прекрасно слышит.

– Миссис Перкинс, в первый раз в жизни я жалею, что я не дантист, – я с наслаждением вырвал бы все ваши зубы!

Глава XXV. «Сестрицы бедняков»

«Сестрицы бедняков» в Сан-Пьетро-ин-Винколи (их было около пятидесяти и почти все – француженки) все были моими друзьями, как и многие из трехсот стариков и старух, которые нашли приют в их обширном доме. Итальянский врач, обязанный о них заботиться, никогда не выражал ни малейшего неудовольствия из-за того, что я оказывал им профессиональные услуги, и остался равнодушен, даже когда ковер питтсбургского миллионера, после надлежащей дезинфекции, был к большой радости сестриц расстелен на холодном как лед каменном полу их часовни. Каким образом сестрицы умудрялись доставать еду и одежду для своих подопечных, всегда было для меня полнейшей загадкой. Все туристы в Риме тех времен хорошо знали их ветхую тележку, которая медленно объезжала гостиницы, собирая остатки кушаний. Двадцать сестриц, попарно, с утра до ночи ходили по городу с большими корзинами и кружками для пожертвований. Две из них обычно стояли в углу моей приемной, когда я принимал больных, и, вероятно, многие из моих пациентов их еще помнят. Как все монахини, они были веселы, смешливы и любили при случае поболтать. Обе были молоды и миловидны. Настоятельница как-то сказала мне по секрету, что старые и некрасивые монахини не годятся для сбора пожертвований. В ответ на ее откровенность я сообщил ей, что мои пациенты скорее послушаются молоденькую и хорошенькую сиделку, чем некрасивую, и что ворчливая сиделка – всегда плохая сиделка. Эти монахини, столь далекие от мирской суеты, тем не менее прекрасно разбирались в людях. Они с первого взгляда понимали, кто опустит монету в их кружку, а кто – нет. Молодые люди, рассказывали они мне, обычно дают больше пожилых, но дети, как ни жаль, подают редко, да и то если им велят их английские гувернантки. Мужчины подают больше, чем женщины, пешеходы – больше, чем те, кто разъезжает в каретах. Самими щедрыми они считали англичан, а потом русских. Французские туристы в те дни редко посещали Рим. Американцы и немцы скуповаты, богатые итальянцы – еще скупее, зато итальянские бедняки всегда готовы поделиться последним. Коронованные особы и духовные лица всех национальностей подают очень редко. Сто пятьдесят стариков, порученные их заботам, очень послушны и покладисты, а вот со ста пятьюдесятью старухами справляться куда труднее – они только и делают, что ссорятся между собой. Между двумя флигелями богадельни нередко разыгрывались страшные любовные драмы, и сестрицам приходилось тушить таящийся под пеплом жар, как ни неопытны они были в подобных делах.

Любимцем всей богадельни был крошка мосье Альфонс, француз невероятно маленького роста, который жил за двумя синими занавесками в углу большой общей спальни на шестьдесят человек. Ни у одной другой кровати не было занавесок – этой привилегией пользовался лишь мосье Альфонс, старейший обитатель богадельни. Он утверждал, что ему семьдесят пять лет; сестры полагали, что ему за восемьдесят, а я, судя но состоянию его артерий, считал, что ему под девяносто. Он явился сюда несколько лет назад неизвестно откуда с маленьким саквояжем в руке, в ветхом сюртуке и в цилиндре. Все дни он проводил за своими занавесками, старательно уединяясь от остальных обитателей спальни, и появлялся на людях только по воскресеньям, когда, с цилиндром в руке, торжественно шествовал в часовню. Никто не знал, чем он занимается за своими занавесками. Сестры, приносившие ему тарелку супу или чашку кофе (еще одна

привилегия), рассказывала, что он обычно сидит на кровати и перебирает бумаги в своем саквояже или чистит цилиндр. Мосье Альфонс придерживался строгого этикета, когда принимал гостей. Сначала надо было постучать о стоящий возле кровати столик. Тогда он старательно убирал бумаги в чемодан, восклицал тонким голоском «войдите!» и извиняющимся жестом приглашал гостя занять место рядом с ним на кровати. Мои посещения, по-видимому, были ему приятны, и вскоре мы стали большими друзьями. Все мои старания узнать что-нибудь о его прошлом казались бесплодными – мне было известно, что он француз, но, как мне казалось, не парижанин. Он не знал ни слова по-итальянски и не имел ни малейшего представления о Риме. Даже в соборе Святого Петра он не был ни разу, хотя собирался сходить туда, «как-нибудь, когда выдастся свободная минута». Сестры утверждали, что он не пойдет туда – и никуда не пойдет, хотя сил на это у него вполне хватило бы. А не выходит он по четвергам (в этот день мужчинам разрешалось гулять в городе) потому, что его сюртук и цилиндр находятся в плачевном состоянии, которое постоянная чистка только усугубляла. Знаменательный день, когда мосье Альфонс примерил цилиндр питтсбургского миллионера и его новехонький, сшитый по последней американской моде сюртук, положил начало заключительной и, быть может, самой приятной главы жизни этого старичка. Из всех палат сбежались сестры, и даже настоятельница показалась у подъезда, когда в следующий четверг мосье Альфонс садился в мою элегантную коляску, торжественно приподнимая свой новый цилиндр перед восхищенными зрителями.

– Est-il chic! – смеялись они, когда мы отъезжали. – On dirait un milord anglais![103]

Мы проехали до Корсо и побывали на Пинчио, а потом уже отправились на площадь Испании – мосье Альфонс был приглашен позавтракать у меня. Хотел бы я видеть того, кто устоял бы против искушения сделать это приглашение постоянным! Каждый четверг, ровно в час, моя коляска привозила мосье Альфонса к дому номер двадцать шесть на площадь Испании. Через час, когда у меня начинался прием, Анна провожала его до коляски, и он совершал обычную прогулку на Пинчио. Мосье Альфонс усаживался за свой столик в углу, пил кофе и читал «Фигаро» с видом старого посланника. Потом еще полчаса этой упоительной жизни, пока он катался по Корсо и старательно высматривал знакомых с площади Испании, чтобы приподнять перед ними новый цилиндр. Затем он исчезал за синими занавесками до следующего четверга, когда, по словам сестриц, он уже на рассвете принимался чистить свой новый цилиндр.

Нередко в нашем завтраке принимал участие кто-нибудь из моих друзей, к великой радости мосье Альфонса. Многие из них, наверное, еще помнят его. Никому из них и в голову не приходило, откуда он приезжал ко мне. Впрочем, он выглядел чрезвычайно щеголевато в модном длинном сюртуке и новом цилиндре, с которым он даже за столом расставался лишь с большой неохотой. Так как я и сам не знал, кем считать мосье Альфонса, то в конце концов я сделал из него дипломата в отставке. Все мои друзья называли его «господин посланник», а Анна неизменно величала его «ваше превосходительство». Надо было видеть его лицо! К счастью, он был туг на ухо, и разговор ограничивался вежливыми замечаниями о папе или о сирокко. К тому же я бдительно следил за происходящим и всегда был готов вовремя отставить подальше графин с вином или прийти ему на помощь, когда ему задавали неловкий вопрос, а главное когда после второго стаканчика фраскати он вдруг пускался в опасные рассуждения. Мосье Альфонс был пламенным роялистом и мечтал о ниспровержении Французской республики. Он со дня на день ожидал известии из весьма конфиденциального источника, которые в любой момент могли призвать его в Париж. Само по себе это было невинной темой – мало ли я знал французов, которые уничтожали республику в застольной беседе! Но когда мосье Альфонс начинал повествовать о своих семейных обстоятельствах, я должен был тщательно следить, чтобы он случайно не раскрыл столь ревниво хранимую тайну своего прошлого. К счастью, я всегда мог положиться на его шурииа – «mon beau-frère le sous-préfet»[104]. Между мной и моими друзьями существовала молчаливая договоренность о том, что при первом же упоминании этой таинственной личности графин с вином отставляется подальше и рюмка мосье Альфонса до конца завтрака остается пустой.

Я как сейчас помню тот четверг, когда с нами завтракал Уолдо Стори, известный американский скульптор и большой друг мосье Альфонса. Мосье Альфонс был в превосходном настроении и необычайно словоохотлив. Еще не допив первой рюмки фраскати, он начал обсуждать с Уолдо организацию армии из бывших гарибальдийцев, которую он поведет на

---

[103] До чего же он элегантен! Ну прямо английский лорд! (франц.).

[104] Мой шурин помощник префекта (франц.).

Париж, чтобы сокрушить республику. В конце концов это только вопрос денег – пяти миллионов будет вполне достаточно, а один миллион в случае необходимости он берется раздобыть сам.

Мне показалось, что он слишком раскраснелся, и я не сомневался, что его шурин не заставит себя долго ждать. Я подал Уолдо условный знак.

– Mon beau-frère le sous-préfet... – пробормотал мосье Альфонс. Я отодвинул графин, и он смолк, уставившись в тарелку, как всегда, когда бывал чем-то недоволен.

– Ничего! – сказал я. – Выпьем еще по стаканчику за ваше здоровье – я совсем не хотел вас обидеть и готов воскликнуть «долой республику», если вам это приятно.

К моему удивлению, мосье Альфонс не протянул руки к рюмке. Он сидел неподвижно и смотрел в тарелку. Он был мертв.

Я прекрасно знал, что означало бы официальное заявление в полицию и для мосье Альфонса, и для меня. Осмотр трупа полицейским врачом, быть может, вскрытие, вмешательство французского консула, а в результате всего этого покойный лишился бы своего единственного достояния – тайны своего прошлого. Я послал Анну сказать кучеру, чтобы он поднял верх коляски: мосье Альфонсу стало дурно, и я сам отвезу его домой. Пять минут спустя мосье Альфонс сидел в экипаже на своем обычном месте, рядом со мною. Воротник сюртука питтсбургского миллионера был поднят, цилиндр глубоко надвинут на лоб. У мосье Альфонса был совсем обычный вид, он только стал словно меньше – как все покойники.

– Через Корсо? – спросил кучер.

– Да, конечно, через Корсо! Это любимая дорога мосье Альфонса.

Настоятельница сначала немного тревожилась, но я написал свидетельство о «смерти от разрыва сердца», пометил его богадельней, и, таким образом, все полицейские правила были соблюдены. Вечером мосье Альфонса положили в гроб; его голова покоилась на заменявшем подушку саквояже, ключ от которого всё еще висел на ленточке у него на шее. Сестрицы бедняков не задают вопросов ни живым, ни мертвым. Им достаточно, если тот, кто просит у них помощи, стар и голоден. Всё остальное касается только бога, и никого другого. Они прекрасно знают, что многие из их подопечных живут и умирают под чужим именем. Я хотел положить в гроб любимый цилиндр мосье Альфонса, но сестры воспротивились. Мне было жаль, – это, несомненно, его порадовало бы.

* * *

Как-то ночью меня разбудили – сестрицы просили меня прийти к ним как можно скорее. Все комнаты большого здания были погружены во мрак и безмолвны, но я услышал, что сестры молятся в часовне. Меня провели в маленькую келью, где я до тех пор ни разу не бывал. На кровати лежала еще молодая монахиня с лицом белым, как подушка под ее головой, – глаза у нее были закрыты, и я лишь с большим трудом нащупал пульс. Это была начальница всего ордена «Сестриц бедняков», которая прибыла вечером из Неаполя, возвращаясь в Париж после кругосветной инспекционной поездки. Тяжелый сердечный припадок грозил ей смертью. Мне приходилось стоять у постели королей, королев и великих людей в часы, когда спасение их жизни, быть может, зависело только от меня. Но никогда я столь глубоко не сознавал своей ответственности, как в ту ночь, когда эта женщина медленно открыла свои чудесные глаза и посмотрела на меня.

– Сделайте всё возможное, доктор, – прошептала она. – Ведь сорок тысяч бедняков нуждаются и моих заботах.

«Сестрицы бедняков» трудятся с утра до вечера, и я не знаю, есть ли еще столь полезный и столь неблагодарный труд во имя помощи ближним. Не надо приезжать в Рим, чтобы их увидеть, – всюду, где есть нищета и старость, есть и «сестрицы бедняков», с пустыми корзинками и пустыми кружками для пожертвования. Так положите же в их корзинку свою одежду – размер не имеет значения, сестрицам годится любой размер. Цилиндры выходят из моды – так отдайте им и ваш цилиндр. В их приюте всегда найдется какой-нибудь старый мосье Альфонс, который за синими занавесками старательно чистит свой ветхий цилиндр – последнее, что осталось от былого благосостояния. Покатайте его в своей элегантной коляске по Корсо. А для вашей печени куда полезнее будет пешая прогулка по Каминаньи в обществе вашей собаки. Пригласите его к завтраку в следующий четверг: лучшее средство от отсутствия аппетита – это вид голодного человека, который ест в волю. Налейте ему стаканчик фраскати, чтобы помочь ему забыть, но уберите бутылку, едва он начнет вспоминать. Положите свою лепту в кружку «сестриц бедняков» – ей отыщется применение, как бы мала она ни была, и, поверьте, трудно найти более надежное помещение деньгам. Вспомните, что я писал в другом месте этой книги: то, что

человек сохраняет для себя, – он теряет, но то, что он отдает другим, – навеки остается ему. К тому же вы не имеете права оставлять деньги для себя – ведь они не принадлежат вам, так как деньги вообще не принадлежат людям. Собственник всех денег – дьявол, который день и ночь сидит в своей конторе на мешках с золотом и покупает на него человеческие души. Постарайтесь поскорее избавиться от грязной монеты, которую он всовывает вам в руку, не оставляйте ее у себя, не то проклятый металл сожжет вам пальцы, проникнет в кровь, облепит глаза, отравит мысли, иссушит ваше сердце. Опустите ее в кружку «сестриц» или бросьте в ближайшую канаву – туда ей и дорога. К чему копить деньги, если рано или поздно всё равно придется их лишиться? У смерти есть второй ключ от вашего сейфа.

Боги продают все по честной цене, заметил древний поэт. Он мог бы добавить, что лучшее они продают по самой низкой цене. То, что действительно полезно, – дешево, только лишнее стоит больших денег. То, что по-настоящему прекрасно, бессмертные боги вообще не продают нам, но дарят безвозмездно. Мы бесплатно любуемся утренней и вечерней зарей, плывущими по небу облаками, раздольем полей, лесами и чудесным морем. Птицы поют нам даром, и мы бесплатно срываем полевые цветы у дороги и входим в сверкающий звездами зал Ночи. Бедняк спит крепче богача. Простая еда не надоедает, как изысканные блюда в дорогих ресторанах. Деревенская хижина – более надежный приют для душевного мира и спокойствия, чем роскошный дворец. Два–три друга, немного, очень немного книг и собака – вот всё, что нужно человеку, пока у него есть он сам. Но жить следует в деревне. Первый город был придуман дьяволом, потому-то бог и разрушил Вавилонскую башню.

А вы когда-нибудь видели дьявола? Я видел. Он стоял на башне Нотр-Дам, положив локти на парапет. Его крылья были сложены, лицо с запавшими щеками опиралось на ладони. Из гнусных губ торчал высунутый язык.

Серьезно и задумчиво глядел он на расстилавшийся у его ног Париж. Застывший в неподвижности, словно высеченный из камня, стоит он там почти тысячу лет, злорадно любуясь избранным им городом, не в силах отвести от него взора. Неужели это тот извечный враг, чье имя приводило меня в трепет с детских лет, могучий поборник всего дурного в схватке между добром и злом?

Я посмотрел на него с удивлением. Он выглядел далеко не таким воплощением зла, как я себе его представлял. Мне доводилось видеть лица и похуже. Его каменные глаза не таили торжества, он казался старым и уставшим – уставшим от своих легких побед и от своего ада. Медный старик Вельзевул! Быть может, в конечном счете вовсе не ты виновник того, что в нашем мире что-то идет не так. Ведь не ты дал жизнь нашему миру, не ты послал людям страдания и смерть. Ты родился с крыльями, а не с когтями, и в дьявола превратил тебя бог, он низверг тебя в ад и назначил сторожем проклятых им душ. Несомненно, ты не простоял бы на крыше Нотр-Дам тысячу лет под дождем и ветром, если бы твои обязанности доставляли тебе удовольствие. Не легко быть дьяволом тому, кто родился крылатым, я в этом уверен.

Князь Тьмы, почему бы тебе не погасить огонь в своем подземном царстве и не поселиться среди нас в большом городе (деревни, поверь мне, не для тебя) – не стать богатым рантье, которому нечего делать, кроме как есть, пить и копить деньги? Ну, а если ты во что бы то ни стало хочешь приумножить свои капиталы, так почему бы тебе не попробовать свои силы на новом приятном поприще – не открыть еще один игорный притон в Монте-Карло или публичный дом в Париже, не стать ростовщиком или владельцем бродячего зверинца, морящим голодом беззащитных зверей в железных клетках? А если тебе хочется переменить климат, так почему бы тебе не уехать в Германию и не открыть там еще одни завод отравляющих газов? Кто, как не ты, руководил их слепым налетом на Неаполь и направил полет зажигательной бомбы на богадельню «сестриц бедняков»? Но дозволено ли мне будет в награду за столько советов задать тебе один вопрос? Зачем ты высовываешь язык? Не знаю, как на это смотрят в аду, но у нас на земле это считается знаком насмешки или презрения. Прошу простить меня, владыка, но кому ты все время показываешь язык?

Глава XXVI. Мисс Холл

Многие мои пациенты тех дней, разумеется, еще помнят мисс Холл. Тот, кто ее хоть раз увидел, вряд ли мог ее забыть! Только Великобритания в миг высшего вдохновения могла создать этот совершенный образчик ранневикторианской старой девы, прямой и сухой как палка,

ростом в шесть футов три дюйма.[105] За пятнадцать лет моего знакомства с мисс Холл ее внешность ничуть не изменилась – всё то же сияющее лицо, обрамленное блекло-золотистыми локонами, всё то же пестрое платье, всё тот же цветник на шляпе. Не знаю, сколько лет своей однообразной жизни мисс Холл провела в тихих римских пансионах в ожидании приключений. Знаю только, что в тот день, когда она встретила Таппио и меня на вилле Боргезе, она нашла наконец свое жизненное призвание и обрела себя. С тех пор все утренние часы она проводила в моей холодной задней гостиной под лестницей Тринита-деи-Монти, расчесывая и приглаживая шерсть моих собак. Она возвращалась в свой пансион ко второму завтраку, но в три часа уже снова выходила из дома Китса, по ее правую и левую руку семенили доходящие ей до плеча Розина и Джованнина, в деревянных башмаках и красных платках, а вокруг прыгали и лаяли все мои собаки, радостно предвкушая прогулку на вилле Боргезе. Джованнина и Розина принадлежали к штату Сан-Микеле, и лучшей прислуги у меня никогда не было: легкие, проворные, они пели за работой с утра до вечера. Разумеется, никому, кроме меня, не пришло бы в голову привезти в Рим этих дикарок из Анакапри. Ничего хорошего из этого и не вышло бы, если бы не мисс Холл, которая стала для них своего рода приемной матерью и заботилась о них, словно старая наседка о своих цыплятах. Мисс Холл никак не могла взять в толк, почему я не позволяю девушкам гулять одним на вилле Боргезе, и говорила, что она много лет ходила по всему Риму совсем одна, но никто никогда не обращал на нее внимания и не заговаривал с ней. Мисс Холл, оставаясь верной своему типу, так и не научилась говорить по-итальянски, но девушки прекрасно ее понимали и очень к ней привязались, хотя, боюсь, не принимали ее всерьез, точно так же, как и я сам. Меня мисс Холл видела очень мало, а я ее и того меньше, так как всегда избегал смотреть на нее, если это было возможно. В тех редких случаях, когда мисс Холл бывала приглашена к завтраку, между нами всегда ставилась большая ваза с цветами. Хотя мисс Холл было строго запрещено смотреть на меня, она тем не менее нет-нет да высовывала голову над цветами и исподтишка бросала на меня быстрый взгляд. Мисс Холл, по-видимому, не была способна понять, какой черной неблагодарностью платил я ей за всё, что она для меня делала. Как ни трудно было мисс Холл добывать необходимые сведения (ей не разрешалось задавать мне вопросы), она всё же каким то образом умудрялась узнавать довольно много о том, что происходило в доме, и о людях, которые в нем бывали. Она вела бдительное наблюдение за моими пациентами, и в часы приема прохаживалась по площади, следя за тем, как они прибывают и отбывают. Открытие «Гранд-отеля» нанесло смертельный удар уходящей в прошлое простоте римской жизни. Началось последнее нашествие варваров – Вечный город стал модным, и сливки парижского и лондонского общества, американские миллионеры, великосветские авантюристы с Ривьеры наводнили громадную гостиницу. Мисс Холл знала их всех по имени и из года в год следила за их жизнью по столбцам светской хроники «Морнинг пост». Во всем, что касалось английской аристократии, мисс Холл была подлинной энциклопедией. Она могла по памяти перечислить все дни рождений и совершеннолетий сыновей и наследников. Знала, когда обручались и выходили замуж дочери знатных фамилий, какие платья были на них при представлении ко двору, с кем они танцевали на балах, какие устраивали приемы и когда уезжали в заграничные вояжи. Многие эти светские знаменитости, к вящему восторгу мисс Холл, кончали тем, что становились моими пациентами, другие, им подобные, так тяготились перспективой хотя бы на короткий срок остаться наедине с собой, что приглашали меня к завтраку или обеду. Третьи приезжали посмотреть комнату», в которой умер Китс, или останавливали свои экипажи на вилле Боргезе, чтобы погладить моих собак и сделать комплимент мисс Холл по поводу их прекрасного вида. Постепенно мы с мисс Холл рука об руку покидали предназначенную нам безвестность ради горных сфер. В эту зиму я часто бывал в свете – мне еще многое надо было узнать об этих благодушествующих бездельниках, чья способность ничего не делать, неизменно прекрасное настроение и крепкий сон всегда ставили меня в тупик. Мисс Холл начала вести дневник, занося в него все события моей светской жизни. Сияя гордостью, одетая в свое лучшее платье, она развозила по городу мои визитные карточки. Наша восходящая звезда светила всё ярче и ярче, всё выше и выше подымалась наша тропа, и ничто уже не могло остановить нас. Однажды, когда мисс Холл гуляла с собаками на вилле Боргезе, дама с черным пуделем на коленях сделала ей знак подойти к коляске. Дама погладила Таппио и сказала, что маленьким щенком подарила его доктору. У мисс Холл подкосились ноги – перед ней была

[105] **В.Э.:** 190,5 см.

наследная принцесса Швеции. Красивый господин, сидевший возле ее высочества, с очаровательной улыбкой подал ей руку и сказал:

– Здравствуйте, мисс Холл, доктор мне много о вас рассказывал.

Это был принц Макс Баденский, супруг – подумать только! – племянницы ее возлюбленной королевы Александры!

С этого незабываемого дня мисс Холл презрела блестящее общество «Гранд-отеля» и каждую свободную минуту посвящала высочайшим особам, которых в ту зиму в Риме собралось не менее полудюжины. Она часами простаивала перед их резиденциями в надежде увидеть, как они садятся в экипаж или выходят из него; почтительно склонив голову, она глядела, как они катаются по Пинчо или по вилле Боргезе; как сыщик, она следовала за ними в церкви и музеи. По воскресеньям в английской церкви на виа Бабуина она садилась возможно ближе к скамье английского посольства и, скосив один глаз в молитвенник, а другой на какое-нибудь королевское высочество, напрягала свои старые уши, стараясь различить в хоре звуки царственного голоса, и с пылом первых христиан молилась за королевскую семью и всех их родственников во всех странах.

Вскоре мисс Холл завела второй дневник, посвященный только нашим встречам с высочайшими особами. В прошлый понедельник она имела честь отнести письмо доктора в отель «Квиринал» ее королевскому высочеству великой герцогине Веймарской. Ответ, который ей вручил портье, был украшен герцогской короной Саксен-Веймара. Доктор любезно подарил ей этот бесценный конверт. В среду ей было доверено письмо к ее королевскому высочеству испанской инфанте Евлалии в «Гранд-отель». К сожалению, ответа не было.

Однажды, гуляя с собаками на вилле Боргезе, мисс Холл заметила высокую, стройную даму в черном, которая быстро ходила взад и вперед по боковой аллее. Она сразу вспомнила, что уже видела ее в саду Сан-Микеле – дама неподвижно стояла возле сфинкса, и взгляд ее прекрасных грустных глаз был устремлен на море. Проходя мимо, дама что-то сказала своей спутнице и протянула руку, чтобы погладить борзую Джаллу. Вообразите, как была поражена мисс Холл, когда к ней подошел сыщик и велел побыстрее уйти оттуда вместе с собаками, – это были австрийская императрица и ее сестра графиня Трани.

Как жестоко было со стороны доктора не сказать ей этого тогда, летом! Лишь случайно она впоследствии узнала, что через неделю после визита этой дамы в Сан-Микеле доктор получил письмо из австрийского посольства в Риме – австрийская императрица хотела бы купить Сан-Микеле. К счастью, доктор отклонил это предложение – какая была бы жалость, если бы он продал Сан-Микеле, лишив себя столь редкой возможности видеть высочайших особ! Разве прошлым летом она неделю за неделей не наблюдала с почтительного расстояния, как внучка ее возлюбленной королевы Виктории сидела под колоннадой и рисовала? Разве кузина самого царя не прожила там целый месяц? А какая ей выпала честь, когда она стояла за кухонной дверью, и императрица Евгения, впервые посетившая Сан-Микеле, прошла совсем рядом! Разве она своими ушами не слышала, как императрица говорила доктору, что голова Августа, которую доктор откопал у себя в саду, удивительно походит на бюст великого Наполеона? А несколько лет спустя ей довелось услышать властный голос самого кайзера, который соизволил сам объяснять своей свите смысл и значение многочисленных античных сокровищ искусства, а сопровождавший их доктор почти не раскрывал рта? Приблизившись к кипарисам, за которыми пряталась мисс Холл, его императорское величество указал на полускрытый плющом женский торс и сообщил своей свите, что перед ними шедевр, достойный занять почетное место в его берлинском музее, – быть может, это даже неизвестное творение самого Фидия. Затем пораженная ужасом мисс Холл услышала, как доктор заметил, что это единственная скверная статуя в Сан-Микеле. Она была из лучших побуждений навязана ему благодарным пациентом, который купил ее в Неаполе – Канова и на редкость плохой. К большому сожалению мисс Холл, блистательный гость почти немедленно отбыл из Сан-Микеле, чтобы на быстроходном пароходе «Слейпнер» вернуться в Неаполь.[106]

Да, кстати, об австрийской императрице! Следует упомянуть; что мисс Холл была кавалером австрийского ордена Святого Стефана. Она получила это высокое отличие в день,

---

[106] **В.Э.:** В 1892 году 34-летний Мунте стал лечащим врачом 30-летней шведской крон-принцессы (жены наследника престола) Виктории Баденской, которая болела бронхитами с подозрением на туберкулез. Она проводила на Капри (посещая также Сан-Микель) по несколько месяцев в году почти всю дальнейшую жизнь, за исключением время войны и самые последние годы жизни. В 1907 году она стала королевой Швеции. Видимо, через нее в Сан-Микеле бывали и другие монархи Европы и члены их семей.

когда, вероятно, совесть особенно меня мучила, и я решил вознаградить ее за верную службу мне и моим собакам. Почему сам я был награжден этим орденом, право, не знаю. Мисс Холл приняла его из моих рук, склонив голову, с глазами, полными слез. Она сказала, что возьмет его с собой в могилу. Я сказал, что ничего не имею против: тем более, что она, несомненно, попадет на небеса. Однако я не предвидел, что прежде она наденет его, отправляясь в английское посольство. По моей просьбе, добрейший лорд Дафферин прислал мисс Холл приглашение на прием в посольство, устроенный в честь дня рождения королевы. (На этот прием была приглашена вся английская колония, за исключением бедной мисс Холл.) Преисполненная радостного предвкушения, мисс Холл занялась подготовкой своего туалета, и несколько дней мы ее не видели. Вообразите мое смущение, когда, представляя мисс Холл посланнику ее страны, я увидел, что лорд Дафферин вставляет в глаз монокль и в оцепенении смотрит на ее грудь. К счастью, лорд Дафферин недаром был ирландцем. Он ограничился тем, что с хохотом отвел меня в сторону и взял с меня обещание, что мисс Холл не попадется на глаза его австрийскому коллеге. Когда мы возвращались домой, мисс Холл сказала, что это был самый знаменательный день в ее жизни – все ей улыбались и, она уверена, что ее туалет имел большой успех.

Конечно, почему бы и не посмеяться над мисс Холл? Но хотел бы я знать, что будет с высочайшими особами, когда мисс Холл перестанут писать о них в дневниках, не будут, почтительно склонив голову и еле держась на ногах от волнения, смотреть, как они катаются на Пинчио и прогуливаются на вилле Боргезе, и не захотят более возносить за них молитвы в английской церкви на виа Бабуино? Что станется с их звездами и лентами, когда человечество вырастет из этих игрушек? Почему бы не подарить их все сразу мисс Холл и не покончить с ними раз и навсегда? Тем более, что останется еще Крест Виктории – кто не обнажит головы при виде бесстрашия перед лицом смерти? Знаете, почему Крест Виктории так редок в английской армии? Потому что храбрость в ее высшей форме – наполеоновская courage de la nuit[107] – редко награждается Крестом Виктории, потому что доблесть, когда ей не сопутствует счастье, истекает кровью и гибнет, не получая наград.

После Креста Виктории наиболее завидным в Англии считается Орден Подвязки – день его уничтожения был бы черным днем для страны.

«Мне нравится Орден Подвязки – сказал лорд Мельбурн, – он дается без всяких заслуг!»

Мой друг, шведский посланник в Риме, показал мне на днях копию моего письма, написанного почти двадцать лет назад. Подлинник, по его словам, он отослал в шведское министерство иностранных дел для ознакомления и принятия к сведению. Это был запоздалый ответ на повторную официальную просьбу шведского посольства, настаивавшего, чтобы я, хотя бы из уважения к приличиям, поблагодарил итальянское правительство, наградившее меня мессинской медалью за услуги, якобы оказанные мной во время землетрясения. Письмо гласило:

> «Ваше Превосходительство!
>
> До сих пор я принимал только те награды, которые ничем не заслужил, и всегда старался строго придерживаться этого принципа. Заглянув в Красную книгу, вы можете убедиться в том, к каким замечательным результатам это приводило на протяжении многих лет. Новый принцип, предложенный в письме Вашего Превосходительства, сводится к требованию публичного признания того немногого, что мне, быть может, удалось сделать, и это представляется мне рискованным и бесполезным шагом. Он только внесет путаницу в мою жизненную философию и, возможно, прогневит бессмертных богов. Я незаметно покинул холерные трущобы Неаполя и хочу столь же незаметно покинуть и развалины Мессины. А для того, чтобы навсегда запомнить то, что я видел там, мне не нужно памятной медали».

* * *

Впрочем, должен признаться, что это письмо – одно притворство. Шведский посланник не возвратил мою медаль итальянскому правительству – она до сих пор лежит в одном из ящиков моего стола, не смущая моей совести и не внося никакой путаницы в мою жизненную философию. Да у меня и не было оснований отказываться от этой медали: ведь то, что я сделал в Мессине,[108] было ничтожно малым в сравнении с тем, что на моих глазах с риском для жизни

---

[107] Неприметная храбрость (франц.).

[108] **В.Э.:** Мессинское землетрясение произошло утром 28 декабря 1908 года, когда Акселю Мунте был 51 год. Население города тогда составляло около 150˙000 человек, из них погибло около 60˙000. Всего вместе с окружающими населенными пунктами и противоположным берегом Калибрии погибло более 100˙000 человек. Это считается самым страшным землетрясением в Европе.

делали сотни безвестных, нигде не упомянутых людей. Мне же не грозила никакая опасность, если не считать того, что я мог умереть с голоду или по собственной глупости. Правда, я с помощью искусственного дыхания вернул к жизни некоторое число полузадохнувшихся людей, но кто из врачей, сестер и служащих береговой охраны не сделал того же! Да, я в одиночку вытащил старуху из-под развалин ее кухни, но ведь я оставил ее лежать на улице, хотя она взывала о помощи, и обе ее ноги были сломаны. Но что мне оставалось делать? До прихода первого госпитального судна у меня не было ни перевязочного материала, ни лекарств. Еще я как-то поздно вечером подобрал во дворе голого младенца и принес в свой подвал, и он, укрытый моим пальто, мирно проспал всю ночь, посасывая во сне мой палец. Наутро я отнес его к монахиням Святой Терезы в их полуразрушенную часовню, где на полу уже лежало более десятка маленьких детей, которые плакали от голода – целую неделю в Мессине нельзя было найти ни капли молока. Меня всегда удивляло, что столько младенцев было извлечено из-под развалин и найдено на улицах живыми и здоровыми. Словно всемогущий бог оказал им больше милосердия, чем взрослым. Водопровод был разрушен, и воду удавалось доставить только из нескольких зловонных колодцев – по всему городу валялись тысячи гниющих трупов. Ни хлеба, ни мяса, ни овощей, ни рыбы, так как почти все рыбачьи лодки были потоплены или разбиты огромной волной, которая заодно смыла в море более тысячи человек, искавших спасения на берегу. Сотни из них были затем выброшены обратно на пляж, где они и лежали, разлагаясь на солнце. И с ними море живьем выбросило на берег самую большую акулу, которую я когда-либо видел, – Мессинский залив кишит акулами. Голодными глазами я смотрел, как ее вскрывают, – в надежде, что и мне достанется кусочек. Я всегда слышал, что мясо акул очень вкусно. В ее желудке нашли женскую ногу в красном шерстяном чулке и грубом ботинке, словно ампутированную хирургом. Вполне возможно, что в те дни не только акулы ели человеческое мясо, – но чем меньше об этом говорить, тем лучше. Во всяком случае, бесчисленные бездомные собаки и кошки, бродившие ночью среди развалин, питались только им, пока их не ловили и не съедали оставшиеся в живых люди. Я сам зажарил кошку на своей спиртовке. К счастью, в садах можно было раздобыть много апельсинов, лимонов и мандаринов. Вина было сколько угодно. Уже с первого дня началось разграбление винных погребов и магазинов. К вечеру все, а в том числе и я, бывали более или менее пьяны – и к счастью: томительное ощущение голода притуплялось, и люди даже засыпали, на что вряд ли решились бы, будь они трезвы. Почти каждую ночь бывали новые подземные толчки, сопровождавшиеся треском рушащихся домов и отчаянными воплями людей на улицах. В целом, я спал в Мессине прекрасно, несмотря на то, что мне часто приходилось менять место ночлега. Наиболее надежным пристанищем были, конечно, погреба, но в них человека преследовал жуткий страх оказаться погребенным заживо, если вдруг обрушатся стены. Лучше всего было бы ночевать под деревом в апельсиновой роще, но после двухдневного проливного дождя ночи стали слишком холодными, чтобы человек, весь багаж которого находился в дорожном мешке за спиной, мог позволить себе роскошь ночевать на свежем воздухе. Лишившись своего любимого шотландского плаща, я старался утешить себя мыслью, что он прикрывает теперь одежду еще более ветхую, чем моя. Впрочем, я бы ни за что не сменял мое платье на лучшее, даже если бы мог. Лишь очень отважный человек был бы способен чувствовать себя спокойно, расхаживай в приличном костюме среди всех этих людей, спасшихся в одной ночной рубашке, обезумевших от холода, голода и отчаяния, – да ему и недолго пришлось бы щеголять в нем. Нечего удивляться, что до прихода войск и введения военного положения ограбления и живых и мертвых, избиения и даже убийства были обычным делом. Да и в какой стране не произошло бы того же при подобных неописуемых обстоятельствах? Положение осложнилось еще и тем, что по иронии судьбы из восьмисот карабинеров в Коледжо Милитаре в живых осталось лишь четырнадцать человек, в то время как первый подземный удар открыл путь к свободе четыремстам профессиональным убийцам и ворам, которые отбывали пожизненный срок заключения в тюрьме. Само собой разумеется, раздобыв себе новую одежду из магазинов и револьверы из лавок оружейников, эти негодяи зажили припеваючи на развалинах богатого города. Они даже взломали сейф Неаполитанского банка, убив двух ночных сторожей. Однако ужас перед землетрясением был так велик, что многие из этих бандитов предпочитали добровольно являться на тюремный понтон, лишь бы не оставаться в обреченном городе, какую заманчивую добычу он им ни обещал бы. Что до меня, то никто не причинил мне ни малейшего вреда – напротив, все были трогательно добры и приветливы со мной, как и друг с другом. Те, кому удавалось раздобыть еду или одежду, всегда охотно делились с теми, у кого ничего не было. Какой-то незнакомец, по-видимому, вор, даже преподнес мне

прекрасный дамский стеганый халат – редко я получал столь приятные подарки. Как-то вечером, проходя мимо развалин какого-то палаццо, я увидел, что хорошо одетый человек бросает куски хлеба и морковь двум лошадям и маленькому ослику, которые были погребены в своей подземной конюшне. Сквозь узкую щель в стене я с трудом разглядел несчастных животных. Незнакомец сказал мне, что два раза в день приносит сюда всё съедобное, что ему удается раздобыть, – вид этих умирающих от голода и жажды животных причиняет ему невыносимые страдания, и он готов был бы разом прекратить их муки, застрелив их из револьвера, но у него не хватает для этого духа, – он не может убить даже перепелку.[109] Я с удивлением посмотрел на его красивое, умное и очень симпатичное лицо и спросил, сицилианец ли он. Нет, ответил он, но он прожил в Сицилии несколько лет. Полил дождь, и мы ушли. Он спросил, где я живу, и, услышав, что дома у меня, собственно говоря, нет, поглядел на мою промокшую одежду и предложил переночевать у него – он с двумя товарищами живет совсем недалеко отсюда. Мы ощупью пробрались между обломками обрушившихся стен и кучами изуродованной мебели, спустились по какой-то лестнице и очутились в большой подземной кухне, слабо освещенной лампадой, которая висела на стене под цветной олеографией мадонны. На полу лежало три матраца, и синьор Амедео сказал, что я могу спокойно спать на его постели – он и его друзья намерены всю ночь искать под развалинами остатки своего имущества. Меня угостили прекрасным ужином – это была вторая приличная еда со времени моего приезда в Мессину. А в первый раз я как следует наелся дня за два до этого, когда в саду американского консульства случайно наткнулся на веселый пикник, которым распоряжался мой старый приятель Уинтроп Ченлер, прибывший утром на своей яхте с продовольствием для голодающего города. На матраце синьора Амедео я прекрасно выспался и проснулся лишь утром, когда мой хозяин и его приятели благополучно вернулись из своей опасной экспедиции – а она действительно была опасной, так как войска получили приказ стрелять без предупреждения в тех, кто будет пытаться унести что-либо из-под развалин хотя бы собственного дома. Они бросили узлы под стол, сами бросились на матрацы и уже крепко спали, когда я уходил. Хотя мой любезный хозяин вернулся смертельно усталым, он не забыл мне сказать, что я могу жить у них сколько захочу, а мне, разумеется, только того и надо было. На следующий вечер я снова ужинал с синьором Амедео, а его товарищи уже крепко спали на своих матрацах – все трое собирались после полуночи снова выйти на работу. Такого приветливого человека, как мой хозяин, я никогда еще не встречал. Когда он услышал, что я не при деньгах, он тотчас же предложил мне пятьсот лир, которые, к моему стыду, я до сих пор ему не отдал. Я не мог не выразить своего удивления по поводу той охоты, с которой он готов был ссудить деньги совершенно незнакомому человеку. Он с улыбкой ответил, что я не сидел бы тут, если бы он мне не доверял.

На следующий день, когда я искал труп шведского консула под развалинами отеля «Тринакрия», передо мною появился солдат и взял ружье на прицел. Я был арестован и отведен на ближайший караульный пост. Дежурный офицер не без некоторого труда разобрался в моей малоизвестной национальности, затем внимательно изучил пропуск, подписанный префектом, и наконец освободил меня, ибо единственной найденной у меня добычей был обгоревший журнал шведского консульства. Но я ушел, испытывая некоторую тревогу, так как заметил недоуменный взгляд офицера, когда я не сумел назвать свой адрес – я не знал даже названия улицы, на которой жил мой любезный хозяин. Тем временем наступили сумерки, и вскоре я побежал со всей мочи, так как мне почудилось, что за моей спиной раздаются тихие шаги, словно кто-то меня выслеживал. Однако я добрался до своего ночного приюта без всяких приключений. Синьор Амедео и его товарищи уже спали на своих матрацах. Я, как всегда, был отчаянно голоден и тут же принялся за ужин, который оставил мне мой заботливый хозяин. Я решил не ложиться до их ухода и предложить синьору Амедео помочь ему разыскивать его имущество. Не успел я подумать, что я должен отблагодарить его за гостеприимство хотя бы таким образом, как снаружи раздался пронзительный свист и тяжелые шаги. Кто-то спускался по лестнице. В одно мгновение трое спящих вскочили с матрацев. Раздался выстрел, и по ступенькам к моим ногам скатился карабинер. Я быстро наклонился, чтобы посмотреть, жив он или мертв, и вдруг увидел, что синьор Амедео целится в меня из револьвера. В тот же миг в комнату хлынули солдаты, раздался еще один выстрел, и после отчаянной борьбы все трое были схвачены. Когда моего хозяина вели мимо меня в наручниках, связанного крепкой веревкой, он повернул голову и

---

[109] Читателям, любящим животных, может быть, будет интересно узнать, что обе лошади и ослик на семнадцатый день после землетрясения были освобождены из своего заточения живыми. (*Прим. автора*.)

бросил на меня взгляд, исполненный дикой ненависти и такого презрения, что у меня кровь застыла в жилах. Полчаса спустя меня снова отвели на тот же пост, где и заперли на ночь. Утром меня допрашивал тот же офицер, уму и благожелательности которого я, вероятно, обязан жизнью. От него я узнал, что мой хозяин и его товарищи были сбежавшими из тюрьмы преступниками, присужденными к пожизненному заключению, и что все они «pericolosissimi»[110]. Амедео был знаменитым разбойником, который в течение многих лет держал в страхе окрестности Джирдженти и имел на своем счету восемь убийств. Это он со своими подручными ограбил накануне Неаполитанский банк и убил двух сторожей, пока я мирно спал на его матраце. Все трое были на рассвете расстреляны. Они потребовали священника, исповедались в грехах и смело встретили смерть. Офицер поблагодарил меня за важную роль, которую я сыграл в их поимке. Я посмотрел ему в глаза и сказал, что отнюдь этим не горжусь. Я уже давно понял, что не гожусь в прокуроры, а тем более – в палачи.

К сожалению, мое приключение дошло до ушей корреспондентов, которые дежурили у границ запретной зоны – в город их не пускали, и правильно делали. Все они жаждали сенсационных новостей – и чем неправдоподобнее, тем лучше, а моя история, разумеется, могла показаться весьма неправдоподобной тем, кто не побывал в Мессине в первую неделю после землетрясения. Но мне повезло: моя фамилия была записана неправильно, и это спасло меня от широкой известности. Но затем я узнал от компетентных лиц, что это не спасет меня от длинной руки Мафии, если я останусь в Мессине, и на следующий день я отплыл на лодке береговой охраны в Реджо.

Реджо, где при первом же подземном толчке погибло двадцать тысяч человек, был столь же неописуем, как и незабываем. Еще ужаснее был вид маленьких, разбросанных среди апельсиновых рощ прибрежных селений. Эта прекраснейшая область Италии превратилась теперь в огромное кладбище, где среди развалин лежало более тридцати тысяч мертвецов и много тысяч раненых – две ночи они без всякой помощи оставались под проливным дождем, который затем сменился ледяным ветром с гор, а рядом по улицам, обезумев, бегали тысячи полуголых людей и вопили от голода. Еще дальше к югу землетрясение, по-видимому, достигло наивысшей точки. В Пелларо, например, где из пяти тысяч жителей в живых осталось лишь человек двести, я не мог даже различить место прежних улиц. Церковь, в которую забились перепуганные люди, обвалилась при втором толчке и похоронила всех в ней находившихся. Кладбище было усеяно разбитыми гробами, которые буквально выбросило из могил, – я уже видел это жуткое зрелище на кладбищах Мессины. На куче развалин, оставшихся от церкви, сидело человек десять женщин, дрожавших от холода в своих лохмотьях. Они не плакали, они ничего не говорили, и только сидели неподвижно, склонив головы и полузакрыв глаза. По временам одна из них обращала тусклый взор на старого священника в ветхой сутане, который стоял несколько поодаль в группе мужчин и отчаянно жестикулировал. Иногда он с ужасающим проклятием потрясал кулаками в ту сторону, где за проливом лежала Мессина, Мессина – город Сатаны, Содом и Гоморра одновременно, причина их бедствия! Разве он не предсказывал, что рано или поздно это скопище греха... – выразительный взлет и падение старческих рук яснее слов объясняли суть пророчества. Castigo di Dio! Castigo di Dio![111]

Я достал из сумки краюшку черствого хлеба и протянул его женщине, которая сидела рядом со мной, держа на коленях ребенка. Она молча схватила хлеб, тотчас вытащила из кармана и дала мне апельсин, оторвала зубами кусок от краюшки, сунула его в рот своей соседке, которая, по-видимому, готовилась стать матерью, а сама принялась пожирать остальное с жадностью изголодавшегося животного. Потом тихим, монотонным голосом она стала рассказывать, что сама не знает, как спаслась с ребенком у груди, когда при первом staccata обвалился их дом. А потом до рассвета она старалась разобрать обломки, чтобы спасти двух других своих детей и мужа – она слышала их стоны до самого утра, а потом, после второго staccata, всё смолкло. Лоб у нее был рассечен, но ее маленький был, слава богу, невредим. С этими словами она дала грудь ребенку, прекрасному мальчугану, совсем голому и крепкому, как новорожденный Геркулес. Рядом с ней в корзине под охапкой гнилой соломы спал другой грудной ребенок – она подобрала его на улице, а чей он – никто не знает. Когда я собрался уходить, младенец-сирота запищал, и, выхватив его из корзинки, она дала ему вторую грудь. Я смотрел на эту простую калабрийскую крестьянку с могучими руками и широкой грудью, на двух прекрасных, усердно сосущих детей,

---

[110] В высшей степени опасны (итал.).

[111] Кара божья (итал.).

и внезапно припомнил ее имя. Это была Деметра Великой Греции, Великая Матерь римлян. Это была сама Мать Природа, и над могилами сотен тысяч из ее груди лился неиссякаемый поток жизни.

* * *

Но вернемся к мисс Холл. Высочайшие особы доставляли ей столько хлопот, что она лишь с большим трудом успевала следить за моими пациентками. Покидая Париж, я лелеял надежду, что навсегда избавлюсь от дам с расстроенными нервами. Но надежда эта не оправдалась: они переполняли мою приемную на площади Испании.

К старым, замучившим меня знакомым с авеню Вилье добавилось всё возрастающее число новых пациенток, которых навязывали мне другие истомленные невропатологи, движимые вполне извинительным чувством самосохранения. Одних капризных психопаток всех возрастов, являвшихся ко мне по рекомендации профессора Уэр-Митчелла, было вполне достаточно, чтобы подвергнуть тяжелому испытанию рассудок и терпение любого человека. Венский профессор Крафт-Эбинг, знаменитый автор «Сексуальной психопатии», также постоянно посылал ко мне пациентов обоего пола или вовсе его не имеющих – ладить с ними было чрезвычайно трудно, и особенно с женщинами. К моему большому удивлению и удовольствию, через некоторое время ко мне всё чаще стали являться больные, страдавшие различными нервными расстройствами, которым меня, несомненно, рекомендовал Шарко, хотя они никогда не вручали мне никаких рекомендаций. Многие из них были почти душевнобольными, не вполне ответственными за свои поступки. Другие же оказывались просто сумасшедшими, от которых можно было ожидать всего. Впрочем, с сумасшедшими легко быть терпеливым – признаюсь, я всегда в тайне питал к ним слабость. Немного доброты – и они не будут доставлять вам никаких хлопот. Другое дело истерички – с ними не хватит никакого терпения, а что до доброты – то часто она бывает просто противопоказана: они только и ждут, как бы злоупотребить твоей добротой. Чаще всего они не поддаются лечению, во всяком случае вне больниц. Успокоительными средствами можно оглушить их нервные центры, но вылечить их невозможно. Они остаются тем, чем были: клубком душевных и телесных расстройств, мукой для себя и близких, проклятием для врачей. Гипноз, оказывающий такое благотворное действие при стольких ранее неизлечимых душевных заболеваниях, при истерии, как правило, просто вреден. И в любом случае следует ограничиваться внушением «в состоянии бодрствования» – по определению Шарко. Впрочем, гипноз тут просто не нужен: эти беспомощные женщины и так слишком склонны подчиняться лечащему врачу, цепляться за него, видеть в нем единственного человека, способного их понять, и обожествлять его. И дело неизменно кончается подношением фотографических карточек – ничего не поделаешь, il faut passer par la[112], как говаривал Шарко со своей мрачной усмешкой. Я давно терпеть не могу фотографий, и с шестнадцати лет отказывался сниматься – за исключением того случая, когда во время войны я работал в Красном Кресте и мне понадобилась фотография для паспорта. Я не дорожил даже фотографиями моих друзей, так как их черты запечатлеваются на сетчатке моего глаза куда более точно и без малейшей ретуши. Для того, кто изучает психологию, фотографическое изображение человеческого лица ценности не имеет. Но старая Анна обожала фотографические карточки. С того знаменательного дня, когда она из жалкой продавщицы цветов на площади Испании стала привратницей в доме Китса, Анна принялась коллекционировать фотографии. Нередко, отчитав ее за какой-нибудь из ее многочисленных недостатков, я затем посылал в каморку Анны под лестницей Тринита-деи-Монти голубя мира с фотографией в клюве. А когда, замученный бессонницей, я навсегда покинул дом Китса, Анна завладела целым ящиком моего письменного стола, который был полон фотографическими карточками всех сортов и размеров. Должен откровенно сознаться, что я был рад от них отделаться. Анна тут ни при чем – во всем виноват я. На следующий год, когда я ненадолго посетил весной Париж и Лондон, я заметил, что многие из моих бывших пациентов и их родственники держатся со мной весьма сухо, чтобы не сказать холодно. Когда, возвращаясь на Капри, я проезжал через Рим, времени у меня было только-только чтобы пообедать в шведском посольстве. Посланник был мрачен, и даже очаровательная хозяйка дома почти не прерывала молчания. Когда я собирался на вокзал, чтобы с ночным поездом отправиться в Неаполь, мой старый друг сказал, что мне давно пора возвратиться на Капри и весь остаток дней провести среди собак и обезьян. В приличном обществе мне больше делать нечего. То, что я натворил, выехав из дома Китса, побивает все прежние мои выходки. И со сдержанной яростью он

[112] Приходится пройти и через это (франц.).

рассказал мне о том, как в прошлый сочельник случайно оказался на площади Испании, по обыкновению заполненной туристами. И вдруг у дверей дома Китса он увидел Анну – перед ней на столике лежали стопки фотографий, и она пронзительно взывала к прохожим:

– Поглядите-ка на эту красивую синьорину с вьющимися локонами – крайняя цена две лиры.

– Взгляните на синьору американку, на ее жемчуга и бриллиантовые серьги. Всего две с половиной лиры, торопитесь купить!

– Не упускайте эту благородную маркизу в мехах!

– Посмотрите на эту герцогиню в бальном платье, всю в декольте, с короной на голове. Четыре лиры. Просто подарок!

– А здесь синьора с раскрытым ртом. Цена снижена – полторы лиры.

– А вот свихнувшаяся синьора, которая всё время смеялась. Последняя цена – одна лира.

– Рыжая синьора, от которой всегда пахло водкой,[113] – полторы лиры.

– А вот синьорина из гостиницы «Европа», которая была влюблена в господина доктора. Две с половиной лиры.

– Поглядите на французскую синьору, которая спрятала под накидку и унесла портсигар, бедняжечка, но не своей вине – просто у нее голова не в порядке. Цена снижена – одна лира.

– Вот русская синьора, которая хотела отравить сову. Две лиры, и ни сольдо меньше.

– А вот баронесса – наполовину женщина, наполовину мужчина. Господи боже мой, этого даже понять нельзя. Доктор говорит, что она такой родилась. Две лиры двадцать пять сольдо, смотрите не упустите случай!

– А вот белокурая графиня, которая так нравилась господину доктору. Посмотрите, как она мила. Не меньше трех лир.

– А вот...

Среди этих дам красовалась и его собственная большая фотография: он был снят в парадном мундире с орденами и в треуголке, а надпись на ней гласила: «А.М. от его старого друга К.Б.» Анна сказала, что возьмет за нее недорого, одну лиру, так как главный ее товар – фотографии дам. В посольство посыпались негодующие письма от моих бывших пациенток, их отцов, мужей и женихов. Некий разъяренный француз, увидевший во время свадебного путешествия фотографию своей молодой жены в витрине парикмахера на виа Кроче, требовал, чтобы ему сообщили мой адрес: он намеревался вызвать меня на дуэль и стреляться со мной на границе. Посланник выразил надежду, что француз окажется хорошим стрелком, – он ведь всегда предсказывал, что я умру не своей смертью.

Старая Анна всё еще продает цветы на площади Испании – купите у нее букетик фиалок или подарите ей свою фотографию. Времена сейчас тяжелые, а у старой Анны катаракта на обоих глазах.

Насколько мне известно, отделаться от подобных пациенток невозможно, и я был бы весьма благодарен тому, кто научил бы меня способу избавляться от них. Писать родственникам, требуя, чтобы их увезли домой, бесполезно. Родным они успели безумно надоесть, и бедняги не останавливаются ни перед какими жертвами, лишь бы переложить заботу о них на вас.

Я хорошо помню маленького человека, явившегося ко мне с видом полного отчаяния после окончания приема. Он упал на стул и протянул мне свою визитную карточку. Уже одно его имя было для меня кошмаром: мистер Чарльз Вашингтон Лонгфелло Перкинс-младший. Он извинился, что не ответил на два моих письма и телеграмму – он решил приехать лично, чтобы в последний раз воззвать к моему милосердию. Я повторил свою просьбу и добавил, что нечестно взваливать только на меня одного такую обузу, как миссис Перкинс, у меня нет больше сил. Он ответил, что у него их тоже нет. Он деловой человек и хотел бы разрешить вопрос по-деловому – он готов отдавать половину своего годового дохода, с выплатой вперед. Я ответил, что вопрос не в деньгах, а в том, что мне нужен покой. Известно ли ему, что она уже больше трех месяцев подряд бомбардирует меня письмами из расчета три письма в день? И что по вечерам я вынужден выключать телефон? Известно ли ему, что она купила самых резвых лошадей в Риме и гоняется за мной по всему городу и что мне пришлось даже отказаться от вечерних прогулок с собаками по Пинчо? Известно ли ему, что она сняла целый этаж против моего дома, на виа

[113] **В.Э.:** …che puzzava sempere di liquore…

Кондотти, и с помощью мощной подзорной трубы ведет наблюдения за всеми, кто приходит ко мне?

Да-да, это прекрасная подзорная труба! Доктор Дженкинс в городе Сен-Луисе из-за этой трубы вынужден был переехать.

А известно ли ему, что меня трижды вызывали по ночам в «Гранд-отель», чтобы промывать ей желудок после приема большой дозы опиума?

Мистер Перкинс ответил, что во времена доктора Липпинкотта она предпочитала веронал, и посоветовал мне в следующий раз не торопиться и подождать до утра – она всегда тщательно рассчитывает дозы. А есть ли в этом городе река?

Да, мы называем ее Тибр. Месяц назад она бросилась с моста Сант-Анджело. За ней прыгнул полицейский и вытащил ее. Мистер Перкинс ответил, что это было излишне: она прекрасно плавает и как-то в Ньюпорте дожидалась в море спасителя более получаса. Он поражен, что его жена всё еще живет в «Гранд-отеле», – обычно она нигде не задерживается дольше недели.

Я сказал, что ей не осталось ничего другого: она успела перебывать во всех других гостиницах Рима. А управляющий «Гранд-отеля» уже предупредил меня, что должен будет отказать ей от номера: весь день она устраивает скандалы коридорным и горничным, а всю ночь передвигает взад и вперед мебель в своей гостиной. Может быть, он перестанет снабжать ее деньгами? Только труд ради хлеба насущного еще способен ее спасти.

Она получает в год десять тысяч долларов собственного дохода и еще десять тысяч от первого мужа, который от нее дешево отделался.

А не может ли он поместить ее в сумасшедший дом в Америке?

Он пытался, но из этого ничего не вышло: ее считают недостаточно сумасшедшей. И каких доказательств им еще надо? Но может быть, в Италии?..

Я выразил опасение, что это невозможно и здесь.

Мы посмотрели друг на друга с растущей симпатией.

Он сказал, что, согласно статистике доктора Дженкинса, она никогда не бывала влюблена в одного и того же врача больше месяца, в среднем же это длилось две недели. Мой срок скоро истечет – не соглашусь ли я из сострадания к нему потерпеть до весны?

К сожалению, статистика Дженкинса оказалась неверной – миссис Перкинс продолжала мучить меня в течение всего моего пребывания в Риме. Летом она нагрянула на Капри и собиралась утопиться в Голубом Гроте. Она перелезала через ограду Сан-Микеле, и в порыве отчаяния я едва не сбросил ее в пропасть. Наверное, я бы это сделал, если бы ее муж не предупредил меня при расставании, что падение с высоты тысячи футов для нее пустяк.

У меня были все основания этому поверить, так как всего месяца за два до этого полусумасшедшая немецкая девица спрыгнула со знаменитой каменной стены на Пинчо и отделалась переломом лодыжки. После того как она перебрала всех немецких врачей, ее добычей стал я. Ужас положения усугублялся тем, что фрейлейн Фрида обладала невероятной способностью писать стихи: ее ежедневная продукция составляла около десяти страниц лирики, и всё это обрушивалось на меня. Я терпел целую зиму, но когда пришла весна (а весной в таких случаях всегда наступает ухудшение), я сказал ее дуре матери, что, если она не отправится с фрейлейн Фридой восвояси, я сделаю всё возможное, чтобы запереть ее дочь в сумасшедший дом. Накануне того дня, когда они должны были отбыть в Германию с утренним поездом, меня разбудило ночью прибытие пожарной команды на площадь Испании. Второй этаж гостиницы «Европа» рядом с моим домом был охвачен пламенем. Остаток ночи фрейлейн Фрида в ночной рубашке провела у меня в гостиной и в самом радужном настроении с головокружительной быстротой писала стихи. Она добилась своего: им пришлось отложить отъезд из Рима на неделю, пока не кончилось расследование и не были возмещены убытки – пожар возник в их номере. Фрейлейн Фрида намочила полотенце керосином, бросила его в рояль и подожгла.

Как-то раз, выходя из дому, я встретился в дверях с хорошенькой молодой американкой. Вид у нее был цветущий, а нервы, благодарение богу, в полном порядке. Я сказал, что очень тороплюсь и не сомневаюсь, что ее здоровье не потерпит ни малейшего ущерба, если я приму ее не сегодня, а завтра. Она ответила, что тоже торопится, но она приехала в Рим только для того, чтобы увидеть папу и доктора Мунте, которому удалось удерживать тетю Салли в границах благопристойности целый год – подвиг, на который не был еще способен ни один врач. Я обещал подарить ей прекрасную литографию «Весны» Ботичелли, если только она увезет свою тетку обратно в Америку. Но она ответила, что ее не соблазнит даже подлинник. А с тетушкой шутки

были плохи. Не знаю, сменило ли «Общество Китса» (купившее дом, когда я из него выехал) дверь в той комнате, где умер Китс и умер бы и я, но только мой час еще не настал. Если старая дверь на месте, то в левом углу, примерно на высоте моей головы, можно увидеть небольшую дырочку от пули – я заполнил ее гипсом и закрасил.

Еще одной постоянной посетительницей моей приемной была робкая, но вполне благовоспитанная дама, которая однажды с милой улыбкой вонзила длинную шляпную булавку в ногу сидевшего рядом с ней англичанина. К той же компании принадлежали и две–три клептоманки, которые прятали под мантильи и уносили всё, что попадалось им под руку, к большому неудовольствию моей прислуги. Некоторых моих пациентов вообще нельзя было допускать в приемную, и они сидели в библиотеке или в задней комнате под бдительным оком Анны, которая была с ними необычайно терпелива – куда более терпелива, чем я сам. Для экономии времени некоторых из них я принимал в столовой и, завтракая, выслушивал их горестные повествования. Столовая выходила на маленький дворик под лестницей Тринита-деи-Монти, который я превратил в больничку и приют для всяческих животных. Среди них была очаровательная маленькая сова, несомненно происходившая по прямой линии от совы Минервы. Я нашел ее в полях Кампаньи, полумертвую от голода – у нее было сломано крыло. После того как крыло срослось, я два раза отвозил ее на то место, где я ее нашел, чтобы там отпустить на волю, но оба раза она летела обратно к моему экипажу и садилась мне на плечо, не желая со мной расставаться. С тех пор маленькая сова постоянно сидела на жердочке в углу столовой и с нежностью смотрела на меня золотистыми глазами. Она даже перестала спать днем, лишь бы видеть меня. Когда я поглаживал ее пушистое тельце, она блаженно жмурилась и тихонько покусывала мне губы острым маленьким клювом – это был настоящий совиный поцелуй. Среди пациенток, допускаемых в столовую, была одна весьма неуравновешенная молодая русская дама, которая доставляла мне много хлопот. Как ни трудно этому поверить, но она воспылала к маленькой птичке такой ревностью и бросала на нее столь злобные взгляды, что я приказал Анне никогда не оставлять их наедине. Когда я однажды пришел завтракать, Анна сказала, что заходила русская дама и принесла завернутую в бумагу мертвую мышь – она поймала ее у себя в комнате и подумала, что для совы это будет вкусный завтрак. Однако сова была иного мнения: оторвав по совиному обыкновению у мыши голову, она не стала ее есть. Я отнес мышь к английскому аптекарю – мышь была нашпигована мышьяком.

Чтобы доставить удовольствие Джованнине и Розине, я пригласил их отца провести пасху у нас в Риме. Старик Пакьяле давно уже был большим моим приятелем. В юности он, как и многие каприйцы, занимался добычей кораллов. После бесчисленных невзгод он в конце концов стал муниципальным могильщиком в Анакапри – невыгодная должность в месте, где никто не умирает, пока держится подальше от врачей. Однако и после того, как я взял его и его дочерей в Сан-Микеле, он продолжая упрямо сохранять за собой пост могильщика. Он питал непонятную склонность к покойникам и погребал их просто с наслаждением. В Рим Пакьяле приехал в страстной четверг. Он был ошеломлен и растерян – он никогда еще не ездил по железной дороге, никогда не видел города, никогда не сидел в коляске. Он вставал на рассвете, в три часа, и выходил на площадь, чтобы умыться в фонтане Бернини под моим окном. Мисс Холл и дочери сводили его приложиться к бронзовой стопе апостола Петра, он прополз на коленях по Скала-Санта, а Джованни, его коллега с протестантского кладбища, показал ему все кладбища Рима, после чего Пакьяле объявил, что никуда больше он ходить не хочет. До конца своего пребывания в Риме он сидел у окна, выходящего на площадь, а на его голове красовался рыбачий фригийский колпак, который он никогда не снимал. Пакьяле объявил, что лучше площади Испании в Риме всё равно ничего нет. В этом я был с ним вполне согласен. Я спросил, почему ему так нравится площадь Испании?

– А тут всегда похороны, – сказал Пакьяле.

Глава XXVII. Лето

Весна пришла и ушла, наступило римское лето. Последние иностранцы постепенно исчезали с душных улиц. В опустевших музеях мраморные богини радовались каникулам – им, облеченным лишь в фиговые листочки, жара ничуть не досаждала. Собор Святого Петра дремал под сенью садов Ватикана. Форум и Колизей снова погрузились в свои призрачные сны. Джованнина и Розина побледнели, и вид у них, был усталый, а розы на шляпе мисс Холл совсем

увяли. Мои собаки томились, ища прохлады, а обезьяны под лестницей Тринита-деи-Монти визжали, требуя перемены обстановки. Моя нарядная маленькая яхта ждала в Порто д'Анцио сигнала поднять паруса и отплыть к острову, где был мой дом. А там мастро Никола и его три сына взбирались к парапету часовни и высматривали нас на горизонте. Перед отъездом из Рима я посетил протестантское кладбище у ворот Сан-Паоло. Соловьи всё еще пели для мертвых, которые, казалось, ничуть не тяготились тем, что их навеки оставили в столь прекрасном месте под душистыми лилиями, розами и цветущими миртами. Все восемь детей Джованни слегли с малярией – в те дни в предместьях Рима малярия свирепствовала, что бы ни утверждали путеводители, предназначенные для туристов. Старшая дочь Джованни, Мария, так ослабела от приступов перемежающейся лихорадки, что римское лето должно было неминуемо ее убить. Я сказал об этом ее отцу в предложил взять ее с собой в Сан-Микеле. Сначала он колебался, – бедняки итальянцы очень неохотно расстаются со своими больными детьми и предпочитают видеть, как они умирают дома, лишь бы не отдавать их в больницу. В конце концов он согласился, когда я предложил, чтобы он сам отвез дочь на Капри и убедился, как хорошо о ней будут заботиться мои домашние.

Мисс Холл с Джованниной и Розиной и всеми собаками, как обычно, отправилась в Неаполь на поезде. Я же с павианом Билли, мангустом и маленькой совой отправился на яхте прямо на Капри, и это было чудесное плавание. Мы обогнули мыс Чирчео на восходе солнца, поймали утренний бриз из залива Гаэто, стремительно понеслись мимо Искьи и встали на якорь в бухте Капри, когда колокола вызванивали полдень. Через два часа я уже трудился в саду Сан-Микеле, раздетый почти донага.

Сан-Микеле был уже почти закончен ценой неустанной работы с утра до вечера, которая занимала все летние месяцы в течение пяти лет. Однако в саду предстояло еще много дела. Надо было построить террасу за домом и возвести лоджию над двумя маленькими римскими комнатами, которые мы обнаружили прошлой осенью. Кроме того, я сообщил Никола, что внутренний дворик мы сломаем – он мне больше не нравится. Мастро Никола умолял меня оставить дворик в покое – мы его уже два раза переделывали, и если будем сразу разрушать то, что нами построено, – Сан-Микеле не будет завершен до скончания века. Я объяснил мастро Никола, что лучший способ постройки дома таков: ломай и перестраивай до тех пор, пока твои глаза не скажут тебе, что теперь всё хорошо. Глаза – куда лучшие наставники в архитектуре, чем книги. Глаза не ошибаются до тех пор, пока ты веришь своим глазам, а не чужим. Снова увидев Сан-Микеле, я решил, что он выглядит прекрасней, чем когда бы то ни было. Дом был мал, в нем было немного комнат, но его окружали террасы, лоджии и галереи, с которых можно было смотреть на солнце, на море, на облака. Душе нужно больше пространства, чем телу. В комнатах было мало мебели, но эта мебель была такой, какую нельзя купить за одни только деньги. Ничего лишнего, ничего некрасивого, никаких безделушек, никакого брикабрака.[114] На беленых стенах – несколько картин раннего Возрождения, гравюра Дюрера и греческий барельеф. На мозаичном полу два–три старинных ковра, на столах несколько книг, и повсюду цветы в сверкающих вазах из Фаэнцы и Урбино. Посаженные вдоль дорожки к часовне благороднейшие в мире деревья – кипарисы с виллы д'Эсте – уже выросли и образовали великолепную аллею. А сама часовня, давшая имя моему жилищу, стала наконец моей собственностью. Ей предстояло превратиться в мою библиотеку. По белым стенам тянулись прекрасные старинные хоры, а посередине стоял большой стол из монастырской трапезной, заваленный книгами и терракотовыми обломками. На каннелированной мраморной колонне стоял базальтовый Гор – самое большое из всех изображений этого бога, какие мне доводилось видеть. Его привез из страны фараонов какой-то римский коллекционер – может быть, сам Тиберий. Со стены над письменным столом на меня смотрела мраморная голова Медузы (четвертого века до нашей эры), которую я нашел на дне моря. На флорентийском камине XVI века стояла крылатая Победа. С другой мраморной колонны изувеченная голова Нерона смотрела в окно на залив, где по его приказанию гребцы галеры убили веслами его мать. Над входной дверью сверкал прекрасный цветной витраж XVI века, который Флоренция преподнесла Элеоноре Дузе – она подарила мне этот витраж на память о своем последнем посещении Сан-Микеле. В маленьком склепе на глубине пяти футов над мраморным римским полом мирно покоились два монаха, которых я обнаружил, когда мы закладывали фундамент камина. Они лежали со скрещенными руками, точно так же, как их похоронили почти пятьсот лет назад под их часовней. Рясы совсем истлели, высохшие тела были

[114] **В.Э.:** bric-à-brac – хлам (фр.).

легки, как пергамент, но черты лица хорошо сохранились, руки по-прежнему сжимали распятие, а башмаки одного из них украшали изящные серебряные пряжки. Я не хотел нарушать их покой и снова бережно уложил их в маленьком склепе. Величественная арка с готическими колоннами у входа в часовню была именно такой, какой я хотел бы ее видеть. Где найдешь теперь такие колонны? Стоя у парапета и глядя вниз на остров, я сказал мастро Никола, что мы тотчас же должны начать строить пьедестал для сфинкса – времени терять нельзя. Мастро Никола обрадовался и спросил, почему бы нам для начала не привезти сфинкса сюда – где он сейчас? Я ответил, что он лежит под развалинами забитой императорской виллы где-то на материке. Он лежит там две тысячи лет и ждет меня. Человек в красном плаще рассказал мне про него, когда я в первый раз посмотрел на море с этого места, на котором мы стоим сейчас. А пока я видел сфинкса только в мечтах. Я посмотрел вниз – на мою маленькую белую яхту в гавани у моих ног – и сказал, что сфинкса я, конечно, найду, когда настанет время, но вот как перевезти его на Капри? Он весь из гранита, весит уж не знаю сколько тонн, и на яхту его не погрузишь.

Мастро Никола почесал голову и спросил, кто поднимет сфинкса сюда к часовне. Мы с ним, кто же еще?

Обе римские комнатки под часовней были еще завалены обломками обвалившегося потолка, но стены на высоту человеческого роста сохранились гирлянды цветов и танцующие нимфы на красном фоне, казалось, были написаны вчера.

– Roba di Timberio? – спросил мастро Никола.

– Нет, – ответил я, внимательно разглядывая мозаичный пол, обрамленный изящным узором виноградных листьев из черного мрамора. – Этот пол был сделан раньше, при Августе. Ведь и этот старый император очень любил Капри, и он даже начал строить здесь виллу – бог знает, где именно. Но как бы то ни было, Август, возвращаясь в Рим, умер в Ноле, и вилла осталась недостроенной. Это был великий человек и великий император, но, поверь мне, Тиберий был самым великим из них всех.

Колоннаду уже обвивал молодой виноград. Розы, жимолость и эпомея льнули к белым колоннам. Среди кипарисов внутреннего дворика танцевал фавн, а посреди большой лоджии сидел бронзовый Гермес из Геркуланума. На залитом солнечными лучами дворике перед столовой сидел павиан Билли и искал блох у Таппио, а вокруг лежали остальные собаки, сонно ожидая обычного завершения своего утреннего туалета. Билли ловил блох как никто – ползали они или прыгали, но равно не могли ускользнуть от его бдительного ока. Собаки прекрасно это знали и с большим удовольствием подставляли ему спины. Это был единственный вид охоты, разрешенный законами Сан-Микеле. Смерть наступала мгновенно и почти безболезненно: Билли проглатывал свою добычу прежде, чем она успевала сообразить, что ее ждет. Билли оставил пьянство и стал добропорядочной обезьяной цветущего возраста, слишком уж человекоподобной, но в общем благовоспитанной, хотя в мое отсутствие он нередко начинал проказничать и устраивать всяческие каверзы. Я часто размышлял о том, что на самом деле думали о нем собаки. Пожалуй, они его боялись, – во всяком случае, они всегда отворачивались, если он на них смотрел. Билли же не боялся никого, кроме меня. Я легко угадывал по его лицу, когда его совесть была не чиста – а это случалось постоянно. Впрочем, он, кажется, побаивался мангуста, который целые дни безмолвно рыскал по саду, снедаемый любопытством.

Я уже говорил, что в Билли было что-то весьма человеческое, но в этом он не был виноват, ибо таким создал его бог. Билли отнюдь не был равнодушен к прелестям другого пола и с первого взгляда проникся большой симпатией к Элизе, жене садовника, которая часами могла смотреть на него как завороженная, когда он восседал на своей любимой смоковнице. Элиза, по обыкновению, ждала ребенка, я никогда не видел ее иначе, как в таком состоянии. Эта внезапная дружба с Билли мне почему-то не понравилась, и я даже посоветовал ей смотреть на кого-нибудь другого.

Старый Пакьяле спустился в гавань, чтобы встретить своего коллегу Джованни, могильщика из Рима, который должен был приехать с дочерью на пароходе из Сорренто. Джованни нужно было на следующий день вечером вернуться к своим обязанностям. Он сразу же отправился осматривать оба кладбища острова. Вечером мои домочадцы собирались устроить в честь почтенного римского гостя званый обед на садовой террасе с вином «по потребности».

Колокола часовни прозвонили к вечерне. С пяти часов утра я работал на солнцепеке. Усталый и голодный, я сел за свой простой обед в верхней лоджии, преисполненный благодарности за то, что мне дано было прожить еще один прекрасный день. Внизу, на садовой террасе, мои празднично одетые гости сидели вокруг громадного блюда с макаронами и большого

кувшина с нашим лучшим вином. На почетном месте во главе стола восседал могильщик из Рима, по правую и левую его руку сидели два местных могильщика, далее располагались Бальдассаре, мой садовник, Гаэтано, матрос с моей яхты, и мастро Никола с тремя сыновьями. Беседа была громкой и оживленной. Женщины, по неаполитанскому обычаю, стояли вокруг и восхищенно смотрели на пирующих. Солнце заходило. В первый раз в жизни я испытал облегчение, когда оно наконец скрылось за Искьей. Почему я так ждал сумерек и звезд, я солнцепоклонник, с детства боявшийся темноты и ночи? Почему мои глаза так жгло, когда я устремлял их на сверкающего бога? Он на меня гневался, хотел отвратить свой лик и оставить меня во мраке, меня, который на коленях трудился, воздвигая ему новое святилище? Значит, правду сказал искуситель в красном плаще двадцать лет назад, когда я в первый раз взглянул на чудесный остров, стоя у парапета часовни Сан-Микеле? Значит, правда, что избыток света вреден для человеческих глаз? «Берегись света! Берегись света!» звучало в моих ушах его мрачное предостережение. Я принял его условия, я заплатил назначенную цену: я пожертвовал своим будущим для того, чтобы получить Сан-Микеле. Чего ему еще надо? Какую еще «высокую цену» я должен, по его словам, уплатить прежде, чем умру?

Темная туча внезапно окутала море и сад у моих ног. В ужасе я сомкнул горящие веки...

– Слушайте, друзья! – завопил могильщик из Рима на террасе внизу. Слушайте, что я вам скажу! Вы, крестьяне, видите его, только когда он расхаживает среди вас в этой жалкой деревушке босиком, полуголый, точно вы сами, а вы знаете, что в Риме он разъезжает в коляске, запряженной парой лошадей? Вы знаете, говорят даже, что его приглашали к папе, когда у папы была инфлюэнца. Я говорю вам, друзья, он, и никто другой, – самый главный доктор в Риме. Приезжайте и осмотрите мое кладбище, тогда вы это поймете. Он, он – и никто другой! Что было бы со мной и моей семьей без него, право, уж и не знаю – он наш благодетель! Кому, думаете вы, продает моя жена венки и цветы? Его клиентам. А все эти иностранцы, которые звонят у ворот и дают монетки моим детям, чтобы им открыли, – зачем они приходят, как вы думаете? Что им надо? Конечно, мои дети не понимают, что они говорят, и прежде водили их по всему кладбищу, пока они не находили того, что искали. Но теперь, когда иностранцы звонят у ворот, мои дети сразу догадываются, что им надо, и тотчас же ведут их к его ряду могил, а иностранцы радуются и дают детям лишнюю монетку. Он, он, и никто другой! И каждый месяц он режет в кладбищенской часовне какого-нибудь пациента, чтобы доискаться, чем тот был болен, – и платит мне пятьдесят лир поштучно за то, чтобы я снова уложил покойника в гроб. Я говорю вам, друзья, ему нет равного!

Туча уже рассеялась, море снова засверкало в золотых лучах, мой страх исчез. Сам черт бессилен против человека, который еще может смеяться.

Банкет закончился. Радуясь жизни и выпитому вину, мы разошлись, чтобы уснуть сном праведных.

* * *

Едва я уснул, как увидел, что стою на пустынной равнине, усеянной обломками стен, тесаного туфа и мраморных плит, полускрытых плющом, розмарином, дикой жимолостью и тмином. На развалинах стены римской кладки сидел старый пастух и наигрывал на свирели песенку для своих коз. Его дикое бородатое лицо было обветрено и обожжено солнцем, глаза сверкали из-под кустистых бровей, тощее, исхудалое тело дрожало под длинным синим плащом, какие носят калабрийские пастухи. Я предложил ему табаку – он протянул мне кусок свежего козьего сыру и луковицу. Я с трудом разбирал его речь. Как называется это странное место? Никак.

Откуда он родом?

Ниоткуда. Он всегда жил здесь. Это его родина. Где он ночует?

Старик указал длинным посохом на ступени под обвалившейся аркой. Я спустился по высеченной в скале лестнице и очутился в темной сводчатой каморке. В углу лежали соломенный тюфяк и две овчины, заменявшие одеяло. С потолка и со стен свешивались пучки сушеного лука и помидоров, на грубо сколоченном столе стоял глиняный кувшин с водой. Это было жилище пастуха и его хозяйство. Здесь он прожил всю жизнь и здесь он в один прекрасный день ляжет, чтобы больше не встать. Передо мной вдруг открылся темный подземный ход, наполовину засыпанный обломками обрушившегося свода. Куда од ведет?

Пастух этого не знал – он никогда туда не ходил. Еще мальчиком он слышал, что ход ведет в пещеру, где обитает нечистый дух, который поселился там много тысяч лет назад, – это огромный оборотень, который пожрет всякого, кто отважится проникнуть в пещеру.

Я зажег факел и стал осторожно спускаться по мраморным ступеням. Проход становился всё шире, и мне в лицо ударила струя ледяного воздуха. Я услышал мучительный стон, и кровь застыла у меня в жилах. Вдруг я оказался в большой зале. Две мощные колонны из африканского мрамора еще поддерживали свод, две другие лежали на мозаичном полу, сброшенные с цоколей подземным ударом страшной силы. Сотни больших летучих мышей черными гроздьями висели на стенах, другие метались вокруг моей головы, ослепленные светом факела. Посреди зала, подобравшись, лежал гранитный сфинкс и смотрел на меня каменными, широко открытыми глазами... Я вздрогнул во сне. Видение рассеялось. Я открыл глаза – занимался день. Внезапно я услышал призыв моря, требовательный и властный, как приказ. Я вскочил на ноги, быстро оделся и бросился к парапету часовни, чтобы дать сигнал готовить яхту к отплытию. Часа через два я уже погрузил на мой корабль недельный запас провизии, связку крепких веревок, кирки и лопаты. Еще я захватил револьвер, все мои наличные деньги и связку смолистых факелов, какими пользуются рыбаки при ночной ловле.

Сфинкс на вилле Сан-Микеле (смотрит на рог и город Сорренто)

Через минуту мы поставили парус и понеслись навстречу самому увлекательному приключению моей жизни. На следующую ночь мы бросили якорь в пустынном заливчике, известном лишь немногим рыбакам и контрабандистам. Гаэтано было приказано ждать меня здесь с яхтой неделю, а в случае приближения бури укрываться в ближайшей бухте. Мы хорошо знали этот опасный берег, где на протяжении ста миль нет ни одной надежной стоянки. Я знал и весь этот чудесный край – Великую Грецию золотого века эллинского искусства и культуры, теперь самую пустынную провинцию Италии, отданную во власть малярии и землетрясений.

Три дня спустя я стоял на той самой пустынной равнине, усеянной обломками стен, тесаного туфа и мраморных плит, полускрытых плющом, розмарином, дикой жимолостью и тмином. На развалинах стены римской кладки сидел старый пастух и наигрывал на свирели песенку для своих коз. Я предложил ему немного табаку – он протянул мне кусок свежего козьего сыру и луковицу. Солнце уже исчезло за горами, смертоносный малярийный туман начал медленно затягивать пустынную равнину. Я сказал пастуху, что заблудился и боюсь бродить в темноте по этим диким местам. Не приютит ли он меня на ночь?

Он провел меня в подземную спальню, которую я так хорошо знал по моему сну. Я улегся на овчину и заснул.

Всё это слишком сыгранно и фантастично, чтобы воплотиться в письменном слове, да к тому же если я попытаюсь описать то, что было, вы всё равно мне не поверите. Я и сам не знаю толком, где кончился сон и где началась действительность. Кто привел яхту в эту тихую, скрытую бухту? Кто вел меня по этой дикой безлюдной местности к неизвестным развалинам виллы Нерона? Был ли пастух человеком из плоти и крови или это был сам Пан, вернувшийся на свои любимые поля, чтобы вновь поиграть козам на свирели?

Не спрашивайте меня ни о чем – я не могу вам ответить, я не смею. Спросите у гранитного сфинкса, который лежит, подобравшись, на парапете часовни Сан-Микеле. Но это будет бесслезно. Сфинкс пять тысяч лет хранит свою тайну. Сфинкс сохранит и мою.[115]

* * *

Я вернулся, изнуренный голодом и всякого рода лишениями, сотрясаемый лихорадкой. Один раз я попал в руки разбойников – в те годы Калабрия ими кишела. Меня спасли мои лохмотья. Дважды меня арестовывала береговая охрана как контрабандиста. Несколько раз меня жалили скорпионы, а рука, укушенная гадюкой, была еще забинтована. За мысом Ликозы, где погребена сирена Лейкозия, сестра Партенопы, на нас с юго-запада неожиданно обрушилась буря, и мы, несомненно, отправились бы на дно с нашим тяжелым грузом, если бы Сант Антонио не стал у руля в самую последнюю минуту. Свечи, поставленные перед его изображением в церкви Апакапри с молитвой о нашем спасении, еще горели, когда я вошел в дверь Сан-Микеле. Слух о нашей гибели во время сильной бури уже распространился по острову, и при виде меня все мои домочадцы невыразимо обрадовались. В Сан-Микеле, слава богу, всё благополучно. В Анакапри, как обычно, ничего не произошло и никто не умер. Священник вывихнул щиколотку – одни говорят, что он поскользнулся, спускаясь с кафедры в воскресенье, другие считают, что его сглазил священник Капри – всем известно, что у священника Капри дурной глаз. А вчера утром внизу, в Капри, каноника дона Джачинто нашли мертвым в постели. Он был совсем здоров, когда ложился спать, и умер во сне. Эту ночь он пролежал в пышном гробу перед главным алтарем, а сегодня утром его будут торжественно хоронить, – колокола звонят с самого рассвета. В саду шла обычная работа, разбирая каменную стену, мастро Никола нашел еще одну мраморную голову, а Бальдассаре, копая молодой картофель, нашел еще один глиняный кувшинчик с римскими монетами. Старый Пакьяле, который окапывал виноградник в Дамекуте, отвел меня в сторону с весьма таинственным видом. После того как он удостоверился, что нас никто не подслушивает, он вытащил из кармана разбитую глиняную трубку, почерневшую от табака, – скорее всего собственность какого-нибудь солдата мальтийского полка, который в 1808 году был расквартирован в Дамекуте.

– Трубка Timberio, – объявил старый Пакьяле. Собаки купались каждый день и два раза в неделю получали кости, как и было приказано. Маленькая сова была в хорошем настроении. Мангуст дни и ночи напролет кого-то или что-то разыскивал. Черепахи, казалось, на свой тихий лад тоже были очень счастливыми. А Билли вел себя хорошо?

Да, поспешила заверить меня Элиза, Билли вел себя хорошо – как настоящий ангел.

Когда Билли ухмыльнулся мне с вершины своей смоковницы, он что-то не показался мне похожим на ангела. Против обыкновения, он не спустился с дерева, чтобы поздороваться со мной. Я не сомневался, что он напроказничал, – мне не нравилось его выражение. Так правда ли, что Билли вел себя хорошо? Постепенно я узнал истину. Еще в день моего отъезда Билли бросил морковку в туриста, который проходил под садовой оградой, и разбил ему очки. Турист очень рассердился и сказал, что подаст в Капри жалобу. Во всем виноват сам иностранец, упрямо твердила Элиза. Зачем он остановился и стал смеяться над Билли? Все знают, что Билли сердится, когда над ним смеются.

На следующий день произошла страшная битва между Билли и фокстерьером, в которой приняли участие все остальные собаки, – Билли дрался как дьявол и даже хотел укусить Бальдассаре, который пытался разнять дерущихся. Битва внезапно прекратилась, когда на сцене появился мангуст. Билли прыгнул на дерево, а собаки убежали, поджав хвосты, как убегали всегда при виде маленького мангуста. С тех пор Билли совсем рассорился с собаками и даже перестал ловить у них блох. Сиамского котенка Билли сначала гонял по всему саду, а потом затащил на верхушку дерева и принялся выщипывать у него шерсть. Билли с утра до вечера досаждал черепахам. Аманда, самая большая черепаха, снесла семь яиц величиною с голубиные

---

[115] **В.Э.:** Аксель Мунте, видимо, приобрел статую сфинкса незаконным путем, раз напускает такой туман на способ ее приобретения.

и, по черепашьему обычаю, оставила их на солнце, а Билли разом проглотил все семь яиц. Но хоть вино от него хорошо прятали? Ответом было зловещее молчание. Пакьяле, самый надежный из моих домочадцев, наконец признался, что два раза они видели, как Билли вылезал из винного погреба с бутылкой в каждой руке. Три дня назад были обнаружены еще две бутылки, тщательно зарытые в песок в углу обезьянника. Согласно инструкциям, Билли немедленно был заперт в обезьяннике и посажен на хлеб и воду до моего приезда. На следующий день обезьянник оказался пустым: ночью Билли неведомым образом выбрался на волю – решетка была цела, ключ лежал в кармане у Бальдассаре. Билли тщетно искали по всей деревне, и только сегодня утром Бальдассаре нашел его наконец на вершине горы Барбароссы – он крепко спал, сжимая в кулаке мертвую птицу.

Во время дознания Билли сидел на верхушке дерева и вызывающе поглядывал на меня – несомненно, он понимал каждое слово. К нему требовалось применить самые строгие дисциплинарные меры. Обезьяны, как дети, должны прежде научиться слушаться, и уже потом – приказывать. Билли встревожился. Он знал, что я его господин, знал, что я могу его поймать с помощью лассо, как уже не раз ловил, и знал, что хлыст в моей руке предназначен для него. Это хорошо знали и собаки, которые, усевшись вокруг дерева, с чистой совестью виляли хвостами и радовались – собаки любят присутствовать при экзекуциях, когда наказывают кого-нибудь другого. Вдруг Элиза схватилась с пронзительным криком за живот, и мы с Пакьяле еле-еле успели отвести ее домой и уложить в постель, а Бальдассаре бросился за акушеркой. Когда я вернулся к дереву, Билли исчез, что было лучше и для него и для меня – я ненавижу наказывать животных.

К тому же у меня были другие заботы. Я всегда живо интересовался доном Джачинто и хотел более подробно узнать, как он умер, – как он жил, я знал прекрасно. Дон Джачинто слыл самым богатым человеком на острове, говорили, что его доходы так велики, что он получает двадцать пять лир в час anche quando dorme (даже когда спит). В продолжение многих лет я наблюдал, как он отнимал последние гроши у своих бедных арендаторов, как выгонял их из домов в годы, когда урожай на маслины был плохой и они не могли внести арендную плату, как спокойно позволял им умирать с голоду, когда они, состарившись, уже не могли на него работать. Ни я и никто другой ни разу не слышал, чтобы он кому-то помог. Я чувствовал, что утрачу веру в божественное правосудие на земле, если окажется, что всемогущий бог даровал этому старому кровопийце самую великую милость, которую он может даровать, – позволил ему умереть во сне. Я решил навестить своего старого друга, приходского священника дона Антонио, – он мне, конечно, сможет сообщить то, что я хочу знать, недаром более полувека дон Джачинто был его смертельным врагом. Священник сидел на кровати – его нога была забинтована, лицо сияло. Комната была полна священнослужителей, а среди них стояла Мария Почтальонша и тараторила, захлебываясь от волнения. Ночью церковь Сан-Констанцо загорелась и гроб дона Джачинто сгорел дотла! Один говорят, что сам дьявол опрокинул подсвечник с восковыми свечами, чтобы сжечь дона Джачинто. Другие говорят, что шайка грабителей хотела похитить серебряное изображение самого Констанцо. Однако дон Антонио не сомневался, что свечи опрокинул дьявол: он же всегда говорил, что дон Джачинто кончит адским пламенем.

Рассказ Марии Почтальонши о смерти дона Джачинто казался вполне правдоподобным: дьявол явился канонику в окне, когда тот читал вечерние молитвы. Дон Джачинто позвал на помощь, его отнесли в постель, и вскоре после этого он умер.

Всё это меня крайне заинтересовало, и я решил, что мне следует спуститься в Капри и самому выяснить, как всё произошло. Площадь была заполнена вопящими людьми. В толпе стояли мэр и муниципальные советники, с нетерпением ожидая прибытия карабинеров из Сорренто. На ступенях церкви собрались священники и что-то обсуждали, отчаянно жестикулируя. Церковь заперли до прибытия властей. Да, встревоженно сказал мэр, подходя ко мне, всё это правда. Когда причетник утром открыл церковь, там было полно дыма. Катафалк наполовину обуглился, так же как и гроб, а от бесценного покрова из расшитого бархата и десятка венков от родственников и духовных чад каноника осталась только кучка тлеющего пепла. Три больших канделябра у гроба еще горели, а четвертый был опрокинут кощунственной рукой, по-видимому, чтобы поджечь покров. Пока еще неизвестно, дьявол ли натворил всё это или какие-то злоумышленники, однако, проницательно заметил мэр, тот факт, что все драгоценные камни в ожерелье Сан Констанцо на месте, заставляет его (говоря между нами) склоняться к первой версии. Чем больше я узнавал, тем загадочней становилась тайна. В кафе «Цум Хидигейгей», штаб-квартире немецкой колонии, пол был усеян разбитыми стаканами, бутылками и всякого

рода посудой, а на столе стояла наполовину опорожненная бутылка виски. В аптеке десятки фаянсовых банок с ценными лекарствами и тайными снадобьями были сброшены с полок и плавали в касторовом масле. Профессор Рафаэлло Пармеджано сам показал мне опустошение, произведенное в его новом выставочном зале, лучшем украшении площади. Его «Извержение Везувия», его «Процессия Сан Констанцо», его «Прыжок Тиберия», его «Красавица Кармела» были свалены в куче на полу, рамы сломаны, холст порван. Его «Тиберий, купающийся в Голубом Гроте» еще стоял на мольберте, сверху донизу заляпанный ультрамариновой краской. Мэр сообщил мне, что расследование, произведенное местными властями, пока не дало никаких результатов. От предположения, что это дело рук грабителей, либеральной партии пришлось отказаться, так как ни одна ценная вещь не пропала. Даже два опасных неаполитанских преступника, более года сидевшие в тюрьме Капри, могли доказать свое алиби. Было твердо установлено, что из-за сильного дождя они всю ночь провели в тюрьме, вместо того чтобы, как обычно, после полуночи прогуливаться по селению. К тому же они были добрыми католиками, пользовались всеобщей любовью и уважением и не стали бы затрудняться из-за подобных пустяков.

Клерикальная же партия из почтения к памяти дона Джачинто решительно отрицала участие дьявола в этом происшествии. Так кто же натворил эти гнусные безобразия? Ответ мог быть только один: их давние гражданские враги и соседи – жители Анакапри. Конечно, это их рук дело! И всё становилось на свое место. Анакаприйцы ненавидели каноника и не могли ему простить, что он в своей знаменитой проповеди в день Сан Констанцо высмеял последнее чудо Сант Антонио. Яростная вражда «Цум Хидигейгей» и нового кафе в Анакапри была известна всем. В дни Цезаря Борджа дон Петруччо, аптекарь Капри, хорошенько подумал бы, прежде чем принять приглашение своего коллеги из Анакапри отведать его макарон. Соперничество профессора Пармеджано из Капри и профессора Микеланджело из Анакапри из-за права на «Тиберия, купающегося в Голубом Гроте» перешло в последнее время в ожесточенную войну. Открытие выставочного зала нанесло профессору Микеланджело тяжкий удар, и никто уже не хотел покупать его «Процессии Сант Антонио».

Конечно, Анакапри – вот корень зла!

Долой Анакапри! Долой!

Я сильно встревожился и счел за благо возвратиться восвояси. Я не знал, чему верить. Яростная война, которая началась между Капри и Анакапри еще во времена испанского владычества в Неаполе, и теперь велась с прежним ожесточением. Мэры не разговаривали, именитые граждане ненавидели друг друга, крестьяне ненавидели друг друга, священники ненавидели друг друга, святые патроны Сант Антонио и Сан Констанцо ненавидели друг друга. Я сам был свидетелем того, как за два года до описываемых событий толпа каприйцев плясала вокруг нашей маленькой часовни Сант Антонио, когда большой камень, сорвавшись с горы Барбароссы, разбил алтарь и статую этого святого.

Работы в Сан-Микеле прекратились. Все мои слуги в праздничной одежде отправились на площадь, где играла музыка в честь события – на фейерверк было собрано более сотни лир. Мэр просил передать мне, что надеется увидеть меня на празднике как почетного гражданина Анакапри (я действительно год назад был удостоен этого высокого звания).

Посреди колоннады, рядом с большой черепахой, сидел Билли – он был так поглощен своей любимой игрой, что не заметил моего приближения. Он быстро стучал в заднюю дверь черепашьего домика, откуда торчит хвост. При каждом стуке черепаха высовывала заспанную голову из парадной двери, чтобы посмотреть, в чем дело, и получала от Билли оглушающий удар по носу. Эта игра была строго запрещена законами Сан-Микеле. Билли это хорошо знал и закричал, как ребенок, когда на этот раз я оказался более проворным, чем он, и схватил его. – Билли, – начал я строго, – я намерен наконец потолковать с тобой по душам под твоей любимой смоковницей – нам нужно свести кое-какие счеты. Нечего чмокать губами! Ты прекрасно знаешь, что заслужил хорошую порку и что ты ее получишь. Билли, ты снова напивался! В обезьяннике обнаружены две пустые бутылки, и мы недосчитываемся бутылки виски. Твое поведение во время моего пребывания в Калабрии было отвратительным. Ты разбил морковкой очки туриста. Ты не слушался моих слуг. Ты ссорился и дрался с собаками и даже отказался ловить у них блох. Ты обидел мангуста. Ты был невежлив с маленькой совой. Ты давал пощечины черепахе. Ты чуть не задушил сиамского котенка. И наконец, в довершение всего, ты сбежал из дому в пьяном виде. Жестокость к животным свойственна твоей натуре – иначе ты не был бы кандидатом в человека, однако лишь венец творения имеет право напиваться. Ты мне надоел, и я отправлю тебя обратно

в Америку к твоему прежнему пьянице-хозяину доктору Кэмпбеллу. Ты не достоин приличного общества. Ты позор для твоих родителей! Билли, ты скверный мальчишка, неисправимый пьяница и...

Наступило грозное молчание. Я надел очки, чтобы получше разглядеть ногти Билли, запачканные ультрамарином, и его опаленный хвост, а потом сказал:

– Билли, мне скорее понравилось, как ты отретушировал «Тиберия, купающегося в Голубом Гроте» – картина от этого, несомненно, выиграла. Она напомнила мне полотно, которое я в прошлом году видел в Париже на выставке футуристов. Твой прежний хозяин часто рассказывал мне о твоей незабвенной матери, которая, по-видимому, была необыкновенной обезьяной. Свой талант художника ты, вероятно, унаследовал от нее. Красоту и чувство юмора ты явно получил от отца – после недавних событий уже нельзя сомневаться, что это сам дьявол. Скажи-ка, Билли (я спрашиваю об этом из чистой любознательности), кто опрокинул подсвечник и поджег гроб – ты или твой отец?

Глава XXVIII. Птичье убежище

Внезапное переселение дона Джачинто в иной мир среди дыма и пламени оказало весьма благодетельное влияние на здоровье и расположение духа нашего приходского священника дона Антонио. Его вывихнутая щиколотка быстро заживала, и он уже вновь, по своему обыкновению, являлся утром в Сан-Микеле, чтобы присутствовать при моем завтраке. По неаполитанскому обычаю, я всегда приглашал его разделить мою трапезу, но он неизменно с благодарностью отказывался от предложенной ему чашки чая. Он приходил только для того, чтобы, сидя напротив меня, наблюдать, как я ем. Дон Антонио прежде никогда не видел иностранцев вблизи, и всё, что я делал или говорил, было ему интересно. Он знал, что я протестант, но после двух–трех вялых попыток обсудить этот вопрос мы согласились оставить богословие в покое и не говорить про протестантов. Это была большая уступка с его стороны, так как раз в неделю он с кафедры обрекал всех живых и мертвых протестантов аду, сопровождая свои инвективы страшными проклятиями. Протестанты были специальностью дона Антонио, спасительной соломинкой, за которую он хватался, едва его красноречие начинало иссякать, – право, не знаю, что бы он делал без протестантов! Память доброго старичка была ненадежна, и тонкая нить его рассуждений имела свойство рваться в самый неподходящий момент, и в разгар проповеди вдруг наступало гробовое молчание. Его верные прихожане давно привыкли к этим паузам и, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжали мирно размышлять о своих делах – об оливковых деревьях и виноградниках, о коровах и свиньях. Они прекрасно знали, что последует дальше: дон Антонио звучно сморкался – казалось, что в церкви гремели трубы Страшного суда, – и невозмутимо продолжал:

«Да будут прокляты протестанты! Да будет проклят разбойник Лютер! Пусть дьявол вырвет их проклятые языки, пусть он переломает им все кости и живьем их изжарит! Во веки веков!»

Как-то на пасху я заглянул со своим приятелем в церковь как раз в ту минуту, когда дон Антонио запнулся и наступило обычное долгое молчание. Я шепнул своему другу, что нам сейчас достанется.

– Да будет проклят разбойник Лютер! Да будут прокляты протестанты! Пусть дьявол... – Тут дон Антонио заметил меня, и кулак, который он уже поднял, чтобы сокрушить проклятых еретиков, разжался, священник дружески помахал мне и добавил, извиняясь: – За исключением синьора доктора, конечно, за исключением синьора доктора!

В пасхальное воскресенье я обычно становился у церковных дверей рядом со слепым Чекателло, официальным нищим Анакапри, и мы оба протягивали руку к входящим в церковь, он – за милостыней, я – за птицами в карманах мужчин, в складках черных мантилий женщин, в кулачках детей. Да, в те дни я пользовался большим уважением у жителей селенья, раз они спокойно смирялись с тем, что я мешал им праздновать воскресенье господне в согласии с древним обычаем, освященным почти двухтысячелетней давностью и до сих пор поощряемым духовенством. С первого дня страстной недели в каждом винограднике, под каждым оливковым деревом ставятся силки. Мальчишки с утра до вечера таскают по улице множество птичек, привязанных ниткой за крыло. А в светлое воскресенье этих изувеченных птиц, как символ священного голубя, выпускают в церкви, что должно знаменовать ликование по поводу возвра-

щения Христа на небо. Но птички не возвращаются в небо: они испуганно и беспомощно мечутся под потолком, ломают крылья о стекла и мертвыми падают на пол. На рассвете я обычно влезал на крышу церкви с помощью мастро Никола, который без всякой охоты придерживал лестницу, и разбивал несколько стекол, но всё равно лишь немногим несчастным птицам удавалось выбраться на свободу.

Птицы! Птицы! Насколько счастливее была бы моя жизнь на этом прекрасном острове, если бы я меньше любил их. Весною я радовался, когда видел, как многие их тысячи прилетают на Капри, и с восторгом слушал, как они поют в саду Сан-Микеле. Но наступило время, когда я горько пожалел, что они продолжают прилетать сюда, когда я, если бы мог, подал бы им в море знак лететь дальше с дикими гусями, на мой родной север, где им не грозит опасность от людей. Я узнал тогда, что прекрасный остров – рай для меня – для них был адом. Они обычно прилетали незадолго до восхода солнца. Их единственным желанием было немного отдохнуть после долгого перелета через Средиземное море, – ведь им предстоял еще долгий путь до страны, где они родились и где должны были выводить птенцов. Дикие голуби, дрозды, горлицы, бекасы, перепела, иволги, жаворонки, соловьи, трясогузки, зяблики, ласточки, малиновки – тысячи крохотных певцов отдыхали здесь перед весенними концертами, которые им предстояло дать в молчаливых лесах и полях севера. А через два–три часа они уже беспомощно бились в сетях, коварно расставленных людьми по всему острову – от прибрежных утесов до самых вершин горы Соларо и горы Барбароссы. Вечером их в деревянных ящичках без воды и пищи отправляли на пароходе в Марсель на потребу гурманам в дорогих парижских ресторанах. Это была выгодная охота. Несколько веков продажа пойманных птиц составляла главную статью доходов епископа Капри. «Перепелиный епископ» – называли его в Риме.

А вам известно, каким способом их заманивают в сети? Под сетями в кустах ставят клетки с подменными птицами, которые беспрерывно, автоматически повторяют свой однотонный зов. Они не могут остановиться, они кричат день и ночь, пока не умирают. Задолго до того, как наука хоть что-то узнала о нервных центрах мозга, дьявол сообщил человеку, своему прилежному ученику, о своем страшном открытии: если птице выколоть глаза раскаленной иглой, она будет непрерывно петь. Этот старый способ был известен грекам и римлянам, но и по сей день он применяется на южном побережье Испании, Франции, Италии и Греции. Лишь немногие птицы переживают эту операцию, и всё же это прибыльное дело: на Капри ослепленный перепел в настоящее время стоит двадцать пять лир.

На полтора месяца весной и на полтора месяца осенью весь склон горы Барбароссы от развалин крепости на ее вершине и до стен сада Сан-Микело у ее подножья покрывался сетями. Этот склон считался лучшим местом ловли на всем острове, и нередко за один день там удавалось поймать более тысячи птиц. Гора принадлежала бывшему неаполитанскому мяснику – прославленному специалисту по ослеплению птиц и моему единственному врагу в Анакапри, если не считать доктора. С того времени, как я начал строить Сан-Микеле, между им и мною шла постоянная война. Я обращался в префектуру Неаполя, я обращался к правительству в Риме и всюду получал ответ, что гора принадлежит ему, и право на его стороне. Я испросил аудиенцию у королевы, она улыбнулась мне своей чарующей улыбкой, которая завоевала ей сердца всей Италии, и удостоила меня приглашения к завтраку. Первое, что я прочел в меню, было – «паштет из жаворонков». Я обратился к папе, и толстый кардинал сообщил мне, что на рассвете святой отец в паланкине отправился в сады Ватикана, чтобы наблюдать ловлю птиц силками. Охота была удачной – они поймали более двухсот птиц.

Я соскоблил ржавчину с маленькой двухфунтовой пушки, брошенной англичанами в моем саду в 1808 году, и начал стрелять из нее каждые пять минут с полуночи до восхода солнца в надежде отпугнуть птиц от роковой горы. Бывший мясник подал на меня в суд за то, что я мешаю ему заниматься его законной профессией, и меня оштрафовали на двести лир. Пожертвовав остатками моего сна, я приучил собак лаять всю ночь. Через несколько дней внезапно сдохла моя большая мареммская собака, и я обнаружил в ее желудке мышьяк. На следующую ночь я подстерег убийцу у садовой ограды и сбил его с ног. Мясник снова пожаловался на меня в суд, и я был оштрафован на пятьсот лир за оскорбление действием. Я продал мою прекрасную греческую вазу и любимую Мадонну кисти Дезидерио ди Сеттиньяно, чтобы собрать громадную сумму, которую запросил мясник за свою гору. Цена в сто раз превышала истинную ее стоимость. Когда я явился с деньгами, он принялся за свою старую игру и с усмешкой заявил, что за это время цена удвоилась. Он знал, с кем имеет дело. Мое негодование достигло предела, когда я был способен расстаться со всем своим имуществом,

лишь бы стать хозяином горы. Избиение птиц продолжалось. Я не мог думать ни о чем другом и совсем потерял сон. В отчаянии я бежал из Сан-Микеле и отправился на яхте на Монте-Кристо, чтобы переждать там перелет.

Едва вернувшись, я услышал, что мясник при смерти. Два раза в день в церкви служились мессы о его выздоровлении, по тридцать лир каждая, – он был одним из самых богатых людей в селении. Под вечер пришел священник и именем божьим заклинал меня навестить умирающего. Деревенский врач говорил, что у него воспаление легких, аптекарь уверял, что это апоплексия, цирюльник подозревал солнечный удар, а повитуха – una paura.[116] Сам священник, глубоко веровавший в силу дурного глаза, не сомневался, что больного сглазили. Я отказался пойти к нему. Я сказал, что на Капри лечу только неимущих, а к тому же местные врачи вполне могут справиться с любой из этих болезней. И если я пойду к нему, то на одном условии: пусть он поклянется на распятии, что, выздоровев, не ослепит больше ни одной птицы и продаст мне гору по неслыханной цене, которую назначил месяц назад. Мясник отказался. Ночью его соборовали. На рассвете ко мне снова пришел священник: мясник принял мои условия и поклялся на распятии. Через два часа, я, к ужасу деревенского врача и к вящий славе деревенского святого, выкачал у него из левой плевральной полости пинту гноя. Вопреки моим ожиданиям, больной поправился, и всё селение кричало о чуде.

Гора Барбароссы стала теперь надежным убежищем для птиц. Каждую весну и осень тысячи пернатых странников отдыхают на ее склонах в полной безопасности от людей и зверей. Пока длится перелет, собакам в Сан-Микеле запрещено лаять по ночам, кошки выпускаются из кухни только с колокольчиком на шее, а шалопай Билли сидит под замком в обезьяннике – никогда нельзя знать заранее, что способна натворить обезьяна или мальчишка-школьник.

*

До сих пор я не обмолвился ни единым словом, которое могло бы умалить последнее чудо Сант Антонио, – чудо, ежегодно спасающее жизнь пятнадцати тысячам птиц. Но когда я отправлюсь в мир иной, я думаю шепнуть ближайшему ангелу, что, при всем моем уважении к Сант Антонио, все-таки не он, а я выкачал гной из левой плевральной полости мясника. Потом я попрошу ангела замолвить за меня словечко, если уж этого не сделает никто другой. Наверное, бог любит птиц – иначе он не дал бы им такой же пары крыльев, как своим ангелам.

Глава XXIX. Младенец Христос!

Святая Анна озабоченно покачала головой. Как можно выпускать маленького ребенка на улицу в такой сильный ветер? Да и приличный ли это, по крайней мере, дом, куда несут ее внука? Но мадонна ответила, что беспокоиться нечего: мальчик будет тепло укутан и с ним ничего плохого не случится, а в Сан-Микеле всегда рады детям, так она слышала. И мальчика надо отпустить, раз ему этого хочется, – хоть он и маленький, но умеет постоять на своем, разве не так? Святого Иосифа никто даже и не спрашивал – по правде говоря, с ним не очень считались в семье. Дон Сальваторе, самый молодой из священников Анакапри, взял колыбель из ковчега, причетник зажег восковые свечи, и процессия двинулась.[117] Впереди шел мальчик из хора и звонил в колокольчик, за ним две «дочери Марии» в белых одеждах и голубых покрывалах, а потом причетник с кадилом и наконец дон Сальваторе с колыбелью. Когда они проходили через деревню, мужчины обнажали головы, а женщины поднимали детей повыше, чтобы они могли хорошенько разглядеть царственного младенца, который лежал с золотой короной на голове и серебряной погремушкой-русалкой на шее. Уличные мальчишки кричали: «Бамбино! Бамбино!» В Сан-Микеле все обитатели дома встречали гостя у ворот с розами в руках. Лучшая комната дома была превращена в детскую, украшена цветами, увешана гирляндами из розмарина и плюща. На столе, покрытом нашей лучшей скатертью, горели две восковые свечи, потому что маленькие дети не любят темноты. В углу детской стояла моя флорентийская мадонна и прижимала к сердцу своего собственного младенца, а со стен на колыбель смотрели два ангелочка Луки делла Роббиа и Пресвятая Дева Мино да Фьезоле. С потолка свешивалась лампада – горе тому дому, где она станет мигать или погаснет, ибо это означает, что его хозяин

---

[116] Испуг (итал.).

[117] Возможно, вы не слышали об этом трогательном старинном обычае. Когда я жил в Сан-Микеле, я каждый год принимал «Бамбино» (младенца Христа) – это была величайшая честь. Обычно он оставался в Сан-Микеле на неделю. (*Прим. авт.*).

умрет до истечения года. Рядом с колыбелью лежало несколько нехитрых деревенских игрушек, чтобы Бамбино не было скучно, – облысевшая кукла (единственная уцелевшая игрушка времен детства Джованнины и Розины), деревянный ослик, одолженный старшей дочкой Элизы, погремушка в форме рога, спасающая от дурного глаза. В корзине под столом спала кошка Элизы с шестью новорожденными котятами, специально принесенная сюда ради этого торжественного праздника. В большом глиняном кувшине на полу стоял целый куст цветущего розмарина. А знаете, почему именно розмарина? Когда мадонна стирала белье младенца Иисуса, она повесила сушить его рубашечку на куст розмарина.

Дон Сальваторе бережно опустил колыбель в ковчег и оставил Бамбино на попечение женщин, подробно растолковав им, как надо о нем заботиться, чтобы он ни в чем не нуждался.

Дети Элизы весь день играли на полу возле колыбели, чтобы составить ему компанию, а во время вечерней молитвы мои домочадцы встали на колени перед ней. Джованнина подлила масла в лампаду, все подождали, чтобы дать младенцу уснуть, а потом бесшумно удалились. Когда дом затих, я перед сном поднялся наверх еще раз взглянуть на младенца. Свет лампады падал на колыбель, и было видно, что он улыбается во сне.

Бедное дитя, ты улыбаешься и не подозреваешь, что наступит день, когда мы все, склоняющие колена у твоей колыбели, бросим тебя на произвол судьбы, когда все говорившие, что любят тебя, тебя предадут, когда грубые руки сорвут золотую корону с твоей головы, заменят ее терновым венцом и прибьют тебя к кресту – покинутого всеми, даже богом.

В ночь его смерти угрюмый старик расхаживал по тем самым мраморным плитам, на которых стоял я. Зловещий сон заставил его покинуть ложе.

Его лицо было мрачным, как и небо над ним, а в глазах застыл страх. Он призвал своих звездочетов и магов с Востока и приказал им разгадать его сон, но прежде чем они успели взглянуть на золотые знаки небес, звезды одна за другой стали мигать, тускнеть и гаснуть. Кого было страшиться ему, владыке мира? Что значила жизнь одного человека для него, от которого зависела жизнь и смерть миллионов людей? Кто мог спросить у него ответа за то, что в эту ночь один из его прокураторов казнил невинного именем римского императора? А наместник, чье проклинаемое имя мы еще помним, был ли он виновен более своего царственного повелителя, приговаривая к смерти невиновного? Да и был ли этот приговоренный невиновен в глазах того, кто неукоснительно поддерживал права и престиж Рима в мятежной провинции? А еврей, обреченный еще и теперь бродить по свету в поисках прощения, разве он знал, что делал? Или тот другой, величайший преступник всех времен, поцелуем продавший своего учителя, мог ли он поступить иначе, сделал ли он это по доброй воле? Это должно было случиться, он должен был это совершить, подчиняясь воле более сильной, чем его воля. Разве в ту ночь на Голгофе только один человек принял муки за грех, совершенный не им?

Я постоял еще немного над дремлющим младенцем и тихо, на цыпочках, удалился.

Глава XXX. Праздник Сант Антонио

Праздник Сант Антонио был для Анакапри величайшим днем в году.[118] За несколько недель до него вся деревня уже начинала готовиться к торжеству в честь своего святого. Улицы тщательно подметали, дома, мимо которых должна была проходить процессия, белили, церковь украшали красным шелком и вышитыми коврами, из Неаполя выписывали фейерверк, и, что самое главное, из Торре-Аннунциато приезжал оркестр. Празднование начиналось с прибытием оркестра в канун великого дня. На полпути через бухту музыканты уже трубили во всю мочь – у себя в Анакапри мы их услышать, правда, не могли, зато эти звуки при благоприятном ветре доносились до обитателей ненавистного нижнего селения им на зависть. На пристани музыканты и их громадные инструменты грузились в две большие повозки и отправлялись на гору до того места, где дорога кончалась. Далее они врассыпную карабкались по финикийским ступеням, не переставая трубить в свои трубы. У стены Сан-Микеле их встречали представители муниципалитета. Величественный капельмейстер в великолепном расшитом золотом мундире взмахивал

[118] **В.Э.:** Праздник св. Антония отмечается 13 июня. Это день смерти Антония Падуанского (Sant'Antonio di Padova) – (Фернандо де Буйона, 1195.08.15 – 1231.06.13), сына лиссабонского рыцаря Мартина де Буйона, который стал монахом регулярных каноников, а в 1220 году перешел в орден францисканцев, приняв имя Антоний. Был провинциалом Северной Италии, проповедовал против катаров. Канонизирован сразу после смерти – в 1232 году.

жезлом, и, предшествуемые деревенскими мальчишками, музыканты торжественным маршем вступали в Анакапри. При этом они изо всех сил дули в трубы, кларнеты и гобои, били в барабаны, громыхали тарелками, звонили треугольниками. Вступительный концерт на площади, украшенной флагами и забитой людьми, длился до полуночи.

От недолгого крепкого сна в старых казармах, где в 1806 году спали английские солдаты, музыкантов пробуждал треск первой шутихи, возвещавшей наступление великого дня. В четыре часа, при свежем утреннем ветерке, над селением гремела веселая побудка. В пять часов священник, как всегда, служил обычную утреннюю мессу, но в честь праздника музыканты являлись в церковь на голодный желудок. В семь часов следовал завтрак: черный кофе, полкило хлеба и свежий козий сыр. В восемь часов церковь бывала переполнена до отказа – по одну сторону прохода мужчины, по другую – женщины со спящими детьми на коленях. Посреди церкви, на специально построенном возвышении, – музыканты. Двенадцать священников Анакапри на хорах позади главного алтаря мужественно затягивали «Торжественную мессу» Перголези, надеясь с помощью провидения и оркестра благополучно довести ее до конца. Затем для передышки оркестр, к большому удовольствию прихожан, лихо играл бравурный галоп. В десять часов следовала «Месса Кантата» в главном алтаре: мучительные соло бедного старого дона Антонио в сопровождении протестующих тремоло и визгливых воплей в глубинах маленького органа, сильно одряхлевшего за три века неустанных трудов. В одиннадцать часов проповедь с кафедры в честь Сант Антонио и его чудес, причем каждое чудо иллюстрировалось особым выразительным жестом. Проповедник то вздымал в экстазе руки к святым на небесах, то указывал пальцем в пол, на обитель проклятых душ. Он падал на колени, безмолвно молясь Сант Антонио, и тут же стремительно вскакивал, едва не сорвавшись с кафедры, и ударом кулака поражал невидимого насмешника. Он склонял голову в восторженном молчании, прислушиваясь к сладостным песнопениям ангелов, а затем, побледнев от ужаса, прижимал руки к ушам, чтобы не слышать, как скрежещет зубами дьявол и вопят грешники в котлах. Наконец в поту, измученный двумя часами слез, вздохов и проклятий при температуре в 40°, он призывал последнее проклятие на всех протестантов и в изнеможении падал на пол.

Двенадцать часов. Сильное волнение на площади. Esce la processione! Esce la processione! Процессия выходит! Впереди шествуют крохотные детишки, держась за руки. На некоторых коротенькие рубашонки и крылышки, как у рафаэлевских ангелочков, а другие – совсем нагие, в венках из роз и гирляндах из виноградных листьев, точно они сошли с какого-нибудь греческого барельефа. За ними появляются «дочери Марии» – высокие стройные девушки в белых одеждах и длинных голубых покрывалах. На груди у них на голубой ленте серебряная медаль с изображением Мадонны. За ними следуют bizzocche[119] в черных платьях и покрывалах – высохшие старые девы, оставшиеся верными своей первой любви, Иисусу Христу. Потом шествует со своим знаменем Congrega di Carita[120] – пожилые серьезные мужчины в своеобразных черно-белых одеждах времен Савонаролы. La musica! La musica!

Идет оркестр во главе со своим блистательным капельмейстером музыканты в шитых золотом мундирах тех времен, когда в Неаполе еще правили Бурбоны, оглушительно играют залихватскую польку, которая, насколько я понял, особенно нравится святому покровителю Анакапри. Наконец, окруженный духовенством в парадном облачении под треск шутих появляется Сант Антонио он стоит на своем троне, подняв для благословения руку. Его одежды покрыты бесценными кружевами, усыпаны драгоценностями, обвешаны дарами благодарных прихожан, мантия из великолепной старинной парчи скреплена на груди пряжкой из сапфиров и рубинов. Шею его обвивает ожерелье из разноцветных стеклянных бус – к нему подвешен большой кусок коралла в форме рога, который должен охранять святого от дурного глаза.

Прямо за Сант Антонио, рядом с мэром, шел я, с непокрытой головой и восковой свечой в руке – особая честь, которой я удостоился с разрешения соррентийского архиепископа. Затем шествовали члены муниципалитета, освобожденные на этот день от своих тяжких обязанностей. За ними выступали сливки общества Анакапри: доктор, нотариус, аптекарь, цирюльник, владелец табачной лавки, портной. Потом валил простой народ – матросы, рыбаки, крестьяне, за которыми на почтительном расстоянии следовали их жены и дети. Процессию замыкали десяток собак, две–три козы с козлятами и парочка свиней, отправившиеся на поиски своих хозяев. Выборные церемониймейстеры с позолоченными жезлами в руках шагали по бокам процессии, следя за

[119] Святоши (итал.).
[120] Община милосердия (итал.).

порядком и благолепием. Из окон домов в узких улочках на процессию сыпались охапки душистого дрока – любимого цветка святого. Дрок здесь так и называют «цветок Сант Антонио». Кое-где от окна к окну был протянут канат, по которому при приближении святого, к восторгу толпы, пролетал, громко хлопая крыльями, пестрый картонный ангел. Перед Сан-Микеле процессия остановилась, и святого благоговейно поставили на специально воздвигнутый помост, чтобы он мог передохнуть. Духовенство вытирало пот со лба, оркестр продолжал греметь, как гремел без перерыва уже два часа после выхода из церкви, Сант Антонио благожелательно поглядывал вокруг, мои служанки бросали из окон охапки роз, старый Пакьяле звонил в колокола часовни, а Бальдассаре почтительно приспустил флаг на крыше дома. Для всех нас это был великий день, и все мы несказанно гордились оказанной нам честью. Собаки следили за происходящим с галереи, как всегда чинные и благовоспитанные, хотя немного возбужденные. В саду черепахи продолжали невозмутимо думать свои думы, а мангуст был слишком занят, чтобы поддаться любопытству. Маленькая сова, мигая, сидела на шесте и размышляла о чем-то своем. Нечестивец Билли был заперт у себя в обезьяннике, где он производил адский шум: вопил, бил кружкой по жестяной миске, гремел цепью, тряс решетку и ругался самыми ужасными словами.

Затем Сант Антонио вернулся на площадь, под оглушительный треск хлопушек был водворен в свою нишу, и участники процессии разошлись по домам к своим макаронам. Музыканты уселись пировать в саду гостиницы «Парадизо»: полкило макарон на каждого и сколько угодно вина – и всё за счет муниципалитета. В четыре часа распахнулись ворота Сан-Микеле, и полчаса спустя всё селенье уже было в моем саду – бедные и богатые, мужчины и женщины, подростки и грудные дети, калеки, полоумные, слепые и хромые. Тех, кто не мог идти сам, несли на плечах другие. Только духовенство отсутствовало, хотя и не по своей воле. Измученные долгим хождением, священники сидели на хорах за алтарем, вознося горячие молитвы Сант Антонио, которые он в своей нише, быть может, и слышал, хотя люди, случайно заглядывавшие в пустую церковь, не слышали ничего.

Галерея была из конца в конец уставлена столами, на которых красовались большие кувшины с лучшим вином Сан-Микеле. Старый Пакьяле, Бальдассаре и мастро Никола без устали наполняли кружки, а Джованнина, Розина и Элиза обносили мужчин сигарами, женщин кофе, а детей пирожным и сластями. Оркестр, который местные власти одолжили мне на вечер, без отдыха играл в верхней лоджии. Все двери моего дома были открыты, ни одна не заперта, и все мои сокровища, как всегда, лежали в кажущемся беспорядке на столах, стульях и на полу. Более тысячи человек бродило по всем комнатам, но ничто не пропало, ничья рука не прикоснулась ни к одной вещи.

Когда колокола зазвонили к вечерне, все разошлись в прекраснейшем настроении, но для того и существует вино! Оркестр возвратился на площадь с новыми силами. Двенадцать священников, отдохнувшие, освеженные молитвенным бдением на хорах за алтарем, уже выстроились перед дверями церкви. Мэр, муниципальные советники и сливки общества заняли места на террасе ратуши. Запыхавшийся оркестр взгромоздился со своими инструментами на специально возведенный помост. Простой народ теснился на площади. Величественный капельмейстер поднял палочку, и начался торжественный концерт: «Риголетто», «Трубадур», «Гугеноты», «Пуритане», «Бал-маскарад», избранные неаполитанские песни, польки, мазурки, тарантеллы следовали друг за другом в быстром темпе и без единой паузы до одиннадцати часов, когда к вящей славе Сант Антонио в воздухе вспыхнули ракеты, бенгальские огни, огненные колеса и шутихи – всего на две тысячи лир. В полночь, хотя официальная программа праздника была закончена, ни жители Анакапри, ни музыканты не расходились. Всю ночь в деревне раздавалось пение, смех и музыка. Evviva la gioia! Evviva il Santo! Evviva la musical.[121]

Оркестру предстояло отбыть с первым пароходом в шесть часов утра. По дороге на пристань музыканты, как всегда, остановились на рассвете под окнами Сан-Микеле, чтобы сыграть в мою честь Serenata d'Addio.[122] Я словно теперь вижу, как Генри Джеймс в пижаме выглядывал из окна своей спальни и хохотал. За ночь оркестр значительно сократился в числе и утратил часть своей энергии. Капельмейстер бредил, двое из гобоистов кашляли кровью, фаготист растянул сухожилие, барабанщик вывихнул плечо, у цимбалиста лопнула барабанная перепонка. Еще два музыканта настолько обессилели от эмоций, что их пришлось везти до пристани на осликах. Остальные лежали на спине посреди улицы под моими окнами и трубили

[121] Да здравствует радость! Да здравствует святой! Да здравствует музыка! (итал.).
[122] Прощальную серенаду (итал.).

из последних сил свою жалобную серенаду. Подкрепившись чашкой черного кофе, они безмолвно поднялись на ноги, помахали мне на прощание и, пошатываясь, побрели по финикийским ступеням вниз к пристани. Праздник Сант Антонио окончился.

Глава XXXI. Регата

Был великолепный солнечный день в самом разгаре лета. Британское посольство переехало из Рима в Сорренто. На балконе отеля «Витторио» сидел посланник в морской фуражке и напряженно всматривался сквозь монокль в горизонт, ожидая, когда наконец поднимется бриз и нарушит зеркальное спокойствие залива. В маленькой бухте, у его ног, стояла на якоре его любимая «Леди Гермиона», которой так же не терпелось выйти в море, как и ему самому. Ее строили и оснащали по его чертежам, и он вложил немало таланта в эту одноместную быстроходную яхту. Он любил повторять, что готов переплыть на ней Атлантический океан, и гордился этой яхтой больше, чем любым из своих блестящих дипломатических успехов.

Он целые дни проводил в море, и его лицо стало таким же коричневым от загара, как лица соррентийских рыбаков. Побережье от Чивита-Веккиа до мыса Ликоза он знал не хуже меня. Однажды он предложил мне пройти наперегонки до Мессины и, к своему восторгу, шутя меня побил, несмотря на попутный ветер и бурное море.

Погодите, вот я обзаведусь новым топселем и шелковым спинакером – тогда посмотрим! – сказал я.

Он любил Капри и утверждал, что Сан-Микеле прекраснее всего, что ему доводилось видеть, – а видеть ему довелось многое. О долгой истории острова он знал мало, но с любопытством школьника хотел узнать о ней как можно больше.

Голубой Грот на острове Капри

Я в то время исследовал Голубой Грот. Два раза маэстро Никола вытаскивал меня почти без сознания из знаменитого подземного хода, который, согласно легенде, поднимается внутри скалы вверх на шестьсот футов к вилле Тиберия на плато Дамекуты – название это на самом деле, возможно, всего лишь искаженное Domus Augusta.[123] Я проводил в Голубом Гроте целые дни, и лорд Дафферин часто навещал меня там на своем ялике. После чудесного купания в голубой воде, мы часами сидели у входа в таинственный подземный ход и беседовали о Тиберии и об оргиях, которые он якобы устраивал на Капри. Я объяснил посланнику, что в рассказе о подземном ходе, по которому, согласно легенде, Тиберий спускался в Голубой Грот, чтобы развлекаться с мальчиками и девочками, прежде чем задушить их, истины не больше, чем в прочих грязных сплетнях Светония. Туннель пробит в скале не людьми, а морской водой, медленно в нее просачивавшейся. Я прополз по нему около восьмидесяти ярдов и с риском для жизни убедился, что он никуда не ведет. Грот действительно был известен римлянам, что подтверждается многочисленными остатками стен их кладки. С тех пор остров опустился примерно на шестнадцать футов, и прежний вход в грот оказался ниже уровня моря, хотя и прекрасно виден сквозь прозрачную воду. Небольшое отверстие, через которое он прошел на своем ялике, в те дни было окном, служившим для вентиляции. Грот, конечно, тогда не был голубым и ничем не отличался от других гротов острова. Бедекер неверно указывает, будто Голубой Грот был открыт немецким художником Копишем в 1826 году. Грот был известен еще в XVII веке и назывался «Гротто Градула»; вновь же его открыл в 1822 году Анджело Ферраро, каприйский рыбак, которому за это открытие даже дали пожизненную пенсию.

[123] Дом императора (лат.).

Мрачный же портрет Тиберия в «Анналах» Тацита, объяснял я лорду Дафферину, чистейшей воды легенда, и история совершила тягчайшую ошибку, предав позору память этого великого императора по свидетельству его ожесточенного обвинителя, «клеветника на род человеческий», как назвал его Наполеон. Тацит был блестящим писателем, но его «Анналы» – это исторические новеллы, а не история. Он вставил наудачу эти двадцать строчек об оргиях на Капри для того, чтобы довершить портрет тирана из тиранов по всем правилам риторической школы, к которой он принадлежал. Проследить весьма сомнительный источник, из которого он почерпнул эти гнусные сплетни, оказалось совсем нетрудно. В моем «Психологическом портрете Тиберия» я указывал, что сплетни эти относятся вовсе не к периоду жизни императора на Капри. Тацит сам не верил в пресловутые оргии, так как упоминание о них не мешает ему рисовать Тиберия великим императором и великим человеком, «прекрасной жизни и отличной репутации», говоря его собственными словами. Даже его куда менее умный последователь Светоний предваряет наиболее грязные истории замечанием, что они «едва ли достойны пересказа и уж совсем недостойны веры». До появления «Анналов» (спустя восемьдесят лет после смерти Тиберия) история Рима не знала другого правителя, чья жизнь была бы столь благородной и незапятнанной, как жизнь старого императора. Никто из многочисленных авторов, писавших о Тиберии (а среди них были его современники, которые, несомненно, знали все римские сплетни), ни словом не упоминает об оргиях на Капри. Благочестивый ученый Филон прямо указывает, что, гостя у приемного деда на Капри, Калигула вынужден был вести скромную и простую жизнь. Даже шакал Светоний, забыв мудрое изречение Квинтилиана, что лжец должен иметь хорошую память, пробалтывается о том, что на Капри Калигула, устраивая какую-нибудь эскападу, надевал парик, чтобы скрыться от бдительного взора старого императора. Сенека, суровый судья нравов, и Плиний (оба его современники) говорят об аскетической жизни отшельника, которую Тиберий вел на Капри. Дион Кассий, правда, упоминает про эти грязные сплетни, но сам указывает, что впал тут в необъяснимое противоречие. Даже не всегда пристойный Ювенал говорит о «тихой старости» императора на его любимом острове, где он был окружен учеными друзьями и астрономами. Строгий моралист Плутарх говорит о полном достоинства уединении старого императора в течение десяти последних лет его жизни. Уже Вольтеру было ясно, что история об оргиях на Капри невозможна с психологической точки зрения. Тиберию было шестьдесят восемь лет, когда он удалился на Капри, и вся его прошлая жизнь свидетельствовала о строгой нравственности, которую не ставили под сомнение даже его злейшие враги. Не выдерживает критики версия о старческом маразме, сопряженном с какой-нибудь зловещей манией. Все историки единодушно утверждают, что император до самой смерти на семьдесят девятом году сохранял полную ясность ума. Кроме того, наследственное предрасположение к безумию прослеживается в роду Юлиев, а не Клавдиев. На Капри Тиберий вел жизнь одинокого старика, усталого повелителя неблагодарного мира, горько разочарованного угрюмого идеалиста. Возможно, он стал ипохондриком, но его блестящий ум и тонкое чувство юмора пережили его веру в человечество. Он не верил окружавшим его людям, презирал их, и в этом нет ничего удивительного: ведь его предали почти все, кому он когда-либо доверял. Тацит приводит его слова, когда, за год до удаления на Капри, он отклонил петицию о том, чтобы ему, как Августу, был воздвигнут храм при жизни. Ни у кого, кроме автора «Анналов», этого блистательного мастера сарказмов и тонких намеков, не хватило бы дерзости высмеять эту обращенную к потомству просьбу старого императора о беспристрастном приговоре:

> «Я смертен, сенаторы; и буду доволен, если исполню обязанности человека, долг государя. Беру в свидетели вас и потомство, что во мне нет другого желания. Потомство оценит меня по заслугам, и даже свыше них, если скажет, что я был достоин предков, заботился о ваших делах, был тверд в опасностях, не страшился ненависти, где дело шло о благе общественном. Да будет мой алтарь в сердцах ваших: это лучше и прочнее всех храмов и статуй. Каменный монумент, если суд потомства предаст ненависти того, кому он поставлен, будет попран, как простой надгробный памятник; молю богов, чтобы до конца жизни дали мне спокойный ум, способный обсуждать божественные и человеческие законы. Прошу римских граждан и союзников подарить по смерти мое имя и дела добрым словом и доброю памятью».

Мы вскарабкались наверх к Дамекуте. Старый император знал, что делал, когда выбрал это место для своей самой большой виллы. Если не считать Сан-Микеле, наиболее красивый вид на остров открывается именно с Дамекуты. Я рассказал посланнику, что многие из найденных здесь статуй попали к его коллеге сэру Уильяму Гамильтону, который был британским посланником в

Неаполе во времена Нельсона. Эти статуи находятся в настоящее время в Британском музее. Но их, должно быть, еще много покоится в земле под виноградником – я объяснил, что думаю на следующий год начать серьезные раскопки, так как виноградник принадлежит теперь мне. Лорд Дафферин поднял заржавленную солдатскую пуговицу, валявшуюся среди осколков мозаики и мрамора. Корсиканские стрелки! Да, здесь были расквартированы в 1808 году две сотни корсиканских стрелков, но, к сожалению, главные силы английского гарнизона в Анакапри состояли из мальтийцев, которые в панике отступили, когда французы атаковали их лагерь. Мы посмотрели вниз на утесы Орико, и я показал посланнику место, где высадились французы и откуда они поднялись на отвесную скалу, – мы оба согласились, что это был настоящий подвиг. Да, англичане сражались с обычной храбростью, но должны были под покровом ночи отступить туда, где теперь стоит Сан-Микеле, и там их начальник, майор Хамилл, ирландец, как и он сам, скончался от ран. Его похоронили на кладбище Анакапри. Двухфунтовая пушка, которую его солдаты вынуждены были бросить, когда на следующий день спускались по финикийским ступеням, отступая в Капри, до сих пор лежит у меня в саду. На рассвете французы открыли огонь по Капри с высот горы Соларо – просто невероятно, что им удалось втащить туда пушку. Английский командующий был принужден подписать капитуляцию. Не успели еще просохнуть чернила, как показался английский флот, задержанный штилем у островов Понца. Документ о сдаче был подписан удивительным неудачником, будущим тюремщиком плененного орла на другом острове – сэром Гудзоном Лоу.

Когда мы возвращались через селенье в Сан-Микеле, я показал посланнику маленький дом в саду и сказал, что он принадлежит тетке Красавице Маргариты, признанной красавицы Анакапри. Эта тетка вышла замуж за английского лорда, если не ошибаюсь, его родственника. Да, он хорошо помнил, как, к ужасу всей семьи, его кузен женился на итальянской крестьянке и даже привез ее в Англию, но сам он ее никогда не видел и не знал, что с ней сталось после смерти мужа.

Лорд Дафферин чрезвычайно заинтересовался тетушкой Красавицей Маргариты и попросил меня рассказать о ней поподробнее, добавив, что про ее мужа он знает ровно столько, сколько хотел бы знать. Я ответил, что всё это произошло задолго до моего времени. Я познакомился с ней, когда она уже, давно овдовев, возвратилась из Англии пожилой женщиной. Я мог рассказать ему лишь то, что мне приходилось слышать от старого дона Кризостомо, ее духовника и наставника. Разумеется, она не умела ни читать, ни писать, но, с присущей всем каприйцам восприимчивостью, довольно быстро научилась говорить по-английски. Дону Кризостомо, человеку весьма ученому, было поручено подготовить ее к жизни в Англии и к обязанностям жены лорда – то есть преподать ей несколько уроков по различным предметам, чтобы она могла поддержать светскую беседу. Грацией и прекрасными манерами она, как и все девушки Капри, была наделена от природы. Что до ее красоты, то, по словам дона Кризостомо, она была самой красивой девушкой в Анакапри, а я давно убедился, что в этом вопросе он знаток. Все усилия пробудить в ней интерес к чему-либо, кроме ее родного острова, остались тщетными, и было решено ограничиться историей Капри, чтобы она могла хоть о чем-то говорить со своими новыми родственниками. Она внимательно выслушивала страшные рассказы о том, как Тиберий сбрасывал свои жертвы с Salto di Tiberio,[124] как он исцарапал лицо рыбака клещами омара, как он душил мальчиков и девочек в Голубом Гроте, как его правнук Нерон приказал матросам убить свою мать вблизи острова, как его внук Калигула утопил в Поццуоли тысячи людей. Наконец она сказала на своем неподражаемом диалекте:

– Наверно, все эти люди были очень плохие, – настоящие разбойники.

– Еще бы! – ответил учитель. – Разве вы не слышали, как я сказал, что Тиберий душил мальчиков и девочек в Голубом Гроте...

– А они все умерли?

– Ну конечно! С тех пор прошло почти две тысячи лет.

– Так какое нам до них дело? Оставим их в покое, – сказала она со своей чарующей улыбкой.

На этом закончилось ее образование.

После смерти мужа она вернулась на свой остров и постепенно зажила простой жизнью своих предков, чья родословная была на две тысячи лет древнее родословной ее английского лорда. Мы нашли ее на маленькой, залитой солнцем галерее, она сидела там с четками в руках и

[124] «Прыжок Тиберия» (итал.).

кошкой на коленях – статная римская матрона, величественная, как мать Гракхов. Лорд Дафферин поцеловал ей руку с учтивостью старого царедворца. Английский язык она почти позабыла и вернулась к диалекту своих детских лет, а классический итальянский язык посланника ей был так же непонятен, как и мне.

– Скажите ей, – сказал лорд Дафферин, когда мы собирались уходить, – скажите ей от моего имени, что она столь же истинная леди, как ее лорд был джентльменом.

Не хочет ли посланник познакомиться с ее племянницей Красавицей Маргаритой? Да, хочет, и будет этому очень рад.

Красавица Маргарита встретила нас своей очаровательной улыбкой и угостила лучшим вином дона Антонио – галантный посланник с удовольствием воспользовался правами родственника, звонко поцеловав ее розовую щечку.

Долгожданная регата была назначена на следующее воскресенье по треугольнику – от Капри к Позилипо и в Сорренто, где победитель должен был принять кубок из рук леди Дафферин. Моя прекрасная «Леди Виктория» была чудесной яхтой, построенной в Шотландии из тикового дерева и стали, готовой ко всякой случайности и надежной при всякой погоде, если ею правильно управлять, но что-что, а управлять парусными лодками я умел. Эти две яхты были сестрами и имена свои получили от двух дочерей лорда Дафферина. Наши шансы были примерно равны. При сильном ветре и бурном море я, вероятно, проиграл бы, но при слабом ветре и спокойном море мой новый топсель и шелковый спинакер, несомненно, должны были выиграть кубок. Новые паруса прибыли из Англии, когда я был еще в Риме, и висели в сарае на пристани под присмотром старого Пакьяле, самого надежного и добросовестного из моих слуг. Он сознавал всю важность своей должности: на ночь клал ключ от сарая под подушку и никому не позволял заходить в это святилище. Хотя в последние годы он стал энтузиастом-могильщиком, всё же его сердце принадлежало морю, которое давало ему его нелегкий хлеб еще с тех пор, как он в юности добывал кораллы. В те дни, когда губительное нашествие американцев еще не постигло Капри, все мужчины занимались добычей кораллов в «Барбарии» – у берегов Туниса и Триполи. Это было трудное ремесло, сопряженное с жестокими лишениями и опасностями, – недаром многие его товарищи не вернулись на родной остров. Двадцать лет трудился Пакьяле в море, прежде чем ему удалось скопить триста лир, необходимые тому, кто собрался жениться. Сто лир на лодку и сети, двести лир на кровать, пару стульев и праздничную одежду для венчания, а об остальном позаботится мадонна. Девушка в долгие годы ожидания пряла и ткала полотно, которое она должна была принести в дом. Как и все, Пакьяле унаследовал от отца клочок земли, только это был клочок голых скал у самой воды, на тысячу футов ниже Дамекуты. Год за годом он таскал туда землю в корзине на спине и наконец посадил там несколько виноградных лоз и опунций. Винограда он никогда не собирал, так как молодые гроздья неизменно гибли от соленых брызг и пены, когда дул юго-западный ветер, но зато время от времени он с гордостью дарил мне две–три картофелины – самые ранние на острове. Всё свободное время он проводил внизу на своем участке, скреб тяжелой мотыгой утес или сидел на камне с глиняной трубкой во рту, устремив взгляд на море. Иногда я спускался по склону, такому крутому, что и коза затруднилась бы, куда ей поставить копытце, чтобы навестить Пакьяле, к великой его радости. У самых наших ног находился грот, в который нельзя попасть с моря и который до сего времени почти никому не известен – темный, весь в сталактитах. Пакьяле рассказывал, что в давние времена в этом гроте жил лупоманаро – таинственный страшный волкоборотень, который и по сей день занимает воображение обитателей острова не менее, чем сам Тиберий. Я знал, что окаменевший зуб, найденный мною в песке пещеры, принадлежал какому-то крупному млекопитающему, которое пришло сюда умирать в те времена, когда остров еще соединялся с материком, и что кремни и осколки обсидиана – орудия первобытных людей. Быть может, в гроте обитал кто-нибудь из богов – выходит он на восток, а Митра, бог солнца, часто почитался в здешних местах.

Но теперь мне некогда было исследовать грот – мои мысли были заняты предстоящей регатой. Я послал предупредить Пакьяле, что после завтрака я приду осмотреть новые паруса. Дверь сарая я нашел открытой, но Пакьяле нигде не было. Когда я один за другим начал развертывать паруса, мне стало дурно. В топселе зияла большая дыра, шелковый спинакер, который должен был принести мне победу, был разорван почти пополам, кливер испачкан и превращен в лохмотья. Когда ко мне вернулся дар речи, я стал в ярости звать Пакьяле. Он не приходил. Я выбежал из сарая и наконец разыскал Пакьяле – он стоял, прижавшись к садовой ограде. Вне себя от гнева я поднял руку, чтобы его ударить. Он не уклонился, не издал ни звука и

только, не поднимая головы, раскинул руки. Я не ударил его – я знал, что означает его поза: он пострадал бы безвинно – поникшая голова и раскинутые руки обозначали распятие Христа. Я заговорил с ним так мягко и спокойно, как только мог, но он ничего не ответил и не отошел от ограды. Тогда я положил ключ от сарая в карман и созвал весь дом. Никто не заходил в сарай, никто не мог ничего сказать о случившемся, только Джованнина принялась рыдать, закрыв лицо передником. Я повел ее к себе в комнату и с трудом заставил ее говорить. Жаль, что я не могу слово в слово пересказать трогательную историю, которую она между всхлипываниями поведала мне. Я сам чуть не заплакал при мысли, что я едва не ударил беднягу Пакьяле. Всё произошло два месяца назад, первого мая, когда мы были еще в Риме. Может быть, читатель помнит то знаменитое первое мая, много лет назад, когда во всех странах Европы ожидались социальные перевороты, уничтожение класса имущих и их проклятых богатств. Так, во всяком случае, утверждали газеты, и чем меньше была газета, тем больше была обещанная катастрофа. Самой маленькой газеткой была «Voce di San Gennaro», которую Мария Почтальонша два раза в неделю приносила приходскому священнику, одалживавшему ее всей местной интеллигенции, – вот так в аркадский мир Анакапри проникало слабое эхо мировых событий. Но на этот раз это было отнюдь не слабое эхо, а удар грома с чистого неба, потрясший всё селенье. Первого мая должен был наступить давно предсказанный конец света. Воинство Дьявола, несметные орды Аттилы будут грабить дворцы богачей, жечь и уничтожать их имущество. Воистину настали последние времена, castigo di Dio! Castigo di Dio! С быстротой пожара эта весть разнеслась по Анакапри.

Священник спрятал драгоценности Сант Антонио и церковные сосуды под кровать, сливки общества укрыла движимое имущество в погребах, простой народ, сбежавшись на площадь, требовал, чтобы святого вынули из ниши и пронесли по улицам для отвращения напасти. Накануне рокового дня Пакьяле пошел к священнику и попросил у него совета. Бальдассаре уже побывал там и вернулся успокоенный – священник сказал, что разбойники, конечно, не тронут разбитые камни, глиняные горшки и древности доктора. Бальдассаре может спокойно оставить весь этот хлам на месте. Зато Пакьяле священник объяснил, что раз он отвечает за паруса, то его дело плохо. Если разбойники нападут на остров, они приплывут на лодках, а паруса для моряков – самая ценная добыча. Спрятать их в погребе – опасно, так как моряки любят и хорошее вино. Лучше всего будет, если он унесет их на свой участок под отвесными скалами Дамекуты; это надежное место, так как разбойники, разумеется, не станут спускаться с такой крутизны – не захотят же они ради парусов ломать себе шеи!

С наступлением темноты Пакьяле, его брат и два надежных товарища, вооружившись крепкими дубинами, потащили мои паруса к нему на участок. Ночь выдалась бурная, начался проливной дождь, фонарь потух. И они спускались по скользким утесам, ежеминутно рискуя жизнью. В полночь они добрались до цели и спрятали свою ношу в гроте лупоманаро. Весь день первого мая они просидели на кипе промокших парусов, по очереди неся стражу у входа в пещеру. На закате Пакьяле решил послать своего брата на разведку в селение – тот долго не хотел идти, но, наконец, они согласились, что он поглядит издали, чтобы не подвергаться излишней опасности. Через три часа он вернулся и сообщил, что никаких грабителей не видно и что в селении как будто всё спокойно. На площади собрался народ, перед алтарем горят свечи, а Сант Антонио скоро вынесут на площадь и торжественно возблагодарят за то, что он снова спас Анакапри от верной гибели. В полночь вся компания вылезла из грота и, волоча за собой мои промокшие паруса, стала с трудом карабкаться наверх.

Когда Пакьяле обнаружил, во что превратились паруса, он хотел утопиться, – дочери говорили, что несколько дней и ночей боялись оставить его одного хоть на минуту. С тех пор он очень переменился и всё время молчит. Я сам это заметил и несколько раз спрашивал Пакьяле, что с ним случилось. Задолго до того, как Джованнина закончила свою исповедь, мой гнев совсем исчез. Я тщетно искал Пакьяле по всему селению и наконец нашел внизу на его участке. Он, как всегда, сидел на камне и смотрел на море. Я сказал, что стыжусь того, что поднял на него руку. Во всем виноват священник. А новые паруса мне вовсе не нужны – обойдусь и старыми. На следующий день я думаю надолго уйти в море, он поедет со мной, и мы забудем всю эту историю. Ему известно, как мне не нравится то, что он могильщик, – пусть же он передаст свою должность брату, а сам вернется на море. С этого дня я назначил его матросом на яхту – Гаэтано два раза так напился в Калабрии, что мы чуть-чуть но пошли ко дну, и я всё равно собирался его рассчитать. Когда мы вернулись домой, я заставил Пакьяле тут же надеть новый свитер, только что присланный из Англии. Через всю грудь красными буквами было написано «Леди Виктория»

К.Я.К.К.[125] (королевский яхт-клуб, Клайд). Пакьяле больше не снимал этого свитера – в нем он жил, в нем и умер. Пакьяле был уже стариком, когда я с ним познакомился, но ни он сам, ни его дочери не знали, сколько ему лет. Я тщетно разыскивал запись о его рождении в муниципальной книге. Его забыли с самого начала, но мною он никогда не будет забыт и всегда будет жить в моей памяти – самый честный, чистый душой и бесхитростный человек, какого мне только довелось встретить, кроткий и добрый, как дитя. Его дочери рассказывали мне, что ни им, ни их матери он никогда не сказал ни одного грубого или неласкового слова. Он был добр даже к животным. В карманах у него всегда лежали крошки, чтобы кормить птиц в его винограднике. Он был единственным человеком на острове, который никогда не поймал ни одной птицы и не побил осла. Преданный старый слуга перестает быть слугой. Пакьяле был моим другом, и я считал это честью для себя, так как он был гораздо лучше меня. Хотя он принадлежал к совсем иному миру, почти мне незнакомому, мы прекрасно понимали друг друга. В те долгие дни и ночи, которые мы вдвоем проводили в море, он учил меня многому, о чем я не читал в книгах и не слышал ни от кого другого. Он был скуп на слова – море давно научило его молчанию. Думал он мало – и тем лучше для него. Но его короткие фразы были исполнены поэзии, а архаическая простота его сравнений казалась греческой. Даже многие его слова были греческими, сохранившимися в его памяти с тех дней, когда он огибал эти берега на корабле Одиссея. Когда мы возвращались домой, он по-прежнему работал в моем саду или трудился на своем любимом участке у моря. Мне не нравились эти постоянные прогулки вверх и вниз по крутым обрывам – я считал, что его артерии были уже недостаточно эластичны для подобных упражнений, и он совсем задыхался, когда завершал подъем. В остальном он как будто не менялся, никогда ни на что не жаловался, ел свои макароны с обычным аппетитом, и с рассвета до захода солнца был на ногах. Но однажды он вдруг отказался есть, и какие бы лакомства мы ему ни предлагали, он повторял «нет». Однако он признался, что чувствует себя un poco stanco немного усталым, и несколько дней, казалось, с удовольствием провел на галерее, глядя на море. Затем он заявил, что хочет спуститься к себе на участок, и мне лишь с большим трудом удалось его отговорить. Вероятно, он и сам не знал, почему его так тянет туда, однако я это хорошо понимал. В нем говорил первобытный инстинкт, и ему хотелось одного: уйти от всех, спрятаться за скалой, за кустом или в гроте, лечь и умереть там, где много тысячелетий назад умирали первобытные люди. Около полудня он сказал, что хотел бы лечь в постель – он, который никогда в жизни не ложился днем в постель. Несколько раз я спрашивал, как он себя чувствует. Оп благодарил и говорил, что хорошо. Под вечер я распорядился пододвинуть его кровать к окну, чтобы он мог видеть, как солнце погружается в море. Когда я, после вечерни, вернулся домой, все мои домочадцы, брат Пакьяле и его друзья сидели у него в комнате. Никто их не созывал – я и сам не думал, что конец так близок. Они не разговаривали, не молились, а всю ночь сидели молча и неподвижно. По местному обычаю, все держались в стороне от кровати. Старый Пакьяле лежал совсем тихо и смотрел на море. Всё было просто и торжественно, как и должно быть, когда чья-то жизнь подходит к концу. Пришел священник дать ему последнее причастие. Он велел Пакьяле исповедаться в грехах и попросить у бога прощения. Старик утвердительно кивнул и поцеловал распятие. Священник дал ему отпущение грехов. Всемогущий бог с улыбкой подтвердил это отпущение и сказал, что охотно принимает старого Пакьяле на небо. Я думал, что он уже отправился туда, как вдруг он поднял руку и нежно, почти робко, погладил меня по щеке.

– Siete buono come il mare, – прошептал он.

Добрый, как море! Я привожу здесь эти слова не из самодовольства, а потому, что они меня поразили. Откуда пришли эти слова? Несомненно, что они пришли издалека, как отзвук давно минувшего золотого века, когда еще был жив Пан, деревья в лесу говорили, волны моря пели, а человек прислушивался и понимал.

Глава XXXII. Начало конца

Я находился вдали от Сан-Микеле целый год – какая напрасная трата времени! Я вернулся на один глаз беднее, чем уехал. К чему говорить об этом – вероятно, в предвидении такой случайности в начале жизни мне были даны два глаза. Я вернулся другим человеком. Мне кажется, что теперь я смотрю на мир одним оставшимся у меня глазом под другим углом, чем

[125] **В.Э.:** Lady Victoria R.C.Y.C.

раньше. Я больше не вижу безобразного и низкого – я способен видеть только прекрасное и чистое. Даже окружающие меня люди теперь представляются мне иными, чем раньше. Благодаря странной оптической иллюзии теперь я вижу их не такими, какие они есть, а такими, какими они могли бы быть, такими, какими они хотели бы быть, позволь им это судьба. Слепым глазом я еще различаю множество важно разгуливающих дураков, но они не раздражают меня, как раньше, их болтовня мне уже не мешает – пусть говорят, что хотят. Но дальше этого я еще не пошел – боюсь, мне придется ослепнуть на оба глаза прежде, чем я научусь любить людей. Я не могу простить им жестокость к животным. По-моему, в моем сознании происходит обратная эволюция, которая всё больше отдаляет меня от людей и приближает к Матери Природе и животным. Все эти мужчины и женщины вокруг меня представляются мне теперь далеко не такими важными для мира, как казалось мне раньше. Я чувствую, что напрасно тратил на них время. Я прекрасно мог бы обойтись без них, как они обходятся без меня. Я понимаю, что больше я им не нужен и лучше уйти по-английски, не прощаясь, пока тебя не выставили за дверь. Мне еще надо сделать очень многое, а времени, быть может, остается уже немного. Мои странствования по свету в поисках счастья кончились, моя жизнь модного врача кончилась, моя жизнь на море кончилась. Я навсегда намерен остаться там, где нахожусь теперь, и уже смирился с этим. Но будет ли мне дано остаться даже здесь, в Сан-Микеле? Весь Неаполитанский залив лежит как сверкающее зеркало у моих ног, галерея, лоджии и часовня залиты солнечным светом. Что со мной будет, если я не выдержу этого блеска? Я перестал читать и писать и вместо этого начал петь. Пока всё шло хорошо, я никогда не пел. Еще я учусь печатать на машинке – говорят, это полезное и приятное занятие для одинокого человека с одним глазом. Молоточки машинки бьют по бумаге и по моей голове, оглушая любую появляющуюся в моем мозгу мысль. Впрочем, я никогда не умел думать и всегда прекрасно без этого обходился. От мозга к перу в руке вела удобная торная дорога. И немногие мои мысли, едва я научился азбуке, пользовались только этой дорогой. Не удивительно, что им ничего не стоит заблудиться в этом американском лабиринте рычажков и зубчатых колес! Кстати, я должен предупредить читателя, что отвечаю лишь за то, что писалось моей собственной рукой, а не за то, что создавалось в сотрудничестве с фирмой пишущих машин «Корона»; мне очень любопытно будет узнать, что читателю понравится больше.

Но если я когда-нибудь научусь удерживаться на этом буйном Пегасе, то непременно спою скромную хвалу моему любимому Шуберту, величайшему певцу всех времен, чтобы отблагодарить его за всё, чем я ему обязан. Обязан же я ему всем. Когда я неделю за неделей лежал во мраке, не надеясь, что он когда-нибудь рассеется, я напевал про себя, одну за другой, песни Шуберта, как школьник, который свистит, проходя через темный лес, чтобы убедить себя, что ему не страшно. Шуберту было девятнадцать лет, когда он сочинил музыку к «Лесному царю» Гете и послал ее автору с почтительным посвящением. Я не могу простить величайшему поэту нового времени того, что он не ответил на это письмо и ни словом не поблагодарил человека, который обессмертил его стихотворение, – хотя у него находилось время писать благодарственные письма Цельтеру за весьма посредственную музыку. В музыке Гете разбирался так же плохо, как и в изобразительных искусствах. Он провел в Италии целый год, но ничего не понял в готике, суровая красота ранних итальянских художников оставила его холодным – его идеалом были Карло Дольчи и Гвидо Рени. Даже греческое искусство золотого века не трогало Гете, и он предпочитал ему Аполлона Бельведерского. Шуберт никогда не видел моря, и всё же ни один музыкант, ни один живописец и ни один поэт, за исключением Гомера, не раскрыли так глубоко спокойную красоту моря, его таинственность и его мощный гнев. Он никогда не видел Нила, и всё же первые такты его удивительного «Мемнона» не показались бы неуместными в Луксорском храме. Греческое искусство и литература могли быть ему известны лишь в той мере, в какой ему рассказывал о них его друг Мейерхофер, и всё же «Боги Греции», «Прометей», «Ганимед» и «Фрагменты из Эсхила» – это шедевры золотого века Эллады. Ни одна женщина не любила его, и всё же какой душераздирающий вопль страсти сравнится с «Гретхен за прялкой»? Возможно ли более трогательное самоотречение, чем «Миньона», и более пленительная любовная песнь, чем «Серенада»? Ему шел тридцать второй год, когда он умер, таким же нищим, каким жил. У того, кто написал «К музыке», не было даже собственного рояля! После смерти его имущество – одежда, несколько книг, кровать – были проданы с аукциона за шестьдесят три флорина. В ветхом чемодане под кроватью нашли еще много бессмертных песен, более ценных, чем всё золото Ротшильдов в той Вене, где он жил и умер.

* * *

Снова пришла весна. Ею полон весь воздух. Дрок цветет, мирт набирает почки, виноградные лозы пускают ростки. Цветы повсюду! Розы и жимолость обвивают стволы кипарисов и колонны галереи. Крокусы, дикие гиацинты, фиалки, орхидеи и цикламены распускаются в душистой траве. Ковер колокольчиков и ярко голубого воробейника, такого же голубого, как Голубой Грот, одевает голые скалы. Ящерицы гоняются друг за другом в плюще. Черепахи весело ползают и поют – а вы, наверное, и не знали, что черепахи умеют петь? Мангуст совсем забыл об отдыхе. Маленькая сова хлопает крыльями и словно намерена слетать в римскую Кампанью, навестить старого друга. Барбаросса, большой мареммский пес, куда-то скрылся, и даже дряхлый Таппио, наверное, не отказался бы от небольшой экскурсии в Лапландию. Билли разгуливает под смоковницей, в его глазах вспыхивают лукавые огоньки, и больше всего он похож на фланера, который ищет приключений. Джованнина болтает у садовой ограды со своим загорелым возлюбленным, но тут нет ничего плохого – в день Сант Антонио они обвенчаются. Священная гора над Сан-Микеле полна птиц, которые торопятся на родину строить гнезда и выводить птенцов. Какая для меня радость, что они могут здесь спокойно отдохнуть! Вчера я поднял маленького жаворонка, настолько уставшего от длинного перелета, что он даже не сделал попытки улететь, а тихо сидел на моей ладони, как будто понимая, что это рука друга, а может быть, и земляка. Я спросил, не споет ли он мне перед тем, как улететь, – его песню я люблю больше всех остальных птичьих песен, но он ответил, что ему некогда; он спешит домой, в Швецию, чтобы возвестить весну. Уже более недели в моем саду раздается флейта самца иволги. Недавно я увидел его невесту – она пряталась в лавровом кусте. А сегодня обнаружил их гнездо – чудо птичьей архитектуры. В розмарине у часовни всё время слышится шелест крыльев и звонкий щебет. Я делаю вид, будто ничего не замечаю, но я уверен, что там идет бурный флирт. Какая это может быть птица? Вчера вечером тайна открылась, ибо когда я ложился спать, соловей запел под моим окном серенаду Шуберта:

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir
In den stillen Hain hernieder
Liebchen, komm zu mir.[126]

«Какой красавицей стала Пепинелла, – подумал я, засыпая, – наверное, и Пепинелла...»

В старой башне

I

На этом обрывается повесть о Сан-Микеле, как раз тогда, когда она, наконец, началась – бессмысленный фрагмент! Она завершается шелестом крыльев и птичьим щебетом в весеннем воздухе. Ах! Если бы и бессмысленная история моей жизни так же завершилась пением птиц под моим окном и бездонно синим небом! Не знаю почему, но последние дни я всё время думаю о смерти. Сад еще полон цветов, летают пчелы и бабочки, ящерицы греются на солнце, земля по-прежнему бурлит жизнью. Вчера я слышал, как под моим окном весело распевал запоздавший реполов. Так почему же я думаю о смерти? Бог по своему милосердию сделал Смерть невидимой для человеческих глаз. Мы знаем, что она тут, что она следует за нами по пятам, как тень, и никогда нас не покидает. И всё же мы ее не видим и забываем про нее. А самое странное то, что, приближаясь к могиле, мы думаем о смерти всё меньше. Поистине только бог мог сотворить такое чудо!

Старики редко говорят о смерти, их смутный взор устремлен только в прошлое или на настоящее. Постепенно, по мере того как угасает память, даже прошлое блекнет, и они живут лишь в настоящем. Вот почему старики вовсе не так несчастны, как думает молодежь, – при условии, конечно, что их не терзают телесные недуги. Мы знаем, что мы умрем, – в сущности, только это мы и знаем о своем будущем. Всё остальное лишь догадки, которые в большинстве случаев не оправдываются. Как дети в дремучем лесу, мы бредем по жизни наугад, в счастливом неведении, что с нами будет на следующий день, какие невзгоды должны мы будем переносить и

[126] Песнь моя летит с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкою стопою Ты приди, друг мой. Л. Рельштаб. Serenade. Перевод В. Огарева.

какие нам встретятся приключения перед самым главным из приключений – перед смертью. Время от времени в недоумении мы робко вопрошаем судьбу, но ответа не получаем, так как звезды слишком далеки. Чем скорее мы поймем, что нашу судьбу решаем мы сами, а не звезды, тем будет лучше для нас. Счастье мы можем обрести лишь в самих себе, и напрасно ждать его от других – счастья слишком мало, чтобы им делиться. Горе мы должны переносить в одиночестве – нечестно перелагать его на другого, будь то мужчина или женщина. Каждый из нас должен сам сражаться в своих битвах и держаться до последних сил – ведь мы прирожденные бойцы. Каждого из нас в конце ждет мир – почетный даже для побежденного, если он делал всё, что мог.

Мой бой проигран навсегда. Я изгнан из Сан-Микеле – творения всей моей жизни. Я строил его своими руками, камень за камнем, в поте лица, – я на коленях строил святилище солнцу, чтобы искать там света и мудрости у лучезарного бога, которому я поклонялся всю жизнь. Много раз мои глаза жгло, как огнем, но я не внял этому предупреждению, не захотел поверить, что не достоин жить там, что мое место в тени. Точно лошади, которые возвращаются в горящую конюшню, чтобы погибнуть в пламени, я каждое лето возвращался к ослепительному свету Сан-Микеле. Берегись света! Берегись света!

Наконец я смирился со своей судьбой. Я слишком стар, чтобы бороться с богами. Я укрылся в старой башне, моем последнем оплоте. Данте еще был жив в те годы, когда монахи начали строить башню Материта – полумонастырь, полукрепость, несокрушимую, как скала, на которой она стоит. Как часто с тех пор, как я поселился здесь, в ее стенах раздаются его горькие слова: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria»[127]. Но прав ли он, флорентийский провидец? Правда ли, что нет большей боли, чем в горестные дни вспоминать об утраченном счастье? Я, во всяком случае, с ним не согласен. Не с болью, а с радостью мои мысли возвращаются к Сан-Микеле, где я провел счастливейшие годы моей жизни. Однако сам я стараюсь не бывать там – мне кажется, будто я вторгаюсь в святилище невозвратного прошлого, того времени, когда мир был молод и солнце было моим другом.

Хорошо бродить в мягком полусвете под оливковыми деревьями Материты. Хорошо сидеть и мечтать в старой башне. Ничего другого мне теперь не остается. Башня обращена на запад, туда, где заходит солнце. Скоро оно опустится в море, потом наступят сумерки, потом придет ночь.

Этот день был прекрасен!

II

Последний золотой луч заглянул в готическое окно старой башни, коснулся старинного молитвенника и серебряного распятия XIII века на стене, скользнул по грациозным статуэткам из Танагры, по хрупким венецианским бокалам на столе, по греческому барельефу с нимфами и вакханками, танцующими под звуки флейты Пана, и озарил бледный лик святого Франциска, моего любимого умбрийского святого, написанного на золотом фоне рядом со святой Кларой, держащей в руке лилии. Вот золотой ореол одел спокойные черты флорентийской мадонны, вот выступила из мрака суровая мраморная богиня Артемида Лафрийская с быстрой стрелой Смерти в колчане. Вот сверкающий солнечный диск вновь увенчал изувеченную главу Эхнатона, царственного мечтателя с берегов Нила, сына солнца. За ним стоял Озирис, судья человеческой души, Гор с головой сокола, таинственная Изида и ее сестра Нефтида, а у их ног притаился могильный страж Анубис.

Свет погас, приближалась ночь.

Бог дня, податель света, не можешь ли ты еще хоть немного побыть со мною? Ночь так длинна для мыслей, которые не смеют мечтать об утренней заре. Ночь так темна для глаз, которые не могут видеть звезд! Неужели ты не хочешь уделить мне еще несколько секунд твоей сияющей вечности, чтобы я мог с любовью взирать на прекрасный мир, на любимое море, на плывущие облака, на горделивые горы, на шумящие потоки, на милые деревья, на цветы в траве, на птиц и зверей, моих братьев и сестер в лесу и поле? Оставь мне хоть два–три полевых цветка в моей руке, чтобы радовать мое сердце, хотя бы несколько звезд на небе, чтобы они указывали мне путь!

---

[127] Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена несчастий. Данте, Ад, кн. 5. **В.Э.:** По-моему, это плохой перевод или просто ошибка. Должно быть: «Нет большего страдания, чем время вспоминать счастливое в несчастье».

Если мне больше не суждено видеть черты людей, быть может, ты даруешь мне милость и позволишь иногда на миг увидеть лицо ребенка, преданные глаза собаки? Я глядел на лица людей так долго, я хорошо их знаю, и они меня уже ничему не научат. К тому же они однообразны, если сравнить их с тем, что мне было дано прочесть в таинственном лике Матери Природы. Благостная старая мать, чья морщинистая рука отогнала столько черных мыслей от моего воспаленного лба, не оставляй меня одного во мраке! Я боюсь мрака! Побудь еще немного со мной и расскажи одну–две из твоих чудесных сказок, готовя твоего беспокойного ребенка ко сну вечной ночи!

Светоч мира! Увы, божество и молитвы смертных не достигают твоих небес. Как же может подобный мне червь надеяться на твое милосердие, жестокий, беспощадный солнечный бог, если ты покинул на произвол судьбы даже великого фараона Эхнатона, чей бессмертный «Гимн Солнцу» прозвучал над Нилом за пятьсот лет до того, как раздалась песнь Гомера:

Восходишь – и всё оживает,
Заходишь – и всё умирает.
Ты – жизни мерило и первопричина ее.[128]

И всё же ты без сострадания взирал твоим сверкающим оком на то, как старые боги сбросили в Нил храм твоего величайшего поклонника и сорвали солнечный диск с его чела, царственного сокола с его груди, и как они стерли его ненавистное имя с золотых погребальных покровов, окутавших его тленное тело, – стерли, чтобы его безымянная душа вечно скиталась без приюта по подземному царству.

Через много веков после того, как боги Нила, боги Олимпа и боги Валгаллы распались в прах, твой новый поклонник, святой Франциск Ассизский, кроткий певец «Песни Солнца», воздел руки к твоим небесам, бессмертный бог Солнце, с той же молитвой, с которой я обращаюсь к тебе сегодня. Он просил, чтобы ты не лишал твоего благословенного света его больные глаза, помутневшие от слез и ночных бдений. Покорившись настояниям братии, он отправился в Риети, чтобы посоветоваться с прославленным глазным врачом, и без страха согласился на предложенную им операцию. Когда лекарь положил железный прут на огонь, чтобы накалить его, святой Франциск обратился к огню, как к другу: «Брат огонь! Всемогущий прежде всех других вещей создал тебя, прекрасного, могучего, благолепного и полезного. Будь милосерден ко мне в этот час, будь добрым. Я молю господа, создавшего тебя, дабы он умерил твой жар, чтоб я мог его вытерпеть!»

После того как он произнес молитву над раскаленным железом, он перекрестился и стоял, не дрогнув, пока железо, шипя, вонзалось в его плоть, проводя черту ожога от уха до брови.

«Брат врачеватель, – сказал святой Франциск врачу. – Если недостаточно выжжено, приложи прут еще раз».

Врач, увидев такую силу духа в немощной плоти, поразился и сказал: «Говорю вам, братья, сегодня я увидел поразительные вещи».

Увы! Самый святой из людей молился напрасно и напрасно страдал. Ты оставил il Poverello[129] на произвол судьбы, как и великого фараона! Когда на обратном пути преданные братья опустили носилки с их легкой ношей под оливковым деревом у подножья холма, святой Франциск уже не видел любимые Ассизы, поднимая руку, чтобы благословить селение.

Так как же я, грешник, самый ничтожный из твоих поклонников, могу надеяться на твою милость, равнодушный властитель жизни! Как я смею просить у тебя еще одной милости, после того что ты щедро осыпал меня бесценными дарами! Ты дал мне глаза, чтобы в них сверкала радость и блестели слезы, ты дал мне сердце, чтобы оно билось от страсти и сжималось от жалости, ты дал мне сон, ты дал мне надежду!

Я думал, что вот это были дары. Но я ошибался. Они были мне одолжены на время, и теперь ты требуешь их обратно, чтобы отдать другому существу, которое в свой черед придет из той же вечности, в которую ухожу я. Властитель света, да будет так. Господь дал, господь взял, да будет благословенно имя Господне.

---

[128] «Лирика Древнего Египта», «Художественная литература», М. 1965. Перевод В. Потаповой.
[129] Нищий (итал.). Тут – прозвище св. Франциска Ассизского.

III

Колокола прозвонили к вечерне. Легкий ветер прошелестел в кипарисах за окном, где перед тем щебетали птицы. Голос моря становился тише и тише, и старую башню окутало благостное безмолвие ночи.

Я сидел в своем кресле времен Савонаролы, усталый и жаждущий покоя. Волк спал у моих ног – он почти не отходил от меня ни днем, ни ночью. По временам он открывал глаза – в них светилось столько любви и преданности, что у меня к горлу подступали слезы. Иногда он вставал и клал свою большую голову мне на колени. Знал ли он то, что знал я? Понимал ли он то, что понимал я? То, что приближался час разлуки? Я молча гладил его по голове впервые в жизни я не знал, что ему сказать. Как объяснить ему ту великую тайну, которую я сам себе не мог объяснить?

«Волк, я ухожу далеко, в неизвестную страну. На этот раз ты не сможешь последовать за мной, мой друг. Тебе придется остаться здесь, где ты и я так долго жили вместе, деля радость и горе. Ты не должен грустить обо мне, ты должен меня забыть, как забудут меня все, ибо таков закон жизни. Не беспокойся, мне будет хорошо, и тебе тоже. Я сделал всё, чтобы ты был счастлив. Ты будешь жить там, где жил всегда, и добрые люди будут ухаживать за тобой с той же любовью и заботливостью, как и я. Каждый день, когда колокола прозвонят полдень, ты будешь получать обильный обед, а два раза в неделю – вкусные кости, совсем как раньше. Большой сад, по которому ты привык бегать, останется в твоем распоряжении, и даже если, забыв мой наказ, ты погонишься за чужой кошкой, то и там, где я буду находиться, я посмотрю на это слепым глазом, а другой зажмурю, как делал до сих пор, ради нашей с тобой дружбы. А когда твои ноги откажутся служить тебе, а глаза помутнеют, ты упокоишься под античной колонной, возле старой башни, рядом с твоими товарищами, которые покинули этот мир раньше тебя. А в конце концов, кто знает, может быть, мы с тобой и увидимся? Велики мы или малы – наши шансы равны».

«Не уходи, останься или возьми меня с собою!» – говорили преданные глаза.

«Я иду в страну, о которой я ничего не знаю. Я не знаю, что там случится со мной, и еще менее – что случилось бы с тобою, если бы я тебя взял. Я читал об этой стране удивительные легенды, но они остаются легендами – никто из тех, кто туда ушел, не вернулся, чтобы рассказать нам, что он видел. Только один человек мог бы поведать нам истину, но он был сыном Божиим и вернулся к своему отцу с печатью молчания на устах».

Я погладил большую голову Волка, но мои онемевшие руки уже не чувствовали прикосновения его мягкой шерсти.

Когда я наклонился для прощального поцелуя, в его глазах вспыхнул внезапный страх, он испуганно отпрянул назад и уполз на свой коврик под столом. Я позвал его, но он не пришел. Я знал, что это означает. Я и раньше видел такие вещи, но я думал, что у меня еще есть день или два. Я встал и попробовал подойти к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха, но ноги мне не повиновались, и я вновь опустился в кресло. Я обвел взглядом старую башню. Кругом было темно и тихо, но мне показалось, что я слышу, как Артемида, суровая богиня, достает из колчана быструю стрелу, готовясь поднять лук. Невидимая рука дотронулась до моего плеча. Дрожь прошла у меня по телу. Мне казалось, что я падаю в обморок, но я не чувствовал боли и моя голова оставалась ясной.

«Добро пожаловать, повелительница! Я слышал ночью стук копыт вашего вороного коня. Вы выиграли скачку, так как я вижу ваш темный лик, склоненный надо мной. Вы не чужая мне – мы часто встречались с тех пор, как стояли у одной и той же кровати в палате Святой Клары. Тогда я называл вас злобной и жестокой, сравнивал с палачом, радующимся долгим мукам своей жертвы. В ту пору я еще не знал Жизнь так хорошо, как я ее знаю теперь. Теперь я знаю, что вы милосерднее, чем она, то, что вы берете одной рукой, вы возвращаете другой. Теперь я знаю, что Жизнь, а не вы, порождала ужас в этих широко раскрытых глазах и напрягала мышцы этой тяжко вздымающейся груди, отвоевывая еще один вздох, еще одну минуту мучений. Я же не стану бороться с вами. Если бы вы пришли за мной в дни моей молодости, я не сказал бы так. Тогда я был полон жизни и отчаянно защищался бы, отвечая ударом на удар. Теперь я устал, мои глаза потускнели, тело ослабело, а сердце измучилось, – мне остается только разум, а он говорит, что бороться нет смысла. Поэтому я буду тихо сидеть в своем кресле и предоставлю вам делать то, что вы должны делать. Мне любопытно посмотреть, как вы за это приметесь, – я всегда интересовался психологией. Предупреждаю вас, что я скроен из прочного материала – бейте сильнее, иначе вы можете вновь не достичь цели, как это уже несколько раз случалось, если я не

ошибаюсь. Надеюсь, повелительница, что вы не затаили против меня зла. Боюсь, я доставлял вам много хлопот тогда, на авеню Вилье. Но я не так смел, как притворяюсь, и был бы бесконечно признателен, если бы вы дали мне две–три капли своего напитка вечного сна перед тем, как приступите к делу».

«Я это делаю всегда, и ты должен был бы это знать, ведь ты часто видел меня за работой. Может быть, ты хочешь послать за священником, пока еще есть время? При моем приближении обычно посылают за священником».

«К чему? Священник сейчас ничем не может мне помочь. Мне поздно раскаиваться, ему еще рано меня проклинать, а для вас это, наверное, не имеет значения».

«Мне всё равно. Хорошие и плохие люди для меня одинаковы».

«К чему призывать священника, который скажет мне только, что я родился во грехе, что мои мысли и деяния запятнаны грехом, что я должен во всем раскаяться, от всего отречься. А я лишь в немногом раскаиваюсь и ни от чего не отрекаюсь. Я жил, руководствуясь моим инстинктом, и я считаю, что мой инстинкт был здравым. Я наделал достаточно глупостей, когда пытался полагаться на разум. Виноват был мой разум, и я уже понес наказание. Я хотел бы поблагодарить тех, кто был добр ко мне. Врагов у меня было мало – почти все это были врачи, и они не причинили мне особого зла: я всё равно шел своим путем. Я хотел бы попросить прощения у тех, кому я причинил боль. Вот и всё, а остальное касается бога и меня, но не священника, за которым я не признаю права меня судить».

«Я не люблю ваших священников. Это они научили людей бояться моего приближения, запугав их вечностью и адским огнем. Это они сорвали крылья с моих плеч, обезобразили мое ласковое лицо и, превратив меня в отвратительный скелет, заставили по-воровски красться из дома в дом с косой в руках и танцевать Danse Macabre[130] на стенах их монастырей рука об руку со святыми и грешниками. А я не имею никакого отношения ни к их небу, ни к их аду. Я закон природы».

«Вчера я слышал в саду песню иволги, а на заходе солнца прилетела малиновка и пела под моим окном. Услышу ли я их когда-нибудь?»

«Там, где есть ангелы, там есть и птицы».

«Я хотел бы, чтобы дружеский голос еще раз прочитал мне вслух диалог Платона о бессмертии души».

«Голос был смертен, но слова бессмертны. И ты их услышишь вновь».

«Услышу ли я когда-нибудь вновь моцартовский реквием, и творения моего любимого Шуберта, и титанические аккорды Бетховена?»

«Всё, что ты слышал, было лишь эхом, доносящимся с небес».

«Я готов. Наноси удар, друг!»

«Я не буду этого делать. Я навею на тебя сон».

«А буду ли я видеть сны?»

«Да, всё вообще сон».

«Проснусь ли я?»

Ответа не было.

* * *

«Кто ты, прекрасный юноша? Ты Гипнос, ангел сна?»

Он стоял рядом со мной, задумчивый и прекрасный, как Гений Любви, с венком на кудрях.

«Я его брат, рожденный той же Матерью Ночью. Мое имя Танатос. Я ангел смерти. Это твоя жизнь гаснет с факелом, на который я наступил».

* * *

Мне снился старик, который устало брел по пустынной дороге. Иногда он падал на колени, не в силах идти дальше, ожидая, что кто-то укажет ему путь. Леса и поля, реки и озера уже лежали у его ног, а вскоре и увенчанные снегом горы исчезли в тумане уходящей вниз земли. Вперед и выше вел его путь. Гонимые бурей тучи подхватили его на мощные плечи и понесли с головокружительной быстротой по бесконечности, мерцающие звезды вели его все ближе и ближе к стране, где нет ночи и смерти. Наконец он очутился перед небесными вратами.

Их створки были закрыты. Вечность, день или мгновение провел он коленопреклоненно у порога, надеясь, вопреки надежде, что его впустят. Вдруг, движимые невидимыми руками, огромные врата распахнулись, чтобы пропустить парящую в воздухе фигуру с крыльями ангела и

---

[130] Пляска смерти (франц.).

лицом спящего ребенка. Путник быстро вскочил на ноги и с поспешностью отчаяния проскользнул между створками, когда они уже смыкались перед ним.

– Кто ты, дерзкий, что вторгаешься сюда? – послышался суровый голос.

Передо мной стоял высокий старец в белом одеянии с золотым ключом в руках.

– Ключарь небесных врат, святой Петр, молю тебя, позволь мне остаться!

Святой Петр бросил взгляд на мои бумаги, на жалкий отчет о моей земной жизни.

– Плохо! – сказал святой Петр. – Очень плохо! Как ты попал сюда? Наверное, какая-то ошибка!..

Он внезапно умолк, так как перед нами опустился ангелочек-вестник. Сложив пурпурные крылышки, он поправил короткую тунику, сотканную из паутинок и розовых лепестков, окропленных росой, розовые ножки были обуты в золотые сандалии. Кудрявую головку украшала сдвинутая набекрень шапочка из тюльпанов и ландышей. В его глазах играл солнечный свет, а на губах радость. В руках оп держал сверкающие скрижали, которые с важным видом подал святому Петру.

– Вот они всегда обращаются ко мне, когда попадают в трудное положение! – заворчал святой Петр. – Когда всё ладится, они никакого внимания не обращают на мои предостережения. Скажи им, что я сейчас приду. Пусть без меня не отвечают ни на какие вопросы.

Ангел приложил розовый пальчик к шапочке из тюльпанов, раскрыл пурпурные крылышки и улетел, напевая, как птица.

Святой Петр растерянно и пристально посмотрел на меня. Повернувшись к пожилому архангелу, который, опершись на сверкающий меч, стоял на посту у золотой завесы, он сказал, указывая на меня:

– Пусть постоит здесь до моего возвращения. Он смел, хитер и вкрадчив – смотри не разговорись с ним! У вас у всех есть свои слабости, и твоя мне известна. А в этой душе есть что-то не совсем обычное, – не понимаю, как он вообще сюда попал. Кто знает, не принадлежит ли он к той шайке, которая тебя одурачила и склонила последовать за Люцифером? Будь бдительным, молчи и бодрствуй!

Он ушел. Я поглядел на пожилого архангела, а пожилой архангел поглядел на меня. Я рассудил, что заговаривать мне с ним не следует, но продолжал исподтишка посматривать на него. Вскоре он отстегнул меч и осторожно прислонил его к колонне из ляпис-лазури. На его лице отразилось большое облегчение. Его морщинистое лицо было таким кротким, а глаза лучились такой добротой, что весь мой страх исчез.

– Досточтимый архангел! – робко спросил я. – Долго ли мне придется ждать святого Петра?

– Я слышал трубные звуки в зале суда, – сказал архангел. – Там судят двух кардиналов, которые только что послали за святым Петром, в надежде, что он поможет им оправдаться. Мне кажется, тебе придется ждать недолго, добавил он, усмехнувшись. – Обычно даже святому Игнатию, самому хитрому небесному адвокату, не удается протащить их. Прокурор не менее красноречив. Он был монахом по имени Савонарола, которого сожгли на костре.

– Но высший судия – бог, а не человек, – сказал я, – а бог милостив.

– Да, высший судья – бог, и бог милостив! – повторил архангел. – Но он правит бесчисленными мирами, куда более великолепными и богатыми, чем полузабытая звездочка, с которой явились сюда они.

Архангел схватил меня за руку и подвел к открытой арке. С изумлением увидел я тысячи сверкающих звезд и планет, исполненных жизни и света, совершающих предначертанный им путь в пространстве.

– Видишь вон ту крохотную искорку, тусклую, как огонек догорающей сальной свечки? Это тот мир, откуда пришли эти люди – ползучие муравьи на комке глины.

– Бог создал их мир и создал их, – ответил я.

– Да, бог создал их мир. Он приказал Солнцу растопить замерзшие недра их земли. Он наделил эту землю реками и морями, одел ее грубую поверхность лесами и полями, заселил милым зверьем. Земля была прекрасна, и всё шло хорошо. Потом, в последний день, он сотворил человека. Может, было бы лучше, если бы он почил от дел своих за день до создания человека, а не на следующий день! Наверное, ты знаешь, как это произошло. Однажды древняя обезьяна, разъяренная голодом, принялась корявыми руками мастерить оружие, чтобы убивать других животных. Как могли семидюймовые клыки махайрода противостоять ее заостренным кремням, более острым, чем зубы саблезубого тигра? Что могли поделать серповидные когти пещерного

медведя против ее древесного сука, усаженного шипами, колышками и острыми, как ножи, раковинами? Как могла их дикая сила противостоять ее хитрости, ее силкам, ее ловушкам? Так возник жестокий протантроп, убивающий и друзей и врагов, ужас всего сущего, сатана среди зверей. Распрямив спину над грудами своих жертв, он воздвиг свое запятнанное кровью победное знамя над миром животных и провозгласил себя венцом творения. Естественный отбор выпрямил его лицевой угол, расширил вместилище его мозга. Его гневное и испуганное рычание обогащалось звуками, превращалось в слова. Он приручил огонь. И медленно эволюционировал в человека. Его детеныши высасывали кровь из парного мяса убитых им животных, и дрались между собой, как голодные волчата, за кости, которые он разгрызал своими могучими челюстями и разбрасывал по пещере. Так они вырастали такими же сильными и дикими, как и он, жадными до добычи, готовыми напасть на любое живое существо и пожрать его, будь это даже их молочные братья. Лес содрогался при их приближении, и в зверях укоренился ужас перед человеком. Вскоре опьяненные жаждой убийства люди стали убивать друг друга каменными топорами. Началась кровавая война, которая не кончилась и поныне. Гнев сверкнул в очах бога; он раскаялся, что создал их, и сказал: «Истреблю с лица земли человеков, ибо растленны они и наполнили землю злодеяниями». И он повелел, чтобы разверзлись все источники великой бездны и отворились окна небесные, дабы поглотить людей и землю, которую они осквернили кровавыми преступлениями. Ах! Если бы он утопил их всех! Но в своем милосердии он повелел их миру вновь вынырнуть омытым чистыми водами потопа. Однако проклятие по-прежнему таилось в семени той горсти людей, которой он позволил спастись в ковчеге. Снова начались убийства, развязалась бесконечная война. Бог взирал на это с безграничным долготерпением, не желал карать, до конца готовый прощать. Он даже послал своего сына в злобный мир, чтобы научить людей кротости и любви. Он молился за них, но ты знаешь, что они с ним сделали. Бросив вызов небесам, они вскоре предали весь свой мир адскому пламени. С сатанинской сноровкой они создавали всё новое оружие, чтобы убивать друг друга. Они обрушивали смерть с неба на жилища, они отравляли животворящий воздух испарениями ада. Рев их битв сотрясает всю их землю. Когда небо окутано покровом ночи, мы отсюда видим, что даже свет их звезды стал красным, как кровь, и мы слышим стоны их раненых. Один из ангелов, стоящих у престола Божия, говорил мне, что каждое утро глаза мадонны красны от слез, а рана в боку ее сына вновь кровоточит.

– Но как же бог – ведь он бог милосердия – позволяет этим мукам длиться? – спросил я. – Как может он спокойно слушать эти крики боли?

Пожилой архангел боязливо осмотрелся, не услышит ли кто-нибудь его ответа.

– Бог стар, и сердце его устало, – прошептал он, словно страшась собственных слов. – Его приближенные полны такой бесконечной любви к нему, что не решаются нарушать его покой и не говорят ему об этих бесконечных ужасах и страданиях. Часто он просыпается от своей тяжелой дремоты и спрашивает, что вызывает оглушающий гром, доносящиеся до его ушей, и вспышки зловещего света, пронизывающие ночь. А приближенные отвечают, что грохот – это голос его собственных туч, а свет – это вспышки его собственных молний. И он снова смыкает усталые веки.

– Так лучше, достопочтенный архангел, так лучше! Если бы его глаза увидели то, что видели мои, и его уши услышали то, что слышали мои, он вновь раскаялся бы, что создал людей. Вновь он повелел бы разверзнуться источникам глубин и уничтожить людей. На этот раз он утопил бы их всех и в ковчеге оставил одних животных.

– Бойся гнева Господня!

– Я не боюсь бога. Но я боюсь тех, кто некогда были людьми: суровых пророков, отцов церкви, святого Петра, который строгим голосом приказал мне ждать здесь его возвращения.

– Я сам немного боюсь святого Петра, – признался престарелый архангел. – Ты слышал, как он упрекнул меня за то, что я дал себя прельстить Люциферу? Сам бог меня простил и позволил мне вернуться на небо. А разве святой Петр не знает, что простить – значит, забыть! Ты прав, пророки суровы. Но они справедливы, они просвещены богом и говорят его голосом. Отцы же церкви могут лишь читать мысли других людей в тусклом свете смертных глаз, и потому их голоса – человеческие голоса.

– Ни один человек не знает другого. Как могут они судить то, чего они не знают и не понимают? Я хотел бы, чтобы среди моих судей был святой Франциск. Я любил его всю жизнь, а он знает и понимает меня.

– Святой Франциск никогда никого не судил, он только прощал, как сам Христос, который вложил свою руку в его руку, как будто они братья. Святой Франциск редко появляется в зале суда, там, где ты будешь вскоре стоять. Да его там и не очень любят. Многие мученики и святые завидуют его священным стигматам, и не один небесный вельможа чувствует себя неловко в своем сверкающем одеянии, осыпанном золотом и драгоценными камнями, когда среди них появляется il Poverello в рваной сутане, превратившейся в лохмотья от долгой носки. Мадонна штопает ее и ставит на нее заплатки; она считает, что дарить ему новую не имеет смысла, он всё равно ее кому-нибудь отдаст!

– Если бы я только мог его увидеть! Я задал бы ему вопрос, который задавал себе всю жизнь. Наверное, ответа не знает никто, кроме него. Но, может быть, ты мне ответишь, мудрый старый архангел? Куда идут души безгрешных животных? Где их рай? Я хотел бы это знать, потому что... потому что...

Больше я не посмел ничего сказать.

«В доме отца моего обителей много», – сказал Христос. Господь, создавший всех животных, позаботился и об этом. Небеса велики и вместят всех...

– Слушай! – прошептал старый архангел и указал на открытую арку. Слушай!

Чудесная мелодия арф и детских голосов донеслась до меня, когда я заглянул в небесные сады, напоенные ароматом неземных цветов.

– Подними глаза и смотри, – сказал архангел, почтительно склоняя голову.

Еще до того как мои глаза увидели священный бледно-золотой нимб, который обрамлял ее чело, мое сердце ее узнало. Каким все-таки несравненным художником был Сандро Боттичелли! Она шла совсем такая, какой он ее столько раз изображал, – юная, чистая и всё же с нежной материнской заботливостью во взоре. Ее сопровождали увенчанные цветами молодые женщины с улыбающимися губами и девическими глазами – нескончаемая весна! Ангелочки с пурпурными и золотыми крылышками поддерживали края ее одежд, другие расстилали у ее ног ковер из роз. Святая Клара, подруга святого Франциска, что-то шепнула Мадонне на ухо, и мне даже показалось, что Матерь божия, проходя мимо, обратила взор на меня.

– Не бойся ничего! – шепнул архангел. – Мадонна тебя видела, она тебя вспомнит в своих молитвах!

– Святой Петр что-то медлит, – сказал архангел. – Ему приходится выдерживать трудный бой против Савонаролы для спасения своих кардиналов!

Приподняв край золотой завесы, он заглянул в галерею.

– Видишь вон ту ласковую душу мужчины в белом одеянии и с цветком за ухом? Я часто болтаю с ним. Его здесь все любят, так он прост и детски чист. Я подчас с удивлением наблюдаю за ним: он всегда ходит один, поднимает с пола ангельские перышки, вяжет из них метелочки, и, когда он думает, что его никто не видит, он наклоняется и смахивает звездную пыль с золотого пола. Он, кажется, сам не понимает, зачем он это делает. Хотел бы я знать, кем он был при жизни. Он явился сюда совсем недавно и, может быть, сумеет рассказать тебе о последнем суде?

Я взглянул на душу в белом одеянии – это был мой друг Арканджело Фуско, подметальщик улиц из квартала итальянских бедняков в Париже! То же смирение в бесхитростных глазах, тот же цветок за ухом – роза, которую он рыцарским жестом южанина преподнес графине в тот день, когда я привез ее, чтобы раздать куклы детям Сальваторе.

– Дорогой Арканджело Фуско! – сказал я, протягивая моему другу обе руки. – Я всегда знал, что ты попадешь сюда!

Он посмотрел на меня с безмятежным равнодушием, словно не узнав.

– Арканджело Фуско, разве ты меня не узнаешь? разве ты забыл меня? Забыл, с какой любовью ты день в ночь ухаживал за детьми Сальваторе, когда у них был дифтерит, как ты продал свой праздничный костюм, чтобы заплатить за гроб старшей девочки, которую ты так любил?

Тень боли прошла по его лицу.

– Я не помню.

– О мой друг, какую огромную тайну ты мне открываешь этими словами. Какой груз ты снимаешь с моей души! Ты не помнишь! Но почему помню я?

– Может быть, ты не умер? Может быть, тебе только снится, что ты умер?

– Я всегда был сновидцем. Но если это только сон, то он чудеснее всех прежних моих снов.

– Может быть, твоя память крепче моей и еще живет, даже отдельно от тела. Не знаю. Я этого не понимаю. Слишком сложно для меня. Я ни о чем не спрашиваю.

– Потому-то ты и здесь, мой друг! Но скажи мне, Арканджело Фуско, неужели здесь никто не помнит о своей земной жизни?

– Они говорят, что нет. Они говорят, что помнят только те, кто попадает в ад. Оттого он и называется адом.

– Но скажи мне, по крайней мере, был ли суд очень суров? Были ли судьи строги?

– Сначала они мне показались очень строгими и я даже задрожал, потому что боялся, как бы они не начали расспрашивать меня про неаполитанского сапожника, который украл у меня жену и которого я заколол собственным ножом. Но, к счастью, про сапожника они ничего не спросили. Они только спросили, касался ли я когда-нибудь золота, а я ответил, что у меня в руках бывали только медяки. Они спросили, копил ли я какие-нибудь сокровища, а я ответил, что у меня не было ничего, кроме рубашки, в которой я умер в больнице. Тогда они кончили спрашивать и впустили меня сюда. Тут ко мне подошел ангел с большим пакетом. «Снимай свою старую рубашку и надевай свой праздничный костюм», – сказал ангел. Верьте – не верьте, а это был мой праздничный костюм, который я продал, чтобы заплатить гробовщику, но только ангелы расшили его золотом и жемчугом. Ты меня в нем увидишь в воскресенье, если еще будешь здесь. Потом подошел ангел с большой копилкой и сказал: «Открой, это твои сбережения. Тут все медные монеты, которые ты раздал людям, столь же бедным, как и ты. Всё, что вы раздаете на земле, сохраняется для вас, а всё то, что вы себе оставляете, пропадает». Только в копилке не было ни одного медяка – все они превратились в золото. Послушай-ка! – добавил он тихо, чтобы нас не слышал архангел. – Я не знаю, кто ты, но мне кажется, что тебе приходится туго, – так ты не обижайся, а бери из моей копилки сколько захочешь. Я сказал ангелу, что не знаю, что мне делать с этими деньгами, а он сказал, чтобы я отдал их первому нищему, которого встречу.

– Если бы я следовал твоему примеру, Арканджело Фуско, мне не было бы теперь так плохо. Но я никому не дарил своего праздничного костюма и потому я сейчас в лохмотьях. Меня всё же несколько успокаивает то, что они не стали тебя расспрашивать о неаполитанском сапожнике, которого ты отправил на тот свет. Только богу известно, за жизнь скольких сапожников должен был бы отвечать я, после того как я тридцать лет был врачом!

Незримые руки раздвинули золотой занавес, и перед нами предстал ангел.

– Пришел твой час явиться перед твоими судьями, – сказал старый архангел. – Проникнись смирением и молчи. Главное – молчи! Помни, именно слова вызвали мое падение, и если не хочешь погибнуть, то не давай воли языку.

– Погоди-ка! – прошептал Арканджело Фуско, хитро мне подмигивая. Лучше не рисковать. Я бы на твоем месте не стал упоминать про тех сапожников, о которых ты тут говорил. Я ведь ничего не сказал про моего сапожника, раз меня о нем не спросили. В конце концов, может быть, они о нем и не знали! Chi lo sa?[131]

*

Ангел взял меня за руку и повел по галерее в залу суда, обширную, как та зала, в которой некогда судил Озирис. Колонны из яшмы и опала с золотыми капителями в виде лотоса и столпы солнечных лучей поддерживали свод, усеянный звездами.

Я поднял голову и увидел мириады мучеников и святых в белых одеждах, отшельников, анахоретов и столпников с дикими, обожженными нубийским солнцем лицами, с покрытыми волосами исхудалыми телами, строгих пророков с длинными, ниспадающими на грудь бородами, святых апостолов с пальмовыми ветвями в руках, патриархов и отцов всех церквей и вероучений, нескольких пап в сверкающих тиарах и двух–трех кардиналов в красных мантиях. Передо мной полукругом сидели мои судьи, суровые и недоступные жалости.

– Плохо! – сказал святой Петр, вручая им мои бумаги. – Очень плохо.

Святой Игнатий, великий инквизитор, поднялся и заговорил:

– Его жизнь запятнана отвратительными грехами, его душа темна, его сердце нечисто. Как христианин и святой, я требую его проклятия, и пусть дьяволы терзают его тело и душу во веки веков.

Шепот одобрения прокатился по залу. Я поднял глаза и посмотрел на своих судей. Они смотрели на меня в суровом молчании. Я опустил голову и ничего не ответил, вспоминая

[131] Кто знает? (итал.).

предостережение архангела, да к тому же я не знал, что мне говорить. Вдруг я заметил в глубине зала маленького святого, который взволнованно кивал мне головой. Затем он робко пробрался между важными святыми к двери, где стоял я.

– Я тебя хорошо знаю, – сказал маленький святой, его кроткие глаза приветливо смотрели на меня. – Я видел, как ты шел сюда. – Приложив палец к губам, он тихо добавил: – И я видел, как бежал за тобой твой верный друг.

– Кто ты, добрейший отец? – прошептал я.

– Я святой Рох, покровитель всех собак. Я был бы рад тебе помочь, но здесь я маленький святой и они меня не послушают, – прошептал он, покосившись на пророков и патриархов.

– Он был неверующим, – продолжал святой Игнатий, – злоязычным насмешником, лжецом, шарлатаном, колдуном, блудником...

Кое-кто из старых пророков навострил уши.

– Он был молод и горяч, – возразил святой Павел. – Лучше не...

– Старость его не исправила, – пробормотал какой-то отшельник.

– Он любил детей, – сказал святой Иоанн.

– Но и их матерей тоже! – пробурчал себе в бороду какой-то патриарх.

– Он был усердным врачевателем, – сказал апостол Лука, святой медик.

– Небо полно его пациентами, да и ад тоже, насколько я слышал, возразил святой Доминик.

– У него хватило дерзости привести сюда свою собаку. Она сидит и ждет своего хозяина у небесных врат, – сообщил святой Петр.

– Ну, ей недолго придется его ждать, – прошипел святой Игнатий.

– Собака у небесных врат?! – гневно вскричал угрюмый старый пророк.

– Кто это? – спросил я у покровителя собак.

– Ради бога, молчи! Помни предостережение архангела! Мне кажется, это пророк Аввакум.

– Если Аввакум сидит среди судей, то я пропал. Il est capable de tout,[132] как сказал Вольтер.

– Собака у небесных врат! – ревел Аввакум. – Собака! Нечистое животное!

Этого я снести не мог!

– Собака вовсе не нечистое животное! – крикнул я, бросая яростный взгляд на Аввакума. – Она создана тем же богом, что и ты и я. Если для нас есть небо, то должно быть небо и для животных, хотя вы, свирепые старые пророки, в вашей бездушной безгрешности о них совсем забыли. Как, впрочем, и вы о них забыли, святые апостолы! – продолжал я, всё более и более теряя голову. – Ведь вы в своих евангелиях не записали ни одного слова господнего в защиту наших безъязычных братьев!

– Святая церковь, к которой я принадлежал на земле, никогда не интересовалась животными, – прервал папа Анастасий. – И на небе мы не желаем о них слышать. Богохульник и глупец! Чем думать об их душах, подумай лучше о своей душе, черной душе, которая сейчас будет вновь ввергнута в ту тьму, из которой она явилась.

– Моя душа явилась с небес, а не из того ада, который вы устроили на земле. Да, в ваш ад я не верю!

– Ты скоро поверишь в него, – задыхался великий инквизитор, и в его глазах заплясали отблески невидимого пламени.

– Кара божия на нем! Он безумен! Безумен! – раздался чей-то голос.

Крик ужаса пронесся по судилищу: «Люцифер, Люцифер! Сатана среди нас!»

Моисей поднялся со своего седалища, громадный, разгневанный, со скрижалями завета в жилистых руках. Его глаза метали молнии.

– Какой у него сердитый вид! – в ужасе шепнул я святому покровителю собак.

– А он всегда сердится, – испуганно ответил святой.

– Довольно разговоров об этой душе! – гремел Моисей. – Голос, который я слышал, исходил из злопыхающих уст Сатаны. Человек или дьявол – прочь отсюда! Иегова, бог Израиля, порази его своей рукой, сожги его плоть, испепели кровь его в жилах. Переломай все его кости! Изгони его с небес и с земли, низвергни в ад, из которого он явился!

---

[132] Он способен на всё (франц.).

– В ад, в ад! – раздавалось, как эхо, по просторам зала.

Я попытался что-то сказать, но не мог. Мое сердце оледенело, я чувствовал, что покинут богом и людьми.

– Если всё кончится плохо, о собаке я позабочусь, – шепнул мне маленький святой.

И вдруг в грозной тишине я услышал птичий щебет. На мое плечо бесстрашно опустилась малиновка и запела:

– Ты спас мою бабушку, мою тетку, мою невестку и трех моих братьев и сестер от мучений и смерти на скалистом острове! Привет тебе, привет!

Тут жаворонок клюнул меня в палец и прощебетал:

– Я встретил в Лапландии птичку мухоловку, и она рассказала мне, что мальчиком ты вылечил крыло кому-то из ее предков и отогрел птичку у твоего сердца. А когда ты потом раскрыл руку, чтобы выпустить ее на волю, ты ее поцеловал и сказал: «В добрый путь, маленькая сестрица, в добрый путь!» Привет тебе, привет!

– Помоги мне, маленький брат, помоги!

– Я попробую, попробую, – пропел жаворонок и с веселой трелью улетел. Я попробую!

Я следил за тем, как он летел к голубым холмам, которые виднелись в глубине готической арки. Как знакомы мне были эти холмы по картинам Фра Анджелико! И серебристо-зеленые оливковые деревья, и темные кипарисы, выделяющиеся на мягкой голубизне вечернего неба. Я услышал, как зазвонили колокола Ассизы, и увидел его – кроткий умбрийский святой медленно спускался по извилистой горной тропе между братом Лео и братом Леонардо. Легкокрылые птицы порхали и пели вокруг – одни клевали крошки с его ладони, другие безбоязненно укрывались в складках его сутаны. Святой Франциск молча встал рядом со мной и посмотрел на моих судей своими дивными глазами, чей взгляд обезоруживал и бога, и людей, и зверей.

Моисей опустился на свое седалище, и десять скрижалей завета выпали у него из рук.

– Всегда он! – пробормотал он с горечью. – Всегда он, слабый мечтатель со свитой из птиц, и нищих, и отверженных! Такой слабый и всё же достаточно сильный, чтобы удерживать твою карающую руку, господи! Разве ты уже не Иегова, ревнивый бог, явившийся в дыму и в пламени на горе Синайской и ввергший в трепет народ израильский? Разве не твой гнев заставлял меня потрясать жезлом возмездия, уничтожая траву на полях, ломая деревья, для того чтобы всё погибло – и люди и скот? Разве не твой голос вещал через мои десять заповедей? Кто теперь будет бояться сверкания твоих молний, господи, когда гром твоего гнева смолкает перед щебетаньем птицы!

Моя голова склонилась на плечо святого Франциска. Я был мертв и не знал этого.

Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате А4, но позже главной формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы **имеете право** копировать, пересылать по электронной почте, помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, **запрещено** любое коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и **запрещена** любая модификация этих файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.

В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представительствами Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – http://vecordija.blogspot.com/; для латышских книг – http://vekordija.blogspot.com/.

Оглавление

VEcordia 1
Извлечение R-MUNTE 1
Аксель Мунте 1
Легенда о Сан-Микеле 1
Легенда о Сан-Микеле 3
Предисловие автора 3
Глава I. Юность 5
Глава II. Латинский квартал 13
Глава III. Авеню Вилье 16
Глава IV. Модный врач 21
Глава V. Пациенты 25
Глава VI. Шато-Рамо 30
Глава VII. Лапландия 42
Глава VIII. Неаполь 53
Глава IX. Снова в Париже 60
Глава X. Der Leichenbegleiter 64
Глава XI. Мадам Рекэн 70
Глава XII. Великан 71
Глава XIII. Мамзель Агата 73
Глава XIV. Виконт Морис 76
Глава XV. Джон 81
Глава XVI. Поездка в Швецию 87
Глава XVII. Врачи 90
Глава XVIII. Сальпетриер 95
Глава XIX. Гипноз 101
Глава XX. Бессонница 103
Глава XXI. Чудо Сант Антонио 107
Глава XXII. Площадь Испании 112
Глава XXIII. Еще врачи 116
Глава XXIV. «Гранд-отель» 120
Глава XXV. «Сестрицы бедняков» 124
Глава XXVI. Мисс Холл 127
Глава XXVII. Лето 137
Глава XXVIII. Птичье убежище 145
Глава XXIX. Младенец Христос! 147
Глава XXX. Праздник Сант Антонио 148
Глава XXXI. Регата 151
Глава XXXII. Начало конца 156
В старой башне 158
I 158
II 159
III 161
Оглавление 169